



С. А. Русанов

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ОХОТЫ

1341617



Москва
«Физкультура и спорт»
1987

ББК 47.1
Р88

Рецензенты:

В. Г. ГУСЕВ, эксперт-кинолог,
В. А. ТРЕЩОВ, канд. биологических наук

Русанов С. А.

Р88 Семьдесят лет охоты. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 224 с., ил. — (Человек и природа).

Автор книги, профессор, доктор медицинских наук, всю жизнь увлекался охотой. Эта книга вместила в себя огромный опыт старейшего советского охотника, а через картины охоты и общение с людьми разных профессий, товарищей по увлечению, отразила огромный пласт истории нашей страны, лучшие традиции русской охоты, ее техническую сторону, этику и мораль.

Для широкого круга любителей охоты.

Р 4001010000—058 102—87
009(01)—87

ББК 47.1

ОТ АВТОРА

Восемьдесят четыре года жизни, из них семьдесят лет охотничьего стажа — как будто достаточно, чтобы охладить пыл и успокоить страсть охотника. А все-таки и сейчас мне, старику, доктору наук, профессору, ожидание предстоящей утраты охоты мешает спать, ночь кажется бесконечной и я не стыжусь в этом признаться. К сожалению, «дух бодр, плоть же немощна» и возможность охоты уходит от меня дальше и дальше.

Но чем меньше мне остается, тем сильнее тянет к ружью, тем желаннее делается вид замершей на стойке собаки, ожидание вальдшнепа при свете заката, меркнувшего над голыми еще вершинами леса, свист утиных крыльев над плесом. Так, расставаясь навсегда с любимым человеком, особенно дорожишь каждым лишним часом перед неизбежной разлукой.

И вот, постепенно теряя настоящее, не имея надежды на будущее, я все глубже погружаюсь в минувшее, вспоминаю прежние охоты, перечитываю охотничьи дневники и вижу, что мой опыт довольно велик и разнообразен.

Мне приходилось охотиться в разных местах: от Баренцева моря до Каспийского и от реки Одры до озера Иссык-Куль; охотился я на разную дичь: от гаршнепа до гуся, от дикого кролика до кабана и других копытных зверей.

Думается, рассказ о том, как я стал охотником, о примечательных событиях моей охотничьей жизни может быть интересен для начинающего охотника. А таким пенсионерам от охоты, каков я сам, книга напомнит, наверное, их собственное прошлое. А может быть, эти мои записки найдут читателей и среди тех, кто еще держит в руках охотничье ружье.

Вся наша семья — охотники, начиная с моего отца и кончая — пока — моими внуками. Отец мой, Андрей Гаврилович Русанов, пристрастился к охоте мальчиком и по мере того как подрастали его младшие братья, заражал и их своим увлечением. Это очень тревожило моего деда, почитателя и близкого друга Л. Н. Толстого. Понятно, дед не мог одобрить «жестокую забаву» и однажды спросил

приехавшего к нему великого писателя: «Не запретить ли мальчикам охоту?»

В этом вопросе был, очевидно, некоторый подтекст; разве не под влиянием произведений самого Толстого возник у детей интерес к охоте? Не случайно же их первые охотничьи собаки носили толстовские клички: Мильтон, Милка, Крак.

Лев Николаевич ответил: «Нет, Гаврила Андреевич, не запрещайте. Охота отвлечет их от многого дурного, а подрастут — разберутся сами».

Подросши, молодые Русановы действительно «разобрались сами» и продолжали охотиться. Из четырех только отец еще в студенческие годы бросил было охоту под влиянием частых встреч и бесед с Львом Николаевичем. Впрочем, для московского студента, жившего на весьма скудные средства, а в каникулярное время работавшего на ospoprививании, охота вообще была малодоступна. Как только мой отец стал работать врачом в сельской местности, он немедленно вернулся к охоте, не оставляя ее до последних лет жизни и сделал охотниками всех своих сыновей.

Стремление к охоте мы унаследовали и по материнской линии. Страстным охотником был отец моей мамы — А. Н. Дунаев, который сыграл очень важную роль в моей охотничьей биографии. Человек он был своеобразный: близость ко Льву Николаевичу, преданность ему, готовность всегда помочь писателю сочетались у него с весьма прохладным отношением к идеям о непротivлении злу насилием, ограничении потребностей и т. д. Александр Никифорович одевался по моде, любил вкусно и плотно поесть, к вегетарианству относился скептически и даже несколько этим бравировал. О нем в толстовских кругах ходил такой рассказ: однажды они гуляли с Толстым, присели у околицы и собрались закусить. У Льва Николаевича был с собою ржаной хлеб, у деда — пара солидных бутербродов с ветчиной. Едва принялись за еду, как из деревни донесся дикий свиной визг. Толстой спросил: «Не твоя ли, Никифорович, свинья визжит?» — «Нет, моя уже отвизжалась!» — и дедушка демонстративно набил полон рот ветчиной. Не одобрял он и отказа от охоты, правда, сам перестал охотиться еще сравнительно молодым человеком, но только по причине сердечного заболевания. Об охоте жалел и горячо интересовался ею всю жизнь.

Как-то в его присутствии и при мне отец рассказал своему знакомому о толстовском совете — не запрещать детям охотиться. Дед вмешался: «А я бы еще добавил: а

запретишь, так пускай и мяса не жрут, а то получится ханжество; пусть мол, убивает Черт Иваныч Веревкин, а они будут только кушать».

Папин отец, больной, измученный многолетними страданиями, от нас, детишек, был довольно далек, хотя и жил в нашей семье. Подлинным, в полном значении слова, дедом стал для меня дедушка Дунаев. Я его крепко любил, а он мне отвечал тем же, во всяком случае уделял много внимания.

Появившись на свет в Москве, я родным своим городом считаю Воронеж — родину многих поколений Русановых, где прошла большая часть моего детства, юность, первые годы самостоятельной жизни. Там я учился, обзавелся семьей, получил подготовку как хирург, а еще много раньше — как охотник. Мне повезло. И в том, и в другом деле моим наставником был отец, лучший из известных мне учителей. Его имя и заслуги как врача, ученого, педагога и общественного деятеля известны в медицинских кругах; здесь же я хочу обрисовать его как охотника. «Специальностью» папы была охота с легавой собакой. Тогда этот вид спортивной охоты был распространен гораздо шире, чем сейчас, редкий охотник-любитель не имел подружейной собаки. Но ни в умении натаскивать ее, ни в охоте с ней отцу не было равных среди воронежских охотников.

Охоту с гончими он любил меньше и знал хуже, переходил к ней, когда почти исчезала надежда найти в лесу хотя бы одного запоздавшего при отлете вальдшнепа, а в болоте — последнего гаршнепа.

Уткой отец не то чтобы пренебрегал, но считал охоту по ней малоинтересной — ведь участие собаки сводилось к отыскиванию упавшей птицы. А красивая работа легавой — ее поиск, потяжка, стойка — была для папы настолько важна, что без нее охота обесценивалась. За неимением лучшего он мог с удовольствием отстоять вечерний утиный перелет, но «вытаптыванием» с подхода или скрадыванием уток никогда не занимался. Ценной добычей для него утка стала после того, как начались трудности с питанием, особенно ощутимые в его многочисленной семье. С 1917 по 1922 годы за наш стол садилось десять-двенадцать едоков, а в тот период каждый кусочек мяса представлял большую ценность. Возвращаясь с охоты, приходилось подсчитывать, сколько порций или, как мы называли, кусков лежит в ягдташах. Кряква котировалась как четыре куса, чирок, вальдшнеп — как два, бекас и прочая болотная мелочь — как один кусок. Я же никогда

не относился к утке свысока, а добывание кусков заставляло смотреть на нее очень уважительно.

Такое отношение еще более укрепилось со временем, когда оказалось, что есть способы охоты на уток, требующие особого, и не простого, мастерства. Но в первые семь-восемь лет моей охотничьей выучки основными объектами охоты были красная дичь (бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп) и перепел, в меньшей степени — коростель. Изредка попадались серые куропатки; чтобы найти их порядочно, нужно было ехать далеко, в южные уезды Воронежской губернии. Тетерев в малом числе встречался еще к северу от Воронежа, но охранялся законом. Весною отец охотился только по вальдшнепу на тяге.

В мои детские годы уже запрещалось весною стрелять вальдшнепа из-под собаки, хотя соблюдение запрета контролировалось слабо и он нарушался многими. Вспоминается рассказ одного знакомого: охотясь весной с собакою, он был встревожен звоном колокольчика, решил, что через лес проезжает становой, исправник или другой полицейский чин и поспешил убратъся подальше от дороги. Ломится по кустам, чуть не бежит, а звон все ближе... Оказалось, что колокольчик был привязан к ошейнику собаки другого такого же браконьера.

О весенней охоте с подсадной (по-воронежски — криковой) уткой отец, вовсе ее не зная, отзывался резко отрицательно, считал, что она полностью лишена спортивного интереса, слишком легка и, главное, чревата гибелью самок. Наш единственный в моем детстве выезд на такую охоту еще более укрепил его в этом предвзятом мнении. Только через двенадцать лет мне, уже знатоку охоты по весенним селезням, удалось показать отцу, сколь она увлекательна, если овладеешь ее правилами и приемами. Я тогда доставил ему большое удовольствие, но оно было слишком запоздалой и ничтожной данью благодарности за все, что он некогда сделал для меня.

Мне не исполнилось еще семи лет, а папа уже нередко брал меня с собою на охоту. С восьмилетнего возраста я стал почти обязательным его спутником, вначале, разумеется, весьма обременительным. Ему я полностью обязан своей квалификацией охотника с легавой собакой. Другие виды охоты я освоил позже без его помощи и довольно поверхностно, так что только в охоте с подсадной уткой, манком и чучелами могу считать себя мастером.

От отца заимствовал я и методику обучения будущего охотника, начиная с детских лет; потом мне не раз пришлось ее с успехом применять, особенно при воспитании

своего собственного сына, ныне одного из ведущих советских охотоведов, охотника с большим и разносторонним практическим опытом и, вероятно, единственного в СССР доктора биологических наук, удостоенного этой ученой степени за диссертацию на чисто охотоведческую тему.

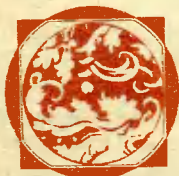
Воспоминания о том, как отец учил меня, а я — сына, заставляют от всей души приветствовать введенный ныне порядок, при котором право иметь ружье и охотиться достигается не только успешной сдачей охотминимума, но и обязательной практической стажировкой без ружья под руководством опытного охотника.

Приходится признаться, что условия, в которых проходило мое обучение, были много благоприятнее современных. Требовалось всего двадцать-тридцать минут ходьбы, чтобы от нашей воронежской квартиры выйти на реку в пойменные луга, где особенно во время осеннего пролета водились бекас, коростель, гаршнеп. За час с небольшим можно было дойти пешком до городского (позже — институтского) леса, весной постоять там на тяге, а осенью найти вальдшнепов, иногда большой высыпкой. Тем более перспективны были выезды по железной дороге не далее шестидесяти километров от города.

Сейчас все это — далекое прошлое; в том же Воронеже, не говоря уже о Москве, обучение охоте (если не превращать его в формальность) представляет гораздо большие трудности и для ученика, и для наставника. Но я, как и те, кто предложил и ввел новые правила, не вижу другой возможности упорядочить спортивную охоту, сделать ее важным фактором рационального использования охотничьей фауны нашей Родины.

Конечно, пережитые мною особо добычливые охоты отошли ныне в область истории. Но хочу надеяться, что совершенствование ведения народного, в частности, охотничьего хозяйства со временем вновь сделает их доступными.





РАННЕЕ ДЕТСТВО И ОХОТА БЕЗ РУЖЬЯ

Самые ранние мои воспоминания — яркие, но отрывочные картины без связи с предыдущими и последующими событиями...

Вот первая из них. Вечер. Мне, совсем еще малышу, давно пора спать, а я все ворочаюсь в кроватке, хнычу. Мать укрывает меня папиной охотничьей курткой и говорит, что от нее пахнет вальдшнепом. И правда — я чувствую запах, совсем особенный, теплый, приятный, такой успокаивающий, что всем моим капризам конец, — мигом приходит сон. Видно, я знал уже, что такое вальдшнеп, но откуда — не помню. Казалось бы, и не могла охотничья одежда отца в самом деле пахнуть вальдшнепом. После я слышал от него, что в степной местности, где мы тогда жили, ему мало приходилось стрелять этих птиц. Но до сих пор, поднеся к лицу убитого, еще не остывшего лесного кулика, я вспоминаю потертую куртку из рыжего бобрика и, как ни странно, запах от птицы именно тот, который усыпил меня без малого восемьдесят лет назад.

Следующая картина. Вспоминается уже дичь, притом такая, которую действительно стоило запомнить. На полу просторных застекленных сеней (галереи) отцовской больницы квартиры лежит птица настолько огромная, что я сижу верхом на ее спине. Ноги у меня просунуты под раскинутые крылья, в руках — тяжелая усатая голова. Это дрофа — единственная, которую папе удалось добыть за всю его жизнь. А мне так и не пришлось и теперь уже не придется.

Следующее, более позднее воспоминание — о самой охоте. Наш рыжий, раскормленный конь Васька привязан к дереву у дороги. Мама с братишкой на руках — в тантасе, а я, забравшись на козлы, слежу за отцом. Его фигура, движущаяся вдали среди желтого поля, виднелась неясно — уже вечерело. Временами белым пятнышком

мелькала собака. Вдруг... как сейчас перед глазами: золотисто-розовый фон неба, на нем взвилась и рассыпается веером кучка темных точек. Два облачка дыма, два хлопка выстрелов, дым расплывается, застилает все, едва доносится голос папы — сердитые окрики. Мать говорит: «Кричит на Боя — значит не убил».

Но нет; вот мы едем обратно, а я все ощупываю двух мягких, тяжелых куропаток. И это еще не конец, если папа не забыл своего обещания. Оказывается — помнит; остановив спешащую домой лошадь, он сходит на землю с вожжами и ружьем в руках, заряжает и дважды стреляет вверх. Как взлетели в темное небо снопы больших красных искр, клубы дыма! Как гулко раскатились по полю мощные удары! Моя младенческая душа потрясена, я полностью и на всю жизнь околдован. А Васька только тряхнул ушами и фыркнул неодобрительно; ему бы поскорее в стойло, к яслям с овсом.

А вот еще сцена, много раз повторявшаяся. Папа чистит ружье, я ему «помогаю», смотрю, слушаю, а про себя твержу, как заклинание: «Франкотт» 12-го калибра, модель «Прогресс»... цевье... колодка... ложе», — и горжусь, что в любую минуту кому угодно могу сообщить, какое у моего отца ружье и из каких частей оно состоит.

Происходило все это на Украине, в Саксагани (тогдашней Екатеринославской губернии, Верхнеднепровского уезда), где отец работал земским врачом.

Из папиных собак того времени могу рассказать только о последней — кофейно-пегом пойнтере Бое. Его внешность и особенно суровый нрав четко сохранились в моей памяти. Бой не допускал вольного обращения. Поиграть, повозиться с ним мне не удавалось, и если я очень приставал к нему, он ворчал и скалил зубы. Но любовь собаки к папе и преданность ему были безграничны. Однажды близкий, часто посещавший нас знакомый дружески хлопнул отца по плечу. Бой тотчас сбил мнимого врага с ног и порвал на нем одежду. Рассказ папы о воспитании Боя заслуживает того, чтобы передать его подробно.

Местный охотник сельский богатея (куркуль) взял Боя щенком, вырастил и в какой-то мере натаскал — собака начала уже становиться по куропаткам и перепелам. Но в день открытия охоты все было испорчено недопустимым, заведомо гибельным для натаски поступком охотника. Он не только позволил себе браконьерский выстрел по зайцу, но и натравил Боя на подстреленного русака, дал поймать и задавить его. После этого собака потеряла всякий интерес к птице, зато, увидев зайца — а их было не-

мало, — кидалась за ним, уходила из вида, надолго пропадала и возвращалась измученная, но готовая с таким же пылом преследовать очередного зверька. Нешадные побои не помогали, да и не могли помочь; они доставались Бою спустя долгое время после проступка — как же было собаке понять, за что ее наказывают? А вот то, что вернувшись после погони следует держаться от хозяина подальше, Бой сообразил очень скоро; не приближаясь, не подходя на зов, он разыскивал следующего зайца и все начиналось сначала. Словом, охота с ним стала невозможной.

Помучившись около месяца, охотник привел Боя к папе и сказал, что собирается пристрелить собаку, «так, мабудь, пан доктор захочет взять его?». «Пан доктор» решил купить Боя, но владелец категорически отказался от платы и отдал кобеля «за так».

С прежним хозяином собаке жилось, видимо, несладко; за несколько дней Бой у нас совершенно освоился, стал хорошо слушаться отца и охотно пошел с ним в поле. Напоровшись на куропаток, Бой не обратил на них внимания, но когда убитая птица упала у него на глазах — нашел ее и даже стал по ней. Однако для задуманного педагогического мероприятия папе нужен был заяц, как нарочно долго не попадавшийся. Наконец выскочил крупный русак, папа убил его, а Бой схватил и начал трепать. Отец отнял зайца, намертво привязал его к ошейнику собаки, основательно высек ее и отпустил. Бой метнулся прочь, но тяжеленный зайчина не давал хода. Напрасно пес мотал головой, вертелся туда и сюда — от русака освободиться не удавалось. Получив еще пару крепких ударов плетью, Бой рванул было во весь мах и тут же покатился через голову — заяц подвернулся ему под ноги. Сделав еще несколько столь же бесплодных попыток убежать от русака, кобель сел и жалобно завыл.

Второго урока не потребовалось — от зайцев Бой стал шарахаться, по птице же начал работать с каждой охотой все лучше. К концу сезона он полностью понял свою роль на охоте и выполнял ее с большим талантом.

Охотиться с Боем папе пришлось недолго — только три года. В конце 1906 года начались сборы в дорогу — папа получил перевод в Воронеж. Тут накануне отъезда явился прежний владелец и стал требовать «своего собаку», доказывал, что отдал Боя только на время, совал деньги за обучение и прокорм. Кончилось тем, что папа послал его ко всем чертям вместе с деньгами, и мы уехали, оставив собаку. После стало известно, что ничего хорошего из это-

го не вышло. В разлуке с возлюбленным хозяином и учителем Бой тосковал, стал непослушным, работал плохо. Какова была его дальнейшая судьба — не знаю.

Жизнь в Воронеже началась для нашей семьи тяжело. У деда, Гаврилы Андреевича, в дороге резко ухудшилось состояние здоровья, и вскоре после переезда он скончался. А вслед за тем младший брат Андрюша умер от туберкулезного менингита, болезни в те годы неизлечимой.

Лето 1907 года мы провели в деревне Ерофеевке, в небольшой усадьбе, которая досталась от деда моему отцу и его братьям. Папа ни разу не брал меня на охоту, да и сам, видимо, почти не охотился — натаскивал свою новую собаку, молодого Ракета, тоже кофейно-пегого. Запомнилось мне немного. Первое мое знакомство с чибисами произошло на прогулке по лугам: пара птиц, охраняя гнездо, с писком вилась над собакой, чуть не задевая ее крыльями, а папа учил меня на их крик «чи-вы? чи-вы?» отвечать: «Мы Русановы!»

Как-то раз в чулане я нашел бутылку, на дне которой обнаружил немного — около столовой ложки — пороха, высыпал его на бумажку и решил взорвать норку земляных муравьев на дорожке перед домом. Как и следовало ожидать, «подрывник» получил сильную вспышку пламени в лицо. Глаза я успел зажмурить и отделался дешево — несколько дней ходил с черным лицом «вроде арапа или нечистого духа», — смеялся приехавший в воскресенье отец. Потом закоптившаяся кожа слезла, опаленные брови и ресницы отросли. Зато на всю жизнь осталась осторожность в обращении с порохом.

Следующий, 1908 год могу считать началом своей охотничьей подготовки. В течение шести лет я сопровождал отца, осваивая, так сказать, теорию и практику охоты, кроме стрельбы — ружье мне предстояло получить на седьмой год.

«Теоретический курс» включал, в первую очередь, постоянные папины рассказы о его прежних охотах главным образом в молодые годы. Для своих «лекций» он непременно использовал каждую прогулку, в особенности обратный путь. Я, пока не подрос, возвращаясь, уже едва плелся, а слушая отца забывал об усталости, старался не отставать, чтобы не упустить ни одного слова. Дети обычно хотят многократного повторения любимившейся сказки, рассказа: так и я постоянно просил папу рассказать еще и еще раз о том или ином случае. Рассказчиком он был отличным; как живые стояли передо мной образы его наставников в охоте: рыжебородого крестьяни-

на Дмитрия Максимовича (под его руководством отец научился стрелять, убил свою первую утку и дупеля) и соседа Русановых по деревне Алексея Ивановича Алмазова. Последний, как и оба мои деда, был в дружбе с Толстым, под влиянием которого оставил обширную врачебную практику в Москве и уехал в деревню. Там он работал в своем небольшом саду, разводил пчел, лечил местных крестьян, знакомил их с учением Толстого, за что находился под подозрением властей и чем навлек на себя злобу церковников.

Жизнь Алмазов вел самую простую, питался не лучше крестьянина-середняка, бросил курить, отказался от спиртных напитков. Охотой же продолжал заниматься ряд лет, постепенно охладевая к ней, но прежде чем совсем перестал охотиться, нашел новый интерес в обучении моего отца правильной охоте с легавой собакой, отдал папе своего молодого пойнтера Рэка, помог натаскать его, руководил охотой с ним, сам почти не стреляя, затем подарил отцу ружье. Я настолько хорошо помню рассказы папы и о себе, и об А. И. Алмазове, что мог бы написать об их охотах целую книгу. Но приведу только три рассказа, каждый со своей тематической направленностью.

Тема первая: «Никогда не дури с ружьем». Отец мой начал охотиться с одноствольной шомполкой, переделанной деревенским кузнецом из кремневой в пистонную. Пистон (капсюль) одевался на «бабку» (брандтрубку), ввинченную не в казенник ствола, а в коробочку, приваренную к нему сбоку и сообщавшуюся с ним через оставшееся от кремневой системы отверстие — затравку. Порох из ствола мог не попасть в эту коробочку, и тогда взорвавшийся капсюль не воспламенял заряда. Поэтому, если в брандтрубке не было видно крупинок пороха, то его приходилось подсыпать в нее снаружи, проталкивая булавкой, а потом уже надевать пистон. С этим ружьем папа охотился два лета; точно такое же было и у рыжего Максимовича.

На третье лето двоюродный брат отца, студент, пробовавший заняться охотой и не найдя в ней вкуса, подарил папе свое ружье, сказав: «Довольно тебе ходить с этой кобыльей ногой». Ружье было тоже шомпольное, но нормальной конструкции, двуствольное, работы довольно известного тогда тульского оружейника Грязнова.

И вот первая охота с новым ружьем! Перед восходом солнца отец вышел из амбара, приспособленного под летнее жилье для мальчиков и именуемого «амбарной академией», зарядил ружье и по привычке заглянул в бранд-

трубки. Пороха в них не было видно. Сказав о себе почему-то в третьем лице: «Он мог поклясться, что выстрела не последует», — папа надел пистон, прицелился через широкий двор в закрытые ставни дедушкиного окна и нажал спуск. «Выстрел последовал», мелкая дробь сыпанула по ставням, и стрелок, мигом перескочив забор, помчался на деревню, где его ожидал Дмитрий Максимович. На счастье, ни одна дробинка не попала в щель ставен, стекло уцелело, и за обедом дед сказал только: «Просил бы не стрелять так близко от дома!»

Вторая тема: «Не теряйся!» На Воронеж надвигалась эпидемия холеры, город охватила тревога. Но нет худа без добра: начало занятий в гимназии отложили, и братья Русановы оставались в деревне до октября. Однажды папа и получивший уже ружье дядя Боря охотились с неизменным Максимычем. В ольховых кустах, у болота, Борис чуть не наступил на вальдшнепа. Шумный взлет на открытое место и за ним... Увы! Не выстрел, а крик Бориса: «Дмитрий! Вальдшнеп! Эй-эй!» Максимыч разъярился: «У, нягодные! Чаво же вы не били та!» (Кстати, этим «эй-эй» дядюшку дразнили и на моей памяти.) Рэк быстро нашел вальдшнепа, и Боря сумел попасть в него.

— Так вот, — закончил папа. — Охотники бывают трех родов. Первый сорт — «хлопало»: хлопает птицу за птицей; второй сорт — «пукало»: пук да пук и все мимо; а третий — «ахало»: нужно стрелять, а он вместо того кричит «ах!». И вот это — самое позорное.

Со временем у старинного охотничьего писателя Вакселя я нашел еще четвертую категорию — «напузник-пукало»: стреляет только по сидячей птице, подобравшись к ней ползком, и все-таки мажет. Не уверен, что он хуже, чем «ахало».

Наконец, третий рассказ на тему: «Не спеши без надобности». Уже в последнем классе гимназии папа с братьями Борей и Алешей в зимние каникулы ходили по зайцам. Мальчиков сопровождал А. И. Алмазов без ружья. Летела поземка, все следы замело. Убедившись, что поиски будут бесплодными, охотники повернули к дому, сошлись и шагали все вместе по глубокому снегу. Тут чуть не из-под ног у них взметнулся матерый русак. Мгновенно прогремело шесть выстрелов, заяц, бойко подкидывая задок, умчался за далекий бугор.

— Ну-ну! — сказал Алексей Иванович. — Я уж думал, тут ему, бедному, и конец! — Потом указал на шесть дырок в снегу, пробитых дробью будто кулаком, и добавил: — Успели бы выстрелить еще раза по три — ан уж

нечем. Нужно было сказать: «Беги, беги! Все равно не уйдешь!» А потом уже стрелять. Я, бывало, всегда так делал.

Сколько же раз в жизни мне случалось забывать этот мудрый совет при виде близко вскочившего зайца!

Едва научившись свободно, не по складам, читать, я получил в подарок от папы «Записки ружейного охотника» С. Т. Аксакова. Его автобиографическую книгу «Детские годы Багрова-внука» я уже хорошо знал (мне не раз прочли ее вслух) и очень невзлюбил мамашу Сережи за упрямство, с которым она отвадила мужа и пыталась отвадить сына от презируемых ею охоты и рыбной ловли. «Ага! Все-таки не вышло по-твоему!» — радостно подумал я, еще не дочитав первую страницу «Записок». Эта охотничья библия на много лет стала моей настольной книгой. Наслаждаясь и волнуясь, я перечитывал ее — наверное, прочел несколько десятков раз, причем остро завидовал тому охотничьему раздолью, которое досталось С. Т. Аксакову.

Но кое-что в «Записках» меня коробило: так, беспощадное истребление куликов-веретенников на гнездовьях мне казалось варварством. Не лучшее впечатление производило спокойное описание того, как весной из пары уток охотник сознательно бьет сперва самку, после чего уже нетрудно убить и селезня; он упорно колотится (летает) вокруг места, где потерял подружку, пока сам не попадет под выстрел.

Я понимал, конечно, что все это — достояние истории, но примириться не мог. Папа уже привил мне элементарное понятие об охотничьей этике. Слова Аксакова о том, что ему стыдно было стрелять селезней, в ослеплении страстью летящих к подсадной утке, меня особенно смущали. Не стыдился же он бить куликов, ослепленных родительскими чувствами, старающихся отвести охотника от своей гнездовой колонии!

Но это были отдельные темные пятна, не нарушавшие общего очарования от «Записок ружейного охотника». Из них я почерпнул множество сведений о жизни и поведении различных видов дичи и о способах охоты, с которыми отец не успел или не мог меня познакомить. Кроме того, книга была издана с приложениями, в число которых входили статьи о натаске собаки и статья о ружьях и боеприпасах. Последняя описывала дробовые ружья, разнообразные системы затворов, замков, цевья, виды сверловки стволов, ствольной стали и дамаска.

Часть сведений — особенно в отношении затворов —

уже тогда устарела, но ружья описанных там систем еще из обращения не вышли, и знать их было полезно. Особенно меня поразил перечень оружейников того времени — тех, чьи изделия были широко распространены среди массы охотников, и тех, кто составлял элиту ружейной промышленности. Я, знавший только Франкотта и Зауэра, слышавший от папы о Новотном и Лебеде, никак не ожидал того очень большого числа имен, которые были включены в список. Обидным показалось почти полное отсутствие сведений о русских мастерах — два слова о тульском полукустарном производстве шомпольных ружей и, помнится, упоминание вскользь о Ф. Мацке.

Что касается практической части моей охотничьей подготовки, то я приобрел выносливость, умение легко ходить по топкому болоту, пробираться через чащу, в одиннадцать лет мог шагать весь день, не отставая от папы, и забыл уже то время, когда ему случалось провожать меня домой «за ручку». Научился я и правильно вести себя на охоте, держаться и передвигаться так, чтобы не мешать выстрелу. Стал понимать работу собаки, знал, как нужно управлять ее поиском, мог на глаз оценить перспективность того или иного участка болота и т. п. Наконец, умел безошибочно на большом расстоянии различать птиц по особенностям полета, отличить бекаса от турухтана или другого кулика, едва видимую стайку уток — от стайки голубей и т. д.

У меня не было ружья, но в остальном я, сопровождая папу, чувствовал себя не просто увлеченным зрителем (теперь сказали бы болельщиком), а почти полноправным, во всяком случае, активным участником охоты, нередко прямо-таки полезным. Лишняя пара зорких глаз неоднократно помогала определить, куда переместилась поднятая птица, где упал отлетевший подранок, вовремя заметить налетающую сзади утку, кулика. Все это доставляло столько волнения, радостей, а подчас и огорчений, словно охотился я сам — только что не стрелял.

А все же страшно хотелось поскорее дожить до 1914 года, когда, как мне было твердо обещано, я получу ружье.

Период охоты без ружья оставил множество милых сердцу воспоминаний. Не все они интересны для читателя; остановлюсь лишь на некоторых, рассказав об остальном кратко. Начну с происшествия как будто пустякового.

Весною 1908 года папа впервые взял меня на тягу. Мне шел только седьмой год, но я мог уже с почти цитатной точностью повторить описание тяги у Л. Н. Толстого в «Анне Карениной» и И. С. Тургенева в «Ермолае

и мельничихе» — папа не раз читал мне эти отрывки. Ну, а стихи А. К. Толстого «На тяге» я, разбирая по складам, заучил наизусть. Наибольшее впечатление при первой поездке на меня произвела не сама охота, а полное совпадение того, что я на ней увидел, с тем, чего ожидал.

Все соответствовало литературным зарисовкам: и «мшистая топкая полянка, уже освободившаяся от снега», и «березки, рассыпанные по осиннику», и «высокий лес вдали» (Л. Н. Толстой). А вот хорканье и циканье ближе, ближе... «и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу выстрелу» (И. С. Тургенев), после которого «падает на землю колесом» (А. К. Толстой) прямо к ногам папы. А запах теплого еще вальдшнепа в моих руках! Как все это было прекрасно!

Но я переживал тогда и вспоминаю теперь не столько саму эту охоту, сколько то, что случилось перед ней. Кордон, на котором мы должны были остановиться, назывался Черепахиным. Неужели там есть черепахи? Еще в вагоне пригородного поезда папа на мой вопрос ответил, что вернее всего там прежде служил лесник по фамилии Черепахин; едва ли в ручье возле кордона когда-то водились черепахи. Объяснение разочаровало меня, но я продолжал думать о черепахах всю дорогу от станции.

Путь был недалек — километра два. Вышли мы на обширную луговину, окруженную лесом. У края ее стоял кордон, а по луговине извивался довольно широкий ручей с отдельными молодыми ольхами у берегов. К нему я и отправился, пока папа за чаем беседовал с хозяевами. Вода уже почти вошла в межень и только местами затапливала луг. По мокрой земле, по лужам я подобрался к невысокому обрывистому бережку и сразу же увидел около него поднимающиеся из мутной воды пузыри. Не забывая о черепахах, я стал на колени, засучил рукав, опустил руку в воду и нащупал на дне большой круглый и твердый предмет. Сбоку торчала шевелящаяся лапа — за нее я и вытащил крупную — чуть меньше глубокой тарелки — черепаху. Остальные три лапы, голову и хвост она спрятала в панцирь — черный выпуклый на спине, желтый плоский на брюхе.

Захлебываясь от волнения, я примчался с черепахой на кордон. Представьте себе, лесник очень удивился, сказал, что черепахи в ручье не попадались уже ряд лет и считались исчезнувшими вовсе.

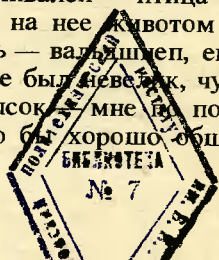
Везти мою пленницу в Воронеж папа не разрешил — негде нам держать ее и нечем кормить. И что же? Когда,

вдоволь насмотревшись, по дороге на тягу я пустил черепашку в ручей, то не почувствовал огорчения, а случай этот запомнил, как одно из самых радостных событий моего детства. В тот день, сам еще того не понимая, я впервые пережил счастье охотничьей удачи.

Теперь о первой моей собственной (не папиной) неудаче на охоте без ружья. Осенью того же 1908 года, когда только что пошел пролетный вальдшнеп, отец взял меня с собою в Жировский лес — довольно значительный для наших мест лесной массив, расположенный в пойме Дона немного ниже впадения в него Воронежа. В те годы Жировский лес, где росли преимущественно высокорослый лозняк и ольшаник, был очень крепким местом. Весной большую часть его заливала полая вода. Летом на сырых местах все зарастало тростником, где посуше — повитью, хмелем, а крапивой — везде и всюду. Лес пересекала сеть протоков, соединявших ряд небольших, но глубоких озер между собою и с рекою, что делало местность труднопроходимой. В недоступных крепях год от года выводили волки, у озер иногда обнаруживались следы присутствия бобров.

Мы ходили с раннего утра, но вальдшнепов оказалось еще мало — к полудню отец убил только двух. А места начались такие, что мне то и дело нужно было пробираться через густую, высокую — в мой рост и выше — крапиву, я сильно обстрекал себе руки и лицо. Папа велел мне выйти из леса и идти краем его. «Скоро крапива кончится, тогда я тебе крикну. Иди так, чтобы солнце светило слева — тут опушка недалеко». В самом деле, я быстро выбрался на хорошо натопанную тропу и пошел по ней. Справа тянулся лес, слева высокий травянистый скат спускался от поля к опушке. Деревья у края леса становились все реже, между ними зеленела короткая, общипанная скотом травка, лишь кое-где перемежавшаяся небольшими участками крапивной заросли. Сквозь поредевшую листву весело пробивались лучи солнца; над полем в голубом небе тянулись нити белой паутины.

Внезапно у самой тропы почти из-под ног выскочил подстреленный кем-то вальдшнеп. Он подпрыгивал, вспархивал, работая одним крылом и тотчас падал на землю. Я бросился его ловить, но все промахивался — птица не попадалась в руки. Попробовал упасть на нее животом — она тоже ускользнула; не успел встать — вальдшнеп, еще раз подскочив, исчез в крапиве. Куст ее был невысок, чуть больше нашего обеденного стола, невысок — мне по пояс и не очень густ. Весь его можно было бы хорошо обжа-



рить, раздвигая крапиву палкой и приминая ее сапогами. Но я не решился, подумал: буду искать, смотреть под ноги, а вальдшнеп тем временем незаметно перебежит в гущину обширных зарослей.

Я зашел от леса, остановился, следя за краем куста, и начал звать папу. Он подошел и послал собаку искать. Но Ракет, нюхнув травку у края куста, в крапиву не полез — он уже так обжегся, что начал с визгом кататься и ползать по земле. Папа не стал его понуждать, сказав, что дело бесполезное, вальдшнеп, видно, убежал далеко, «если только он тебе не почудился», — добавил отец с усмешкой. Стало ужасно обидно, но спорить не полагалось, и мы ушли. Знать бы мне, что хорошо затаившийся подранок до последней возможности не сдвинется с места, — я бы, конечно, нашел и поймал его в этой самой крапиве, где он, безусловно, прятался.

Однако вернусь к событиям, произошедшим чуть раньше — летом того же года. В Ерофеевку мы не поехали, жили на хуторе Марии Михайловны К., снимая у нее небольшой однокомнатный флигель. Хутор Марии Михайловны — бабы Мани, а сокращенно бабани, находился километрах в двадцати пяти южнее Воронежа и в четырех километрах от разъезда Боево Юго-Восточной железной дороги. Здесь был обширный плодовый сад, окруженный огромными серебристыми тополями, порядочная молодая, тоже тополевая роща (лесок), хороший пруд с карасями. Вокруг простирались поля, до болот на донских лугах было километров двенадцать. Ближе лежал Жировский лес, но летом охоты в нем не было.

Ходить по полям за перепелами до окончания уборки хлеба запрещалось. Меньше чем за час можно было дойти только до озера, называвшегося почему-то Саратовом. Это мелкое степное озеро с плоскими сухими берегами, почти целиком заросшее кугой (камышами), имело около пяти-сот метров в диаметре. Вокруг, на полях и по берегам, жили чибисы, очень строгие; уток, главным образом чирков, было порядочно, но днем они сидели где-то в камышах и лишь на ночь вылетали на поля кормиться. Папа два раза ходил со мною на Саратов. Мы поджидали уток вечерней зарей, сидя на голом берегу без укрытия, и папа, помнится, ни разу по ним не выстрелил. А одного чибиса ему все же удалось добыть, к моему великому удовольствию. Такую птицу я никогда еще не держал в руках. Больше отец на озеро не ходил, и я не жалел об этом.

Зато крайне интересным казалось то, что называл охотой племянник бабани Юрий Петрович, — с ним я за-

вязал тесную дружбу. Это был человек совсем еще молодой, хотя уже с бородкой и пышными усами, милый, добрый, веселый, но отчасти чудаковатый. Он любил, чтобы я при наших походах звал его дядя-стрелок, имел шомпольную двустволку, с которой «охотился» в саду, на выгоне и т. п. Добычей его были скворцы и дрозды, грачи и, при особой удаче, горлинки; на худой конец его устраивали удои, козодой, серый сорокопут или даже кобчик. Все это, разумеется, было форменным безобразием, а не охотой, но на первых порах меня завлекало. Особенно я радовался, если от выстрела падало что-нибудь несъедобное (из грачей готовили паштеты), так как с убитым удои или кобчиком можно было «играть в охоту» долго — пока птица не начинала вонять.

Этим летом Юрий Петрович совершил только два покушения на настоящую охоту. О первом я знал от самого «дяди-стрелка». Он отправился на донские луга, взяв с собою собаку своего старшего брата, небольшую, кроткую и сиротливую (робкую) сучку — нечистокровного сеттера. На месте охоты Юрий Петрович решил первым делом искупаться в Дону — стало уже очень жарко — но, выйдя из воды, заметил в береговом обрыве пласты глины — голубой и желтой. Какой материал для боевой раскраски под индейца! Охотник размалевался с головы до ног и начал военную пляску перед собакой. Она лежала себе в холодке и спокойно поглядывала. Потом воин опустил на четвереньки и пополз к ней с грозным рычанием; сучка только помаргивала и робко виляла хвостом. Тогда он ей сказал: «А, не боишься? Ладно же!» Схватил лежавший у воды здоровенный корявый сук и с ревом устремился к собаке. Нервы бедняжки не выдержали, она вскочила и умчалась в направлении к дому. Испугавшись (не пропала бы собака), охотник поплелся туда же. Так он проделал в оба конца километров двадцать пять без единого выстрела.

Вторая «большая охота» проходила с моим участием. Появилась возможность доехать до Дона на лошадях и только назад идти пешком — это мне было по силам. Собака решительно отказалась сопровождать «дядю-стрелка», и охотиться предполагалось из засады на какой-то Донской косе, якобы знаменитой тем, что на нее слетаются тучи куликов. На деле она оказалась довольно узкой полосой прибрежного песка метров шестьдесят длиною. Сюда временами садились одиночные чибисы. Ко второй половине дня Юрий Петрович убил четырех, стреляя по сидячим из высокого прибрежного бурьяна, где мы затаились.

Пятый чибис был убит влет и упал почти на середину Дона; быстрое течение подхватило его. «Долго мертвый меж волнами плыл, качаясь, как живой», — продекламировал охотник, прежде чем разделся и полез в воду.

Обратный путь лежал мимо Саратова; когда мы достигли озера, солнце село, но было еще совсем светло. Юрий Петрович снял ружье и подошел к воде со словами «Ничего здесь не будет, но дядя-стрелок всегда наготове». Тут из камыша у самого берега с криком поднялась огромная кряква (по-воронежски — матерка), последовали два выстрела — и оба мимо.

Мы грустно поплелись, а моя вера в охотничью доблесть «дяди-стрелка» несколько ослабла. В один из ближайших дней я совсем ее потерял. Мы вышли из сада на степь — оставлявшийся для сенокоса участок целины площадью гектаров двадцать. Юрий Петрович выстрелил дублетом по пролетавшей стае скворцов — с десятка птичек упало. Пока я подбирал их, он заряжал ружье, ворча, что кончилась мелкая дробь. «Всыплю зайчатник в оба ствола — может быть, попадется что покрупнее». Едва он надел капсюли, как мы увидели двух налетающих прямо на нас громадных бело-желтых птиц. Они прошли над нашими головами так низко, что я разглядел пальцы на их ногах. А Юрий Петрович с криком: «Дрофы!» присел, хлопнул себя по колену и не выстрелил, даже ружье не поднял — «проахал». С тех пор он как охотник совершенно погиб для меня, но вспоминаю я о нем с благодарностью — «дядя-стрелок» показал мне, как не надо охотиться.

Вскоре мы уехали в Москву: дедушка Александр Никифорович пригласил папу, своего любимого зятя, провести отпуск у него на даче, близ Подсолнечной (ныне Солнечногорск). Дача стояла у самого берега Сенежского озера, примерно там, где теперь рыболовно-спортивная база. Из тогдашней жизни на Сенеже мне запомнилось лишь возвращение папы из поездки куда-то в Тверскую губернию (Калининская область). Свою добычу — десятка два тетеревов и несколько белых куропаток — он привез в большой закрытой корзине. Хотя дичь была выпотрошена, набита можжевельником и хранилась в погребе, от корзины изрядно пахло — погода стояла жаркая.

Двух птиц мама, бабушка и кухарка единогласно забраковали, к возмущению дяди Бори и дяди Макса Дунаевых. По их мнению, это был настоящий деликатес, и если хозяйки ничего не понимают в гастрономии, так они сами зажарят «любительских» тетерок и съедят их. «Дели-

катес» они приготовили к ужину, а ночью обоих гурманов рвало так, что чуть не вывернуло наизнанку, — к счастью без пагубных последствий.

Весной следующего, 1909 года украли папиного Ракета. Отец снова остался без собаки, предстояло подыскивать, растить и натаскивать новую. В самом начале лета дедушка написал папе, что достал ему щенка-пойнтера, и снова звал к себе. Дождавшись отпуска, отец отвез нас в Москву, и мы опять оказались на Сенеже. Щенка дед получил от своего друга англичанина Дж. Колли, инженера, работавшего в Москве.

Это была кофейно-пегая сука Дайдо (так англичане произносят латинское «Dido»), у нас ее, конечно, переименовали на русский лад в Дайду. Родителей Дайды Колли вывез из Англии. Дайда досталась папе, когда ей шел девятый месяц, но она уже была испорчена — панически боялась не только выстрелов, но даже и вида ружья. Виноваты были два младших маминых брата: эти мои дядюшки решили услужить папе и заранее приучить щенка к выстрелам. Привязав Дайду в саду, они начали палить над ее головой из четырех стволов, сделав выстрелов тридцать. Кончилось тем, что собачка, лишенная возможности убежать, от ужаса обмочилась. После такого урока Дайда, увидев ружье, забивалась под кровать и лежала там часами.

Есть несколько способов борьбы против боязни выстрела. Отец исходил из того, что пальба, напугавшая щенка, не связалась в его сознании ни с обстановкой охоты, ни с видом и запахом дичи. Обо всем этом Дайда не имела представления, даже вволю побегать на свободе ей почти не приходилось. И вот, ни разу не показавшись собаке с ружьем в руках папа начал ежедневно, утром и вечером, ходить с ней по окрестным угодьям, вырабатывая у собаки позывистость и вообще послушание, а потом приступил к натаске. Ближние болотца были невелики, но в одном из них жил очень смирный дупель; по нему и началась натаска Дайды.

Птица упорно держалась облюбованного кочкарника, а в кусты залетала только после третьего-четвертого подъема. Дежурный, как прозвал папа этого дупеля, за несколько дней совершенно отвлек внимание Дайды от всяких мелких птишек. Она теперь разыскивала только его и даже начала по нему становиться. Охота уже открылась, папа же все ходил с собакой без ружья. И вдруг Дежурный исчез; его, несмотря на предупреждение и просьбу отца, вытоптал без собаки и подстрелил один из молодых

братьев мамы. Подранок улетел в кустарник и пропал. На счастье, папа нашел еще одно, уже порядочное болото с парой дупелей и несколькими молодыми смиренными бекасами. Там он дважды в день обучал Дайду и через неделю счел натаску законченной.

Оставалось приучить собаку не бояться выстрела. И вот отец взял с собою разобранное ружье в чехле. Дайда сработала по дупелю, он поднялся, перелетел, но она снова его нашла и стала. Только теперь при полной уверенности, что птица здесь, перед собакой, папа осторожно собрал ружье, зарядил, подошел к стойке и скомандовал трепещущей от волнения Дайде: «Вперед!» Дупель взлетел. Словно не услышав выстрела, собака потянула и стала по убитой птице. Дело было сделано — вид ружья, выстрелы только радовали Дайду. «Первый выстрел обязательно из-под стойки и так, чтобы дичь упала на глазах у собаки», — это правило отец повторял мне много раз.

В дальнейшем Дайда сделалась лучшей собакой, какую папа когда-либо имел. Она служила ему десять лет, так что с ней пришлось поохотиться и мне.

Одновременно с новой собакой появилось у отца и новое ружье — бескурковый «Зауэр» 12-го калибра. Его купил себе папин брат, мой любимый дядя Алеша. Человек он был физически не очень сильный, большое длинноствольное ружье оказалось для него слишком тяжелым, неудобным, и он отдал его папе, попросив при поездке в Москву приобрести взамен «Зауэр» 24-го калибра. С ружьем, весившим всего пять фунтов (2,1 килограмма), дядя охотился много лет, стрелял из него прекрасно. Папа же, получив «большой «Зауэр» и желая отблагодарить дедушку за Дайду, подарил свой «Франкотт» одному из его сыновей, но не тому, кто погубил Дежурного.

Папа ездил на Сенеж только два раза, а меня взял лишь раз, и вернулся я страшно огорченный. Греб дядя Коля Дунаев — самый серьезный охотник из всех маминых братьев. Он умел совершенно бесшумно вгонять лодку в окруженные камышами и тростниками заливы и плесы у островов, которые назывались (да, верно, и теперь называются) Малиновым и Таинственным. Утки, преимущественно кряквы, поднимались часто, папа стрелял и все мимо, свалил только одну, да и ту достреливал на воде. Дядюшка подшучивал, я чуть не плакал, отец же проклинал новое ружье, забыв, как отлично попадал из него в бекасов и дупелей. Со временем я понял, что он просто не привык стрелять сидя да еще из лодки, которая при порывистой вскидке ружья непременно начинала качаться.

Следующие два лета мы снова жили в Ерофеевке. Я уже достаточно подрос, чтобы хорошо изучить и запомнить места, где отец провел свое детство и начал охотиться. Не стоит подробно описывать сад с четырьмя десятками старых яблонь, с густым вишенником и огромным древним дубом, ствол которого не могли обхватить два взрослых человека. От него шел скат, тоже поросший дубами, но более молодыми, а под скатом, в кустах лозняка, пробиралась речка Трещевка, вернее большой ручей, питающийся многочисленными родниками. Вода в нем была так холодна, что даже мы, ребята, окунувшись, тотчас выскакивали на берег с посиневшими губами.

Никакого хозяйства в Ерофеевке не велось, пахотной земли не было. Имелись, правда, две лошади: упряжная — гнедая Комета и верховая — некогда серый в яблоках, а при мне уже побелевший донской мерин Окунок. Он хорошо ходил и пристяжным. Лошади были старые, но еще в силе.

Сейчас ничего не осталось от усадьбы. Все, включая и вековой дуб, в годы войны уничтожили гитлеровцы. Да и памятных мне лугов вдоль Трещевки я не узнал, посетив их в послевоенные годы. Впрочем, и в детстве своем я уже не застал их в том виде, какими они были, когда начинал охотиться мой отец. Болота, некогда обширные, сильно пересохли. Небольшие их участки сохранились местами по краям луга возле выхода родников. Каждое такое болотце казалось с виду возвышением — плоской подушкой метров пятьдесят-семьдесят в поперечнике. Набухшая и приподнятая влагою почва пружинила и колыхалась под ногами, сквозь слой травянистого покрова проступала ржавая, с радужными отблесками вода, а от мочажины бежали струйки, стекавшие в Трещевку.

На таких болотцах можно было найти немного бекасов, иногда пару-другую дупелей. Изредка на одном из крошечных плесов речушки сидели чирки, а кряквы за два лета нам не встретилось ни одной.

По лугу и прилегавшим полям всегда держались чибисы, про которых С. Т. Аксаков сказал, что они «последняя спица в колеснице во всей болотной птице». Папа так не считал и не упускал возможности выстрелить по чибису. Но чтобы специально заняться чибисами, требовалось стать «напузником», а это отцу, конечно, не подходило.

Работать по коростелям, которых водилось порядочно, он Дайде еще не разрешал, объясняя мне, что коростель — великий мастер бегать: путая следы, упорно не желая взлетать, он слишком горячит молодую собаку, и она за-

бывает свое, недавно приобретенное умение пользоваться ветром и верхним чутьем. Заметив, что Дайда принималась копать, уткнув нос в густую траву, отец тотчас ее отзывал и отводил подальше.

Чего в Ерофеевке было многое множество, так это перепелов. В начале лета, вечерами, их крики «спать-пора» слышались отовсюду. Но отец в Ерофеевке по перепелам почти не охотился. Мы переезжали в Воронеж еще до уборки просяных полей — основной станции перепела; не ходить же с собакою по некошеному просу. А на лугах перепелки встречались редко.

В общем, охота была скудная. Отец говаривал: «Все равно, что с длинной рукой на паперти» (просить милостыню у церковных дверей). Но для совершенствования работы собаки дичи все же хватало. Папа в свой отпуск охотился ежедневно, и я неизменно его сопровождал, радуясь самой скромной добыче. Иногда на мою долю выпадал крупный (так мне казалось) успех.

Как-то правой стороной лугов мы дошли до третьего пчельника — от него кроме названия давно уже остались только пни нескольких старых лозин. Присели отдохнуть и закусить, назад пошли левой стороной; отойдя уже порядочно, я спохватился, что оставил складной ножичек, и вернулся, а папа продолжал идти дальше. Нож я нашел и только сунул его в карман, как услышал два выстрела. От папы ко мне летели чирки — штук пять или шесть. Стайка меня уже миновала, когда одна птица отделилась, снизилась, ковыляя в воздухе, протянула немного над лугом и упала в сотне шагов. Я бросился за ней, изловил и, чувствуя себя героем, принес папе чирка, подстреленного в кончик крыла. А папа убил дублетом на взлете двух. Это была, пожалуй, самая добычливая из наших ерофеевских охот.

Но один раз мне посчастливилось попасть в места, очень богатые дичью. Уже кончалось последнее лето нашей жизни в Ерофеевке, когда папа, взяв и меня, поехал на своих лошадях километров за тридцать в Семеновку, где жила его тетка. Выехали утром в шарабане; Комета и Окурек быстро несли легонький двухместный, без козел, экипаж по черным, до глянца накатанным колеям. На половине пути началась гроза, ливень мигом не оставил на нас сухой нитки, а главное превратил чернозем в неописуемо вязкую грязь: она огромными пластами налипала на колеса, отец много раз очищал их, но через несколько минут все повторялось. Лошади едва тянули шагом, измучились, и лишь к ночи мы приехали в Семеновку.



УТРОМ, ЧУТЬ ЗАБРЕЗЖИЛО, МЫ ОТПРА-
ВИЛИСЬ НА ОХОТУ И ПЕРЕД ВОСХОДОМ
СОЛНЦА ВЫШЛИ НА БОЛОТА...

Утром, чуть забрезжило, мы отправились на охоту и перед восходом солнца вышли на болота, несравненно более просторные, чем Ерофеевские. По ним у самой земли стелилась пелена тумана, разбросанные по лугу кусты и копны сена темнели над золотисто-розовой, освещенной первыми лучами дымкой. Не успели мы войти в невысокий сырой кочкарник, как Дайда нашла дупеля, папа убил его, потом одного за другим еще двух. Такая охота мне и не снилась. Помнится, отец взял больше десятка бекасов, четырех дупелей, а также двух или трех коростелей, впервые разрешив Дайде работу по ним. Но стрелял он в этот день неважно, опустели оба его патронташа, кончился и небольшой запас, имевшийся в ягдташе.

Оставалось два патрона в ружье, когда мы повернули домой. Тут с небольшого озера поднялись две кряквы, папа выпустил по ним последнюю пару зарядов, и обе упали в густую высокую траву. Одну, битую наповал, Дайда тотчас нашла, а вторую, подстреленную, отыскать не удалось. Напрасно собака излазила все вдоль и поперек, напрасно пришедший на помощь крестьянин выкосил большой участок травы и камыша. Утка так и пропала, что сильно отравило удовольствие папе, а особенно мне. Любопытно: потерю этой утки и случай с вальдшнепом, упущенным мною в Жировском лесу, я переживал совсем по-разному. Упустить вальдшнепа, подстреленного неизвестно кем, было только обидно, а не найти утку, упавшую после папиного, значит, «нашего», выстрела, — не только обидно, но и совестно. Чувство стыда за каждую напрасно загубленную мною дичь я всегда испытывал и впоследствии, притом тем острее, чем опытнее становился. По мне лучше сделать десяток самых позорных промахов, чем потерять одну сбитую птицу или недобрать раненого зверя.

На осенние охоты по вальдшнепу отец в 1910 и 1911 годах меня не брал. Лето 1911 года было последним, проведенным в Ерофеевке. Чтобы приехать на выходной день, отцу приходилось делать на лошадях по сорок километров туда и обратно проселочными дорогами. Нужно было нанимать в Воронеже ямщика на трое суток, а это обходилось недешево. Усложнилось и переселение из города и обратно в город — нас, детей, стало уже шестеро. А вот младший из братьев отца, тоже врач, начал работать в Землянске и мог жить в Ерофеевке хоть круглый год.

В это время под Воронежем, в Боровском лесничестве, была выделена значительная площадь казенного леса под дачный поселок. Участки сдавались в долгосрочную (99 лет) аренду с какой-то очень низкой ежегодной пла-

той. На постройку бревенчатого четырехкомнатного дома отец затратил все свои небольшие сбережения, но потом они с мамой всегда удивлялись и радовались тому, насколько сократились летние расходы.

Поселок строился у железной дороги и получил название Сосновка; по другую сторону полотна вскоре возник второй поселок — Дубовка. Оба они сохранились и поныне, но узнать их нельзя. Тогда сразу от заднего забора папиной и других сосновских дач начинался чудесный пышный, не затоптанный и не засоренный лес; высокорослые старые сосняки чередовались с участками чернолесья. Среди ветвей деревьев кишели певчие птицы, лес был богат грибами, земляникой, ландышами. На полянках в июне расцветали великолепные темно-лиловые касатики — дикие ирисы. На дубовской стороне преобладали лиственные деревья и не было так красиво, зато грибы родились массами. Почва, в основном песчаная, просыхала через час-два после самого сильного ливня. В начале лета 1912 года мы переехали в почти уже достроенный дом.

Местность оставляла не желать лучшего для дачной жизни. Далековато было до купания, но я и сестры все же ухитрялись бегать на реку Усманку дважды в день. Не так хорошо обстояло дело с охотой.

Широкая пойма Усманки, в особенности ниже села Борового, в четырех-шести километрах от Сосновки, изобиловала болотами и изолированными от реки озерами-старицами. Сама Усманка то извивалась по заливным лугам узкими быстриками, то образовывала широкие с заливами плесы, заросшие у берега камышами. Места были просторные, удобные и для болотной, и для водоплавающей птицы. Кроме того, право пользования угодьями составляло монополию Императорского общества правильной охоты, неплохо организовавшего охрану от браконьеров. Охота в его, как теперь говорят, приписных угодьях открывалась обычно не в Петров день, а на 8—10 дней позже — около 20 июля. Все это, казалось бы, должно было обеспечить обилие дичи, и действительно, в начале сезона ее было много, особенно бекаса, кряквы, чирка.

Но общество, хоть и «императорское», не грешило аристократизмом; вступить в него мог всякий, взносы не были обременительными для людей с ограниченными средствами. Близость к городу и удобное сообщение (мнее получаса в пригородном поезде) приводили к тому, что в день открытия на Боровские луга выходило двадцать-тридцать охотников. Большинство стреляло и по утке, и по

болотной мелочи. Поднималась пальба, как на поле боя. Не удивительно, что через неделю-другую дичь разлеталась, пара бекасов или коростелей, тем более дупель, становились солидной добычей — конечно, на мой взгляд. Папе же, всегда бравшему свой отпуск со дня открытия охоты, надоедало день за днем топтать с собакой почти опустевшие болота, и он волей-неволей начинал уделять внимание утке.

С луговых водоемов ее к этому времени тоже распугивали; заливы реки, плесы, заросшие камышом озера — все пустело. Но в первое же лето мы обнаружили места, в которых весь сезон сохранялся вечерний перелет.

В самой дальней части заливных лугов, перед лесами, в которые уходит Усманка, росли в то время отдельные большие участки ольшаников, затопленных водою, оставшейся от весеннего разлива. Тут, несмотря на многочисленных охотников, а может быть, и благодаря им, скапливалось и упорно держалось довольно много уток. Охота в ольхах днем была пустым занятием. Не показываясь на глаза, прячась за ольховыми коблами и кустами осоки, утки потихоньку отплывали от шлепающего по колену в воде охотника. Цепи из пяти-шести человек удавалось прочесать ольху, согнать в одно место всех уплывающих уток и прижать их к берегу. Но, достигнув уреза воды, они разом поднимались вне выстрела и притом за деревьями, взлетали над их густыми кронами, проносились высоко над охотниками и рассаживались где-то сзади с плеском и криканьем, словно приглашая начать все сначала.

Позже, охотясь уже самостоятельно, я убедился в бесплодности попыток охоты в ольхах с подхода. Единственный раз мне удалось свалить матерку, взлетевшую рядом, видимо, считавшую, что затаилась уж очень надежно. Папа же никогда и не пробовал забираться в затопленные ольшаники. Но на вечерней заре из этих, как он называл, резерваций шел неплохой лет уток. Часть их направлялась в поля на ночную жировку, а часть, притом наибольшая, видимо, просто разминала крылья: покружив над лугом, над озерами, утки возвращались в ту же ольху.

После обеда мы бродили пару часов с собакою, а потом отстаивали вечерний перелет у одной из трех резерваций. Перелеты не были добычливыми — птица летела не по определенной трассе, то так, то этак, но все же папе довольно часто удавалось взять одного-двух чирков, иной раз и крикву.

От Дайды тут сперва было мало пользы. Отец счи-

тал, что от пойнтера не требуется аппортирования с земли, и обучил Дайду подаче только из воды. Для болотной мелочи этого было вполне достаточно, с мертво битой уткой тоже не возникало затруднений. А вот подстреленные Дайде не давались — на воде занывивали, а на сухом месте она, найдя подбитую утку, делала по ней стойку, ловить же подранка приходилось мне. Потом собака научилась справляться и с ныряющей уткой, ловить подранков на земле, и хотя в руки не подавала, уток мы с ней почти не теряли.

В Сосновке я впервые увидел кроншнепов, немедленно ставших предметом моих пламенных охотничьих мечтаний. Они были немногочисленны, отлетали на юг рано, но все же до начала августа мы часто встречали трех-четыре огромных куликов, кормившихся на поле среди большой стаи чибисов. Папа не хотел даже пытаться подходить к ним, не видя ни малейшей возможности подобраться на выстрел к свистунам (так называли кроншнепов местные охотники). А я мечтал, чтобы отец все-таки убил свистуна, но ему это так и не удалось за всю жизнь. Да и сам я добыл первого кроншнепа спустя два с лишним десятка лет.

Подошла осень, папин отпуск закончился. Мы же оставались на даче (я, старший из детей, учился еще дома), и отец почти ежедневно бывал у нас. Но приезжал он после работы, так что идти на болота было уже поздно. К счастью, и нужда в этом скоро отпала — началась охота в лесу по вальдшнепу. Осенью эту чудесную птицу, красу всей пернатой дичи, можно было встретить у самых заборов дачного поселка.

Первый сигнал о появлении вальдшнепов принял я. Мы с сестрами, как обычно, встречали папу на сосновской платформе. Прошел один дачный поезд, прошел второй — папы все не было. Пришлось ждать третьего. Солнце село и уже заметно стемнело, когда я увидел пролетающую вдоль полотна длинноносую птицу, а немного погодя — вторую такую же. Я их принял за дупелей и приехавшему наконец отцу тут же на платформе сделал соответствующий доклад. Вокруг было много дачников, в том числе двое охотников. Папа не дал мне договорить, буркнув вполголоса:

— Ладно, ладно, потом! — Дома он сказал, что пролетели, конечно, не дупеля, а вальдшнепы; тут я и сам сообразил, что ошибся. — Завтра походи по лесу с Дайдой, а я постараюсь приехать пораньше.

На другой день, проводив папу, я отправился в лес

и ходил довольно долго, но совершенно бесплодно. Решил, было, уже возвращаться, когда увидел Дайду на стойке у большой сосны, окруженной кольцом густого, соснового же подроста. Замирая от волнения, не смея надеяться, я подошел, послал собаку вперед и... из-под сосны с шумом поднялся вальдшнеп, очень крупный и какой-то светлый, почти желтый.

Отец приехал с самым ранним из вечерних поездов, выходя из вагона, увидел мои вытаращенные глаза и молча приложил палец к губам. Мы смогли походить по лесу два часа с небольшим и под конец нашли пару вальдшнепов — обоих в соснах. Первого папа убил, второго промазал из-за гущины и плохого уже освещения. Тут мне была прочитана нотація — утром нужно было поискать еще и выяснить, что вальдшнепы держатся по сосняку. «Теперь их с каждым днем будет все больше», — радовались мы и ошиблись. В ближайшее воскресенье с рассвета и до вечера собака нашла всего трех. Все это были птицы местные. Только через две недели численность вальдшнепов сразу возросла, и накануне нашего переезда в город папе удалось за послеобеденную охоту убить четыре или пять штук. Дату этой охоты — 23 сентября — мне велено было твердо запомнить как время появления в Сосновке перелетного вальдшнепа, что неизменно подтверждалось в последующие годы.



ПОЛУБЯНКА

Кроме «императорского» общества, в Воронеже имелась еще одна охотничья организация — кружок, официально именовавшийся Воронежским отделением Всероссийского общества любителей породистых собак, а в просторечии — Полубянкой, поскольку его база находилась в деревне Полубянке, близ станции Колодезной Юго-Восточной дороги. Там стоял охотничий дом и содержалась стая гончих — десять, двенадцать, а в иные годы и больше смычков (пар собак). Охоты проводились только коллективные, в сравнительно небольших по площади отъемных лесах, следовательно, не очень многочисленные. Соответственно и число членов Полубянки

ограничивалось примерно тремя десятками. Малая численность полубянцев поддерживалась, с одной стороны, значительным, гораздо более высоким, чем в императорском обществе, вступительным и ежегодным взносом: аренда угодий, содержание базы, большой стаи гончих и обслуживающего персонала обходились недешево. Требовал расходов и каждый выезд на охоту — наем подводчиков, закупка продуктов для общего котла и пр. Все эти затраты могли позволить себе либо люди весьма зажиточные, либо те, которые, как мой отец, готовы были отказать себе во многом, лишь бы иметь возможность хорошей охоты.

С другой стороны, и тому, кого не останавливали материальные соображения, стать членом Полубянки было не так-то просто. Для вступления требовалось единодушное одобрение кандидатуры всеми членами кружка; достаточно было одного аргументированного возражения, чтобы отказать претенденту. Такой порядок позволял не допускать в коллектив лиц нежелательных — неприятных в компании, небезопасных на охоте и т. д.

Правда, не всякому кандидату можно было дать отвод. Так, членом Полубянки состоял жандармский полковник; его приезды на охоту едва ли кого радовали. Папа объяснил мне, что особая присяга обязывала жандармов доносить о всех крамольных высказываниях, услышанных ими, — будь то на охоте, в беседе за столом и т. п. Невелико удовольствие знать, что всякое слово может быть взято на карандаш, и даже я, одиннадцатилетний мальчик, мог заметить, как изменялось в присутствии полковника поведение охотников, обычно непринужденное. Хорошо, что он появлялся на охоте редко.

Чаще доводилось встречать другую малосимпатичную особу. Один из воронежских денежных воротил, сам довольно дельный охотник, добился, чтобы в кружок приняли его жену. Мадам П. была женщина высокая, с весьма пышными формами и рыжеватой, тоже пышной, прической. Она еще не достигла бальзаковского возраста, но уже приближалась к нему («легонький бальзачок», — говорили полубянские шутники). Ее холеное лицо запомнилось как довольно противное: большой остроконечный нос и широкий рот придавали ему хищное выражение. Держала себя эта дама очень развязно, много и шумно говорила, перебивая других, громко хохотала, взвизгивала, могла хлопнуть малознакомого компаньона по плечу, а то и по затылку, попивала коньяк, словом, что называется, бой-баба.

Ухарские повадки госпожи П. шокировали не всех полубянцеv, некоторых даже забавляли, но все же ее приезды ни у кого не вызывали энтузиазма. Супругам приходилось целиком уступать одну (меньшую) из двух комнат жилого дома, а всех остальных охотников размещать в другой. Однако это было еще полбеды. Настоящие неприятности начинались в лесу.

Об охоте с гончими (да и только ли с гончими?) полубянская Диана имела смутное представление, а мужу хотелось охотиться самому, без помехи. Поэтому за его счет к охотнице приставлялся опытный егерь по прозвищу Иван-монах (он смолоду действительно был послушником в Дивногорском монастыре). Но подопечная постоянно вступала с ним в пререкания, поднимая шум на весь лес; могла во время гона выстрелить по взлетевшим куро-паткам, даже по сороке. Случались у нее нечаянные выстрелы, да и вообще она стреляла, вовсе не думая о безопасности остальных охотников.

Но за этими немногими исключениями полубянцеv были люди приятные в обществе, осторожные на охоте, по преимуществу немолодые — в возрасте моего отца и старше. Было среди них несколько очень колоритных личностей, и особенно выделялся Николай Антонович Янушевский. Один из основателей кружка, он заведовал стаей, был бессменным распорядителем на охотах и, кроме того, славился как постоянный рассказчик охотничьих историй, которые мне тогда казались правдоподобными.

Занимая какую-то небольшую канцелярскую должность в железнодорожной администрации, имея очень скромные средства, Янушевский жертвовал все для охоты с гончими, считал ее главным делом своей жизни и знал в совершенстве. Был он и незаурядным кинологом-практиком, по-видимому, одним из пионеров создания англо-русской породы гончих, позже выделенной в особую породу и названной «русские пегие». Во всяком случае родоначальниками полубянской стаи были собаки, полученные Николаем Антоновичем от скрещивания русских костромских гончих с импортными английскими фоксгаундами. Я слышал, какой труд затратил он на выбраковку молодых, не обладавших хорошим голосом и высокими полевыми качествами. Мое суждение основано на детских впечатлениях и не авторитетно, но Г. В. Кольцов, любитель и большой знаток охоты с гончими, в статье «О голосах гончих» дал полубянской стае весьма высокую оценку (альманах «Охотничьи просторы», вып. 7-й, 1957 г.).

Свой отпуск Янушевский непременно использовал до начала охоты с гончими, посвящая его руководству нагонной собак в лесах донского правобережья у сел Сторожевое и Голышевка.

Примечательна была наружность Николая Антоновича — высокий рост, статная фигура, громадные закрученные книзу усы, светло-голубые, всегда веселые глаза. Меня особенно привлекала его постоянная готовность обстоятельно ответить на мои бесчисленные мальчишеские «почему?», «зачем?» и т. д. Позже, когда я приезжал уже с ружьем, он много помогал мне полезными на охоте указаниями и советами. Неплохо относились ко мне и остальные охотники, особенно мой тезка Сергей Митрофанович Веретенников (по-полубянски — Митрофыч). С ним и его домашними у меня навсегда установились самые теплые отношения.

Охота на Полубянке была хороша — отлично гоняющие собаки и много зверя. Арендовавшиеся кружком леса располагались на крестьянских землях; сельским охотникам не возбранялось тропить русаков по пороше и вообще стрелять их «из-под себя», но эта охота в полях не отражалась на численности зайца в лесу, да и охотников местных было совсем немного. Полубянцы же брали каждый лес (или группу лежащих рядом небольших лесов) только дважды в году. Поскольку в охоте редко участвовало более пятнадцати-восемнадцати стрелков, убивавших в среднем не более двух зайцев на ружье, то за сезон в каждом из угодий отстреливалось самое большее шестьдесят-восемьдесят русаков, и к следующей осени их численность восстанавливалась. Не переводились и лисы. Как только ложился глубокий снег и начинались морозы (обычно в первой половине декабря), охоты с гончими сменялись облавными охотами по волкам.

Для полубянских охот по зайцу было характерно непрерывное ожидание выхода зверя: гон с утра до вечера почти не прерывался и по окончании охоты музыка его долго еще звучала в ушах как слуховая галлюцинация. При обилии зверя и многочисленности гончих собаки поднимали зайца скоро, иногда тотчас после наброса. Стая нередко делилась, гоняя двух русаков одновременно, да еще и шумовые зайцы разбегались по лесу. Бывало, гон слышался чуть не со всех сторон, выстрелы гремели тут и там. Это создавало напряженную, чрезвычайно волнующую обстановку, так что охота почти всегда была интересной от начала и до окончания.

Однако были в ней и неизбежные, весьма существенные недостатки.

Беляк в полубяньских лесах не водился вовсе, да в этих условиях даже он не мог бы ходить сколько-нибудь правильными кругами, а о русаке и говорить нечего. Ждать возвращения гонного зайца на лежку было бесполезно; возможность, определив направление гона, перехватить зайца также почти исключалась. Притом стрелков собиралось много и, сделав перебежку, чтобы подставиться под зайца, можно было оказаться перед уже стоящим на месте товарищем, чего охотничья этика не допускает. Таким образом, наибольший успех сулило знание переходов, излюбленных зайцами, обитающими в лесу. Став на такой переход, охотник получал большое преимущество перед тем, кто был вынужден действовать по догадке, то есть с началом гона занимал ближайшее подходящее с вида место — перекресток дорог, лесную перемычку между двумя полянами и т. п.

Даже на таком наугад выбранном месте нередко удавалось подстоять зайца, если не гонного, то шумового. Но сделаться мастером охоты с гончими, изучить все ее тонкости было трудно — на это требовался многолетний опыт, каким обладал, например, Янушевский. Впрочем, я это понял много позже, а тогда мне и в голову ничего такого не приходило, я наслаждался — и только.

Воспоминание о первой поездке в Полубянку — одно из самых ярких за период моей охоты без ружья. В самом конце ноября 1912 года, в субботу после обеда, отправились поездом, причем все охотники, человек двенадцать, разместились в одном вагоне — такая установилась традиция. До Колодезной поезд шел около часа.

У станции в наступившей темноте ожидали подводы — несколько телег, так как для санного пути снега еще не доставало. В задках телег были пристроены спинки из тонких жердей, лежало сено, покрытое дерюгой. Охотники, закутанные кто в доху, кто в тулуп или дорожный чапан, расселись попарно в строгом порядке: на первой повозке — председатель и заведующий стаей, на второй — секретарь и казначей, затем уж все остальные охотники (как шутили полубяньцы, «прочая сволочь»). Проехав километра четыре, остановились в деревушке у громадной избы из нескольких соединенных срубов. На крыльце горел фонарь, виднелись прибитые над входом огромные развесистые олени рога. Из просторной прихожей вели три двери: в кухню и квартиру старшего доезжачего, в большую очень длинную комнату с обеденным столом

посредине, с двумя десятками коек вдоль стен и, наконец, в комнату меньшего размера, где стояло всего шесть кроватей, два ломберных стола и громадный книжный шкаф. Ярko горели большие керосиновые лампы-«молнии», на беленых стенах повсюду висели гравюры, репродукции картин, увеличенные фотографии — все на охотничьи сюжеты.

После ужина и чая любители карт сели играть в винт, отец лег на койку с книгой, а я получил разрешение заглянуть в шкаф. Там в числе прочего оказались комплекты журналов («Охотничий вестник» и «Природа и охота» за ряд лет). Я читал, пока не погасили свет. Бесконечно долгой показалась мне эта ночь; уснуть я не мог, был слишком возбужден. Так и ворочался, не смыкая глаз, до самого утра, слушая устрашающие звуки, доносившиеся через прихожую из комнаты с шестью койками — она служила изолятором для храпунов. Ну и концерт же они там устроили! Впрочем, всю мощь их оркестра удалось оценить по достоинству лишь после того, как на охоту приехали супруги П. и виртуозов храпа разместили в большой комнате вместе со всеми.

Насилу дождался я подъема. Напились чаю, некоторые, в том числе мы с папой, предпочли молоко, хотя нам говорили: «Кто молоко пьет, тот зайца не убьет!»

Когда в окнах забрезжил рассвет, у крыльца уже стояли подводы и стая гончих на смычках. Янушевский, расправляя усы, осматривал собак и давал указания Роману (отчества не помню) и его помощнику Никите Федоровичу. Вид стаи был очень внушителен: двадцать сомкнутых попарно собак серо- или черно-пегих «в румянах», то есть с рыжими подпалинами. Невыносимо медленно собирались охотники; наконец тронулись две передние повозки с «властями», за ними и остальные. Ехали не спеша, чтобы не отставала стая.

Меня удивила дисциплинированность собак — все двадцать шли у дороги сплошной массой, как раз рядом с нашей подводой. Временами какая-нибудь останавливалась справиться свои делишки, но это было не так-то просто — напарница волокла ее, натягивая смычок, устраиваться нужно было на ходу. Только раз одна пара дружно потянула в сторону, верно почуяв что-то. Громко хлопнул арапник, раздался окрик: «В кучу!», и порядок был восстановлен. Я так засмотрелся на собак, что дорога до леса Топильного — не менее часа езды — прошла незаметно. Когда подъехали, солнце уже взошло, утро было тихое, ясное, с легким морозцем. Снега выпало еще совсем



КОГДА ЗАБРЕЗЖИЛ РАССВЕТ, У
КРЫЛЬЦА УЖЕ СТОЯЛИ ПОДВОДЫ
И СТЯЯ ГОНЧИХ НА СМЫЧКАХ.

мало, но в лесу он равномерно покрывал землю, образуя белую тропу. Пока вынимали из футляров и собирали ружья, Роман с Никитой размыкали собак. Каждая освободившаяся от смычка пара мчалась в лес, остальные нетерпеливо скулили, лезли к рукам доезжачих, стараясь проскочить «без очереди».

Скрылась в опушке последняя собака, Янушевский в свой серебряный рожок звонко протрубил начало охоты, и почти тотчас в рослых дубовых кустах взвизгнул тонкий голосок — раз, еще раз и залился плачущим воплем. Доезжачие закричали: «К нему! К нему!» И тут началось такое, что у меня дух занялся. Я хорошо помнил слова А. Н. Некрасова: «Варом варит закипевшая стая...», но только теперь понял, что это значит. Голоса собак от высоких звонких переливов до глубоких басов заполнили лес — но ненадолго; впереди грянул выстрел, послышался крик: «ого-го-го!», еще минута — и гон оборвался, кто-то взял этого первого русака.

Гоняли много, порядочно было и выстрелов, большею частью удачных, за которыми следовал перерыв гона, слышались звуки рогов, порсканье доезжачих. Затем поднимали нового зайца и в лесу опять гремел хор собачьих голосов. А нам до самого сигнала «обед» не удалось даже перевидеть зайца. Отец охотился в Топильном всего второй раз, переходов не знал, становился наугад и все неудачно. Когда собрались на поляну к подводам и костру, я был в расстроенных чувствах, а от вида более десяти зайцев и лисы, убитых другими охотниками, совсем загоревал: наверное, действительно не следовало нам — особенно папе — пить молоко.

Обед — разные закуски, гречневая каша, разогретая в огромном котле с кусками шпика и мясными котлетами, и, наконец, чай — меня не радовал. Есть, конечно, хотелось, но еще больше хотелось, чтобы обед поскорее закончился. Хорошо им распивать чай — все, кроме папы, были с добычей.

Но и после перерыва продолжалось все то же — зверь на папу не выходил. Когда мы, слушая гон, стояли на полянке среди кустов дубняка, подошел Николай Антонович и тихо сказал:

— Нехорошо стали, Андрей Гаврилович! Пройдите быстренько по этой дорожке шагов двести до начала порубки.

Отец помчался, я за ним. Дорожка вывела на неширокую старую порубку — полосу осинок, тянущуюся между двумя стенами высоких деревьев. Но — о, горе! В начале

порубки уже стоял стрелок. Папа хотел повернуть назад, но охотник любезным жестом пригласил нас на свое место, а сам перешел влево, к краю высокого леса. Гон приближался; вдруг впереди между молодыми осинками и пнями на дорожке появилось животное, которое мне показалось маленькой овечкой — я никогда еще не видел зайца, бегущего навстречу, притом с заложенными ушами.

Русак шел «в ноги» и был уже совсем близко. Отец выстрелил. Я видел, как фонтан снега взлетел позади зайца; он огромным прыжком бросился в сторону, и папа еще раз промахнулся. Сейчас же раздался третий выстрел и громкое «ого-го!» — сосед убил русака, словно в награду за свою любезность. Подойдя к нам, он торжественно вручил зайца мне, сказав, что не годится молодому охотнику возвращаться домой «попом». Отец его благодарил, бормотал что-то и я, хотя горечи, вызванной «нашими» промахами, чужой русак ничуть не убавил. В этот день папе больше стрелять не пришлось.

Вернувшись к темноте в охотничий дом, съели настоящий обед (на первое суп из курицы, на второе — курица из супа) и поехали на станцию к ночному поезду. А мне все чудились звуки гона.

В следующее воскресенье папа опять взял меня с собою, и опять я не спал всю ночь. Охотились на этот раз в Смерже — самом большом из лесов по левобережной стороне Дона. Папа в нем охотился уже не раз и ориентировался хорошо. Рано выпавший снег стоял, было тепло, сыро, но с ночи поднялся сильный ветер. Охотники ворчали, предсказывая плохой гон: «Собаки будут отслушивать»... и т. п. В самом деле, охота пошла вкривь-вкось, хотя вовсе не из-за ветра.

Вскоре слева отдала голос одна гончая, к ней присоединились другие, но немногие. Гон шел уже несколько минут, доезжачие энергично накликали, а остальные собаки почему-то не подваливали. И вдруг стая заревела справа, да так, что даже я при своем невежестве почувствовал в голосах собак что-то особое. Гон стремительно удалялся, его уже плохо было слышно за ветром, когда донесся и трижды повторился короткий, на двух нотах звук рога.

— Волка погнали! — сказал мне папа.

Так оно и было. Зверь, не задерживаясь, прошел лес напрямик и «уволоок» собак через поля в пойму Дона. Никита Федорович выпряг лошадь из повозки и «охлюпкой» (без седла) поскакал за стаей. Только к вечеру

ему удалось собрать и привести собак, потерявших след там, где зверь переплыл широкий ерик (проток). В лесу же охота шла весь день с пятью оставшимися гончими — о них говорили как о наименее надежных — и оказалась малоуспешной: почти половина охотников уехала домой «попами». Но меня-то Смержа порадовала: «мы с папой» убили зайца. Я жалел только, что разглядел его лишь после выстрела, когда он уже брыкался на земле.

Третья поездка пришлась как раз на закрытие полубянской охоты с гончими. Для первой и для последней охоты сезона всегда использовался лес «Олень», настолько близкий к дому, что только посуду, продукты и т. п. везли на лошадях, а охотники шли пешком. Снега было уже очень порядочно, и ходьба для меня оказалась нелегкой. Зато папа подстоял двух русаков, которых и взял, а я оба раза издалека увидел и хорошо рассмотрел приближающегося зайца. Первый, гонный, мчался мимо, пересекая поляну, и после выстрела несколько раз перекувыркнулся через голову. Второй, шумовой, тихонько шел к нам по редкому старому дубняку, осторожно крался то маленькими прыжками, то ползком, присаживался, вставал на дыбки. Иногда он делал большой скачок в сторону, и у меня сердце замирало — неужели отвернет? Но русак снова поворачивал на нас, и когда, заметив опасность, метнулся назад, было уже поздно.

За эти три поездки я основательно ознакомился с содержимым книжного шкафа. Очень интересной — интереснее «Охотничьего вестника» — была летопись полубянской охот. В нескольких больших, конторского вида тетрадях содержались сведения о всех охотах, проведенных за время существования Полубянки. В записях фиксировалось место охоты, погода и тропа, численность стаи и как гоняли собаки, список участников, число взятых каждым зверей, особые случаи — вроде гона по волку в Смерже.

В шкафу хранилась также папка, содержащая исключительно плоды полубянского юмора: шуточные протоколы воображаемых заседаний правления и общих собраний кружка, посвященных обсуждению выдуманных происшествий, пародийная инструкция о проведении волчьих облав, содержавшая, например, совет: «бить волка по кишкам и смотреть: нагадит жидким — значит, не уйдет, не нагадит — стрелять из второго ствола по когтям». Эти рекомендации не были случайными: «бить по кишкам» в самом деле советовал один из полубянских чудаков, а Н. М. Ростовцев, как-то стреляя по волку, пробегавшему в нескольких шагах от него, только отбил ему пальцы

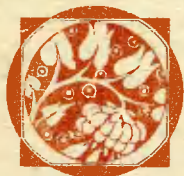
передней лапы, что выяснилось на следующем номере, где зверь был убит.

В другом шуточном документе я нашел описание обрядов, совершаемых над охотником, впервые убившим любого зверя — от зайца до слона. Поскольку мои мечты не шли дальше зайца и, может быть, в далеком будущем — лисы, то только два обряда и сохранились в памяти. За первого убитого зайца положено было отстегать неофита собачьим арапником по соответствующей части тела, за первую лису — вымазать счастливцу лицо лисьей печенкой. Ну, это мне показалось пустяком, а вот арапник не очень понравился. Я даже подумал, что когда получу ружье, то как-нибудь постараюсь убить первого зайца не на Полубянке. Я осторожно разузнал у Н. А. Янушевского, действительно ли выполняются эти процедуры. Он ответил, что выполняются, если молодой охотник им по душе, а кого не полюбят, тот обойдется и так. Чудное дело — это как-то сразу изменило мое отношение к арапнику.

Наконец, был в шкафу огромный альбом, содержащий фотографии полубянских охотников (персональные и групповые), снятых за столом, на подводах, в лесу на привале, над убитым зверем и т. д.

Последние охоты в Полубянке, в которых я участвовал, проходили в октябре 1917 года. Стаю удавалось кое-как поддерживать еще года два, затем пришлось ее ликвидировать, и кружок распался.

Часть собак, переданных Г. В. Кольцову, могла бы сохраниться, но в том же году всех его гончих перестреляли белобандиты-шкуровцы, разграбившие лесничество, где он работал и жил.



ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ, ПЕРВЫЕ ОХОТЫ

Ко дню моего рождения, 27 января 1914 года, отец, сдержав обещание, вручил мне ружье — двустволку 16-го калибра системы и работы некогда знаменитого французского мастера Лефосе. Оно было изготовлено под так называемый унитарный игольчатый патрон и, стало быть, не имело бойков. Их заменяли шпильки, вмонтированные в бок головок гильз; шпилька одним концом упиралась в

капсюль, лежавший боком же на дне гильзы, а другой конец через прорезь в крае патронника торчал наружу и по нему ударял курок.

Это ружье давным-давно купил себе А. И. Алмазов, но охотился с ним недолго — на смену игольчатым быстро пришли ружья центрального боя. Алексей Иванович приобрел «централку» не менее прославленного ружейника Новотного в Праге, а впоследствии, закончив охотничье воспитание моего отца, преподнес ему лежавшее без употребления «Лефоше». Но предварительно он отдал его переделать из игольчатого в центральное. Были заделаны прорези в патронниках, просверлены каналы для бойков, заменены курки. Эту сложную работу блестяще выполнил воронежский мастер-кустарь Краснобаев.

В остальном оригинальная конструкция ружья, понятно, сохранилась. Из современного поколения охотников вряд ли кто видывал систему Лефоше. Металлическое, не отделяющееся от стволов цевье полностью покрывалось широким и длинным ключом затвора — рычагом, ось которого помещалась впереди спусковой скобы. Ключ заканчивался над верхушкой цевья овальной рубчатой пластиной-рукояткой. Чтобы переломить (открыть) ружье, нужно было отвести ключ до отказа вправо. Остальные детали запирающегося механизма описывать не буду.

Первоначально ружье имело ложу из красного дерева, мушка была оформлена в виде продольного серебряного гребешка. Но в свои студенческие годы отец разрешил младшему брату Алеше пользоваться ружьем. Однажды во время зимних каникул Алеша пошел по зайцам, упал, набрал снега в стволы и только что хотел их прочистить, как из куста вскочил русак. Забыв все на свете, дядюшка выпалил и едва устоял на ногах. Конец ствола разорвало, а переломившаяся наискось шейка сильно поранила стрелку ладонь. После этого Алексей Гаврилович всю свою жизнь, подходя к стойке, проверял концы стволов двумя пальцами левой руки. К концу охоты эти пальцы бывали черны, как уголь.

Ружье реставрировали, поставив новую ложу из простенького ореха и укоротив длинные стволы примерно до семидесяти сантиметров, что на бое практически не отразилось. Но больше с ним не охотились, не знаю даже, где оно хранилось до 1914 года, когда досталось мне. Несмотря на перенесенное увечье, «Лефоше» выглядел очень нарядно. Металлические части не вороненные, а серебряно-белые, были изящно гравированы, стволы, хотя и с невзрачной медной мушкой, радовали рисунком превосход-

ного букетного дамаска. Для меня ружье было и великовато, и тяжело — весило семь с лишним фунтов, то есть больше трех килограммов, но папа сказал: «Ничего, приспособишься, да и подрастешь, только не жалея времени, тренируйся, привыкай к ружью». А я и без того готов был заниматься им хоть целый день.

Тренировка, предложенная отцом, была несложна: выбрав какую-нибудь точку прицеливания, глядеть на нее обоими глазами, быстро вскинуть ружье в ее направлении и, зажмурив левый глаз, проверить, насколько точно удалось поймать мушкой цель. Это упражнение я долго повторял несколько раз в день, пока не отказывали уставшие руки. Постепенно ружье слушалось все лучше, казалось менее тяжелым, вскидки получались все удачнее. К весне я ошибался редко и незначительно. Нужда в зажмуривании левого глаза отпала, особенно после того, как я привык «выключать» его, не закрывая. Теперь нужно было научиться плавному, без рывка нажиму на спуск. Этому отец обучал меня так: я стрелял одним капсюлем без пороха в пламя горящей свечи; при точном прицеливании выстрел гасил свечу с пяти-шести метров.

Летом после переезда на дачу в Сосновку и нескольких выстрелов дробью по бумажным мишеням я начал вечерами стрелять по деревянным чуркам, которые отец подбрасывал в воздух. Скоро удалось научиться попадать в них. Мне ужасно хотелось испытать свое умение на летящей птице. В поле, которое служило стрельбищем, на нас постоянно налетали то грачи, то кобчики, то другая живность. Но отец не позволял стрелять, сказав, что начинать надо с настоящей дичи, чтобы была охота, а не баловство. «Запомни: убивать — еще не значит охотиться», — и добавил, что если я хочу стать хорошим стрелком, то должен начать со стрельбы по бекасам, а до открытия охоты ждать уже недолго.

Но совсем перед охотой все мои надежды рухнули. Я наколол босую ногу, и на подошве под твердой, как подметка, кожей образовался глубокий, мучительно болезненный нарыв, который отцу пришлось вскрыть. Рана заживала медленно, я прыгал на одной ноге и переживал свое горе, пропуская мимо ушей все более и более тревожные слухи о нарастающей угрозе войны. Наконец нога зажила, и отец счел возможным взять меня на охоту — для начала недолгую, в места самые близкие, но мало обещавшие, куда мы обычно не ходили.

На правом берегу Усманки выше железнодорожного моста была огромная, в сотни гектаров, сухая луговина —

Борная поляна. Она глубоко вдавалась в ольховый лес, была замечательна великолепным, одиноко стоящим старым дубом. Болот на Борной, собственно говоря, не было. Только вокруг нескольких раскиданных по поляне небольших озер да у края ольхового леса имелись полосы сырого кочкарника. Но немного бекасов тут можно было найти.

И вот во второй половине дня я впервые иду на охоту с ружьем за плечами; правда, патроны мои у отца, но ему лучше знать, где им быть. Вот и Борная, вот первое озерцо на ней, окруженное кочками. Отец заряжает ружье, дает и мне пару вынутых из кармана патронов. Дождался я счастливого часа! Открываю затвор... и вдруг:

— Стой! Ты куда стволы повернул? Давай патроны назад!

Действительно, ружье мое было направлено в сторону отца. Как же это я оплошал? Однако делать нечего — приходится вернуть патроны, взять ружье на ремень и плестись следом.

Дайда быстро проверила местечко — пусто. Ничего нет и у следующего озерца. В кочках у ольшаника собака потянула, но пара строгих бекасов сорвалась так далеко, что отец не стал стрелять. Не было дичи и на остальных болотцах. Идем мимо последнего озера — самого большого и самого безнадёжного. Оно, метров сто диаметром, чистое, лежит в довольно высоких берегах, к нему не стоит и подходить. Папа позвал собаку, а она причуяла, повела по лугу и стала у берега над узенькой полоской заболоченной осоки. Мне снова выданы патроны и на этот раз все правила осторожности мною соблюдены.

— Подходи и стреляй, да не беги, тише! Спокойнее!

Я взвел курки и первый раз в жизни пошел к стойке впереди отца. Куда там спокойнее! Сердце колотилось, в глазах плыл туман. Подошел вплотную к Дайде, хотел сказать: «Вперед!» — и не мог. Бекас вскочил сам в нескольких шагах: едва он оторвался от земли, а я уже выпалил два раза, плохо приложенное ружье ударило в плечо, дробь посыпалась на середину озера. Смирный бекас спокойно опустился на другом берегу в такую же осоку.

— Хорошо, что не попал, — остался бы от него один нос, — отец протянул мне патроны. — Нельзя же стрелять почти в упор. Пробуй еще раз и помни: вскинув ружье, стреляй мгновенно, а со вскидкой не спеши, не торопись, сколько раз я тебе говорил.

Мы обошли озеро, Дайда стала. Я был уверен, что опять промажу, даже волноваться перестал, да и собака чуть повернула голову, оглядываясь на меня, словно думая:

«Ну куда ты суешься?» Бекас взлетел шагах в двадцати, пошел круто вверх, я вскинул ружье, чувствуя, что получилось складно, и нажал спуск. Крик отца: «Молодец!», круги на воде от упавшей птицы, плывущая к ней Дайда... А потом так спокойно, так радостно стало на душе — вот я и охотник, в руках у меня бекас, я держу его за длинный клюв, и он словно бы совсем не такой, как те, очень многие, которых отец столько лет укладывал при мне в ягдташ. Да и как же иначе — ведь это мой бекас, моя первая дичь и не какая-нибудь, а особенно почетная!

Уже смеркалось, когда мы пришли домой. Дядя Костя, мамин брат, ожидавший у калитки, встретил отца словами: — Андрюша, война объявлена.

Отец шагнул к забору, взялся за штакетины, понурил голову. А до моего сознания, поглощенного пережитым на охоте, грозная весть дошла как-то смутно. Ее значение я начал понимать лишь на следующий день, когда отец, прервав отпуск, уехал в город. По мобилизационному плану на него возлагалось руководство развертыванием воронежских госпиталей Земского союза. Так в эту осень окончилась наша охота по перу. Но я в свои неполные тринадцать лет больше думал об убитом бекасе, чем о войне, и почти не принимал участия в разговорах и «боевых» играх сверстников, охваченных воинственным энтузиазмом.

Только в середине ноября нам удалось поехать на Полубянку, и я впервые оказался подлинно активным участником охоты с гончими. Охотились в Топильном, где два года назад отец так обидно промазал зайца. Денек был пасмурный, тихий, с легким морозцем. Накануне легла первая очень мелкая пороша. Собаки гоняли как всегда хорошо, отец вскоре убил из-под гона матерого русака, очень крупного (морщинистого, говорили полубянцы), и занялся мною. Трижды он выдавал мне патроны, трижды мы становились на возможном переходе зайца — я впереди, отец у меня за спиной. Но каждый раз гон проходил стороной, и я, разрядив ружье, шел за отцом на новое место.

Случилось мне немного отстать, и тут совсем рядом появился русак, наверное, незаметно подбежавший шумовой. А может быть, подумалось мне, он поднялся с лежки, отца пропустил, затаившись, а меня не счел опасным? Идет, мол, мальчишка, да и ружье за спиной — стоит ли прятаться? Лучше от греха уйти подальше... Место было не густое, заяц долго оставался на виду, шел тихо — тут бы и стрелять. А я даже не подсадовал, что ружье разря-

жено, — все равно ведь нельзя было выстрелить без отцовского благословения.

После всего этого и затянувшегося обеденного перерыва настроение у меня совсем упало. Я уже ни на что не надеялся, да и гона не было. Охота заканчивалась, мы выходили к опушке леса, когда в мелочах собаки залились во много голосов. Слышно было, что зверь тут же пошел в поле. Вслед за отцом я выбежал на опушку; вдали на припорошенных снегом зеленях гнала кучно свалившаяся пестрая стая.

— Вернется заяц, пойдет кромкой, — сказал отец. — Здесь и остановимся.

Схватив патроны, я стал на указанный им небольшой холмик, отделенный от поля узкой полосой шилюги (краснотала), и едва изготовился, как увидел зайца. Собаки удалялись от леса, а он уже завернул и катил пашней обратно правее нас. Добежав до крайних кустов, сел, осмотрелся и неторопливыми, но широкими прыжками направился вдоль опушки ко мне. Не помня себя от волнения, не слыша сердитого шепота отца, я кинулся с пригорка вперед, в шилюгу, но не успел еще выбежать из нее на поле, а сквозь красные прутья уже мелькал русак.

Зачем я сошел с места? Оттуда заяц был бы виден как на ладони и ведь совсем недалеко! Но исправить ошибку уже не было времени. Задев стволami ветки, понимая, что не попаду, я выстрелил раз и другой. Заяц наддал, метнулся в лес и скрылся из глаз. Но тут грянул третий выстрел, раздался победный крик: «ого-го!», и вот отец стоит, высоко подняв убитого русака над столпившимися вокруг собаками.

Ну и отчитал же он меня за мой в самом деле дурацкий поступок! Бесславно окончилась эта моя охота — Топильный снова оказался несчастливым для меня лесом. То ли дело «Олень», думал я вполне серьезно, вспоминая, как был в этом лесу без ружья, когда отец убил при мне двух русаков.

Следующая и последняя наша в этом году охота состоялась именно в «Олене», так как завершила полубянский сезон. Точно помню — 13 декабря (30 ноября старого стиля). Погода со времени охоты в Топильном не изменилась, только прибавилось снега. Было тихо, мягко — почти оттепель, условия для гона отличные. Отец на этот раз предоставил мне больше самостоятельности. Указав, где стоять, и выдав патроны, уходил от меня и занимал другое место. Зверя оказалось очень много. До обеда охотники взяли тридцать зайцев и четыре лисы — одну из них отец. Убил

он и двух русаков, мне же не везло. Лишь раз вышел шумовой заяц, притом в ту минуту, когда я только что зарядил ружье и отец еще не успел отойти. Он первый увидел пробиравшегося в чаще зайца и, боясь, что зверь скроется, ударил по нему. Выстрелил и я, даже попал, но в уже упавшего. Отец уверял, что заяц общий, но просто хотел меня утешить — это было слишком явно.

Когда настало время перерыва, доезжачим не удалось вызвать из леса всю стаю: часть собак продолжала гонять, их голоса слышались во все время обеда. Я с тоской смотрел, как, не торопясь, насыщаются старшие; мне самому кусок не лез в горло. Слава богу! Янушевский подает команду... До вечера время еще есть, может быть, счастье мне все-таки улыбнется?

Я стоял спиной к обширной — гектаров тридцать — вырубке, где только пеньки торчали над снегом. Передо мною — редкие дубовые кусты, за ними высокий лес, там гоняли собаки, уже вся стая. Мне были видны шесть или семь охотников, стоявших, как и я, лицом к лесу. Ближе всех — шагах в ста — отец. Гон шел вправо, огибая порубку и правый фланг стрелков, я был крайним слева. Собаки ненадолго смолкли, потом снова слышались их голоса, но уже сзади, в овраге за порубкой; все мы повернулись в ту сторону. Опять небольшая перемолчка, и вдруг совсем недалеко дружно слились грозно ревущие и жалобно плачущие голоса, ближе, ближе...

Сердце у меня готово было выпрыгнуть. Нет, мне не кажется — на дальнем краю вырубки действительно появился заяц, мелькает среди пеньков, несется прямо на меня. Стая неистовствует — заливается «по зрячему», тут уж зверю не приходится разглядывать, что у него на пути. Но и мне некогда сообразить, что нужно только стоять неподвижно, и заяц меня не увидит. В самом деле, он не заметил и не свернул, даже когда я сдуру опустил на одно колено. Давно пора было стрелять, а я все вел стволами и никак не мог прицелиться, понял, что уже поздно, что перепустил — и выпалил, обдав зайца густым дымом черного пороха.

Конечно, мимо! Он проскочил рядом едва не задев меня, я встал и, совсем одуревший, смотрел ему вслед. Еще немного и он ушел бы в кусты. Но все же вспомнилось, что есть второй ствол: вскидка, торчащие над планкой длинные уши, выстрел... Дым отнесло ветром и — не может быть! Убил! Задыхаясь, я подбежал почти в одно время с собаками, схватил добычу и тут по краю леса раздалось многоголосое:

— Ого-го-го! С полем! С полем!

Это был триумф — мою победу приветствовали свидетели. Отец подошел и поздравил меня, откуда-то взялся наш возница, хотел отнести зайца на подводу — как бы не так! Я подвесил русака на погон, за спину и сам таскал его до конца охоты, сам принес из леса на базу. Он здорово оттянул мне плечо, но как приятна была эта тяжесть!

Торжественная церемония состоялась после обеда и была выполнена со всей серьезностью. Она началась речью председателя Н. М. Ростовцева, разъяснившего, какая высокая честь мне оказывается:

— Кто будет тебя сечь? Председатель Полубянки и заведующий стаей! Кто будет тебя держать? Секретарь и казначей Полубянки! Кто будет приветствовать посвящение гласом трубным? Оба доезжачие Полубянки!.. — и т. д.

— Виноват, — сказал по окончании речи один из охотников. — Почему обошли молчанием меня? Я протестую; моя профессиональная задача как адвоката — раздеть клиента до нитки. Настаиваю на своем праве, хотя готов ограничиться тем, чтобы снять только штаны.

Последовали короткие дебаты и было решено штанов с «клиента» не снимать. Отодвинули от стены койку. Ростовцев и Янушевский стали по сторонам. Я лег, не без труда сохраняя достойный вид, — дело принимало серьезный оборот, но стоило потерпеть. Раздался возглас: «Ближайшим родственникам — отвернуться», оглушительно затрубили рога. Мне отвесили только по одному удару с каждой стороны, зато от всей души. Хотя и не «по голому», а все же было очень больно, но я не пикнул, быстро вытер набежавшие слезы, встал не спеша и чинно поблагодарил, чувствуя, что хорошо сыграл свою роль. Мне торжественно поднесли рюмку вина, но тут уже отец вмешался — наложил вето на спиртное и его заменили содовой водой. Похвалили мою выдержку, а я пыжился от гордости, чувствуя себя почти что полноправным членом Полубянки.

Всю эту охоту и последовавшие за ней ритуальные действия я подробно описал в письме к дедушке Александру Никифоровичу. Результат получился вовсе мною не предвиденный. 27 января 1915 года мне исполнилось тринадцать лет, а днем раньше пришло письмо от дедушки. Он сообщал, что по случаю моего посвящения в охотники дарит мне ко дню рождения ружье. Оно уже куплено, опробовано в тире, и магазин Биткова выслал его отцу. Ружье не из дорогих, но фундаментально сделанное, изящное и с хорошим боем. Радость моя не поддается

описанию, ее не могло омрачить даже строгое запрещение стрелять из нового ружья без деда — весной он у нас будет и хочет, чтобы я испытал ружье при нем.

Подарок прибыл с опозданием на несколько дней; я, понятно, уже решил, что посылка пропала в дороге. Ружье оказалось курковой двустволкой 16-го калибра. Изделие Клемана, одного из некрупных льежских оружейников, оно было красиво по очертаниям, а выполнено очень скромно — все металлические части вороненые, гладкие, почти без гравировки. Длинные стволы бельгийской стали «Кокриль», правый — цилиндр, левый — чок; широкая, почти вдвое шире обычной гильошированная планка, полупистолетная ложа темного волнистого ореха, на прикладе медальон с надписью: «Сереже Русанову от дедушки. 1915 г.». Отцу ружье понравилось, обо мне и говорить нечего — я его считал совершенством. Меня ничуть не разочаровал, а только обидел отзыв одного знакомого, любителя и знатока охотничьего оружия. Он сказал не слишком тактично: «Что же, совсем недурно для ружья такого невысокого разбора».

Никогда еще моя жизнь не была столь насыщена. С одной стороны, хотелось бы с утра до ночи нянчиться с ружьем, с другой — нужно было усиленно заниматься по программе третьего класса гимназии. Весной мне предстояло держать экзамены для поступления в четвертый класс (соответствовавший современному шестому). А с отцом у меня давно был уже заключен договор: стану хорошо учиться — буду охотиться, а нет — так нет. Но каждый вечер, приготовив уроки, я кидался к ружью, собирал и разбирал его, любовался им, радовался прекрасному балансу и посадистости, до усталости повторял вскидки. Несмотря на длинноватое ложе и его непривычную, полупистолетную форму, «Клеман» оказался для меня прикладистее и вообще удобнее, чем «Лефоше», да и весил меньше — всего $6\frac{3}{4}$ фунта (около 2,8 килограмма). В общем, время до пасхальных (весенних) каникул пролетело довольно быстро.

Вот и пасхальная неделя! Прибыл из Москвы дед, через пару дней мы с ним и отцом отправились на хутор к бабانه. Приехали в конце дня, напились чаю, дед велел мне взять ружье и идти с ним стрелять по грачам. Я, помня отцовскую выучку, ожидал, что тот запротестует. Но он смолчал, и мы пошли через сад в степь. Солнце заходило, и множество грачей возвращалось с полей к своей колонии на больших лозинах у пруда. Они летели партиями по четыре-шесть штук довольно высоко. Я

вложил патроны, взвел курки. Дедушка стоял рядом, справа. Почти тотчас налетело несколько грачей прямо «на штык», я выстрелил по переднему из правого ствола и промахнулся.

— Э! Марала-Езоп! Дай сюда! — дед вырвал у меня ружье, мгновенный выстрел — и задний грач ударился о землю.

Я остолбенел, пораженный: старый опытный охотник решил рвануть у меня из рук заряженное, с взведенным курком ружье! Разве такому учил меня отец?

После этого снова стрелял я, потратил с десятков патронов — и все мимо... Наконец один грач все же свалился, и мы вернулись домой.

— Знаешь, Андрей Гаврилович, уже десять лет не охочусь, а стрелять не разучился, — сказал отцу Александр Никифорович, затем описал свой действительно эффектный выстрел.

Отец выразил вежливое удивление, поздравил, но в дальнейшей беседе как бы между прочим спросил:

— Много ли у вас в жизни было случайных выстрелов? Дедушка рассмеялся:

— Ну, неужели же я их считал?

Ясно стало, что Александр Никифорович начинал охотиться без такого заботливого и требовательного учителя, какой достался мне. С тех пор минуло много десятков лет, пришел конец моей охоте, а на совести у меня нет ни одного нечаянного выстрела.

На следующий день, с утра, уже втроем мы пошли в прилегавшую к саду тополевую рощицу, так называемый лесок, взяв с собою пристрельные листы. Весною и осенью у хутора постоянно задерживались на дневку пролетные вальдшнепы. Одного, а то и двух почти ежедневно можно было поднять в саду, особенно в кустах вдоль канавы, проходившей вокруг сада и леска. Из такой канавы и вскочил вальдшнеп, когда мы отстреляли по листам и возвращались к дому. Думаю, что отец не разрешил бы мне выстрела по весеннему вальдшнепу, но мою робкую просьбу горячо и успешно поддержал дедушка.

Я помчался за патронами, мигом вернулся и вошел в густой вишеник, куда переместился вальдшнеп. Он взлетел в нескольких шагах, взвился свечой. Я отдублетил — и промазал. Вальдшнеп вернулся к роще, но уже не подпустил так близко, и я снова не попал в него. Третий раз «настаганная» птица поднялась так далеко, что выстрелить не пришлось, нельзя было и определить, куда она перелетела. Мы ходили больше часа, истоптали

весь сад, лесок, все канавы — долгоносик как сквозь землю провалился. Мне пришло в голову: а не сидит ли он в заросшей бурьяном мелкой канаве за глухим дощатым забором, ограждавшим сад со стороны проезжей дороги? Забор был невысок, но мне, чтобы за него глянуть, нужно было взобраться на сугроб слежавшегося снега, сохранившегося кое-где у забора.

Я поднялся на ближайший сугроб и, прижавшись грудью к верхней доске, заглянул в канаву. Вальдшнеп вспорхнул передо мною у самого забора и полетел в поле совсем низко. Страшно мешал край доски, но я все же кое-как приложился и выстрелил. Птица упала и затрепыхалась на дороге. Обегать через калитку? Очень далеко, очень долго, мало ли что может случиться? Налетит ястреб, набегит лиса (это днем-то!), вот и пропал мой вальдшнеп. Нужно перелезть... А ружье, да еще заряженное? Пришлось сдерживать себя, не спеша спустить левый курок, вынуть из ствола оставшийся патрон, не спеша передать отцу ружье. Но уже зато потом я так порхнул через ограду, что не услышал дружного хохота «наблюдателей». Осторожно взял я в руки уже неподвижного вальдшнепа. До сих пор не понимаю, как ухитрился попасть в него — видимо, помогло молодое счастье. Так в списке моих трофеев к бекасу и зайцу добавился вальдшнеп. На следующее утро мы вернулись в Воронеж.

Дедушка гостил у нас недолго. Дня через три я проводил его на вокзал к московскому поезду, не зная о том, что мы видимся в последний раз. Я писал ему подробные отчеты о своих охотах, но побывать в Москве не пришлось, а он больше в Воронеж не приезжал и вскоре после октября 1917 года умер от тифа.

В конце мая я на круглые пятерки сдал экзамены, был принят в гимназию, и мы уехали в Сосновку, где только и думалось о том, как бы поскорее дожить до начала летне-осенней охоты, как я открою ее с новым ружьем, как от моих выстрелов будет валиться один бекас за другим, как... ну и прочее, в том же роде.

Но — «мечты, мечты, где ваша сладость?». Отцу удалось получить месячный отпуск, на охоту мы ходили ежедневно, мелкой дичи было множество — число охотников в годы войны резко сократилось, — а мое положение не изменилось: отец продолжал сурово меня муштровать. Он охотился, а я следовал за ним с незаряженным ружьем, так как процедура выдачи патронов осталась прежней. Мне предоставлялась каждая четвертая птица из найденных собакой, значит, три-четыре, самое большее

шесть за день. При этом «пуделял» я ужасно. Помнится, за первую неделю убил двух бекасов и коростеля, а папа всегда возвращался с полным ягдташем. Следя за моей стрельбой, он замечал и указывал ошибки. Много раз я слышал, что излишне тороплюсь, вскидывая ружье.

— Стрелять в бекаса нужно очень быстро, — твердил мне отец. — А вот со вскидкой спешить нельзя. Поднимай ружье не рывком, но плавно, аккуратно, чтобы оно правильно легло и в плечо и к щеке. Не получилась хорошая прикладка — нужно поправить, получилась — стреляй мгновенно, без выцеливания, без наводки. Помни Аксакова — не наводи на цель, не держи на цели. Верткого бекаса все равно не удержишь. Словом, вскидывай медленно, а стреляй быстро и не огорчайся промахами. Сперва они неизбежны, а потом ружье само будет попадать в то, на что смотрит глаз. Только пора дать тебе больше практики: будем теперь стрелять по очереди — каждому по пятьдесят процентов.

Стало даже совестно, что отец уж очень себя обижает, но тем горячее была моя благодарность. А тут еще одна радость: через пару дней отец понял, что при одинаковой очередности стрельбы ему слишком хлопотно то и дело выдавать мне патроны, да и в осторожности моей уверился. И вот я в полном снаряжении, с патронташами на поясе вышел из дома, чувствуя себя почти самостоятельным, солидным охотником. И совершенно напрасно: проходил день за днем, а стрелял я все так же плохо, убивал мало, главным образом, вторым выстрелом.

— Вот видишь, — говорил отец. — У тебя вскидка все еще порывистая и ты поправляешь ружье только после промаха первым выстрелом.

Я и сам это понимал, но слишком горячился. Однако понемногу выходило лучше и лучше. Ружье ли делалось послушнее или мы оба — и я и бекас, уже откормившийся, — становились спокойнее и неторопливее, но пришел день, когда мне удалось взять пять бекасов и двух коростелей. Правда, патронов было истрачено много — не менее двадцати, но я чувствовал себя молодым богом.

Эта раз усвоенная техника стрельбы навскидку сохранилась у меня навсегда, и в лучшие мои годы мне не раз случалось брать из-под собаки восемь — десять птиц подряд. Важно не утратить навыка, поддерживать его частой охотой, в межсезонье — комнатной тренировкой во вскидках, хотя бы по десять минут ежедневно. Но эффективность стрельбы может резко снижаться при плохом самочувствии, при большой физической усталости.

Помню, как отец, в общем хороший стрелок, расстрелял по большой высыпке вальдшнепа в негустом и почти полностью облетевшем лесу тридцать два патрона, а убил всего трех. Бывало это и со мною, иной раз без всякой причины — мажешь да и только. Один мой друг, лесник, говорил о таких случаях: «Энергиями расстроился». А назавтра, глядь, опять стреляешь отлично.

Итак, по бекасу я начал стрелять довольно прилично. Но мне ужасно хотелось добыть утку. Начало учебного года уже приближалось, а водоплавающей дичи на Усманке тем летом почти не было. Выручила погода: во второй половине августа дня не проходило без грозы с длительным проливным дождем. После особенно бурного ливня прорвалась плотина, поддерживавшая уровень воды на широком плесе Усманки — в баронском (лосевском) пруду. Вода речки, обычно понемногу переливавшаяся через преграду, хлынула стремительным потоком и в одну ночь затопила все наши болота.

Понутру, дойдя до боровских лугов, мы увидели словно бы огромное озеро. Только зеленью камышей, поднимавшихся из воды, да всплывшими копнами сена небывалый паводок отличался от весеннего разлива. Болотная дичь, разумеется, вся ушла, зато водоплавающая слетелась отовсюду во множестве. С высокого песчаного бугра мы смотрели на большие стаи уток, преимущественно чирков, спокойно плававших на просторе чистой воды. Подойти к ним, конечно, не было возможности. Отец велел мне спрятаться в небольшой куртинке камыша, а сам пошел загонять на меня уток. Я, обутый в поршни, стоял почти по пояс в воде и наблюдал, как он огибал обширную чистину, а собака то шла, то плыла рядом с ним.

Пыхнули дымки, долетели слабые звуки двух выстрелов, и тотчас над водой зарябили утиные стаи. Несколько табунков уже пролетело мимо меня, но далеко. Я пригнулся, едва не замочив патронташи. Большая стая чирков шла прямо ко мне, уже можно было стрелять. Они как раз начали поворачивать, сбившись в тесный клубок, и я пустил в его середину заряд «шестерки». Пара чирят упала на чистую воду метрах в тридцати. Один, как мне показалось, шевелился, и я выпалил в него из второго ствола. Он продолжал медленно кружиться на воде, опустив в нее голову. Промач! Сейчас заряжу, дострелю... Тут и другой, лежа на боку, вытянул крыло и вроде взмахнул им. Ох, уйдут!

Я стрелял еще и еще, обдавая чирков брызгами воды, никак не мог попасть, и только закладывая в ружье третью

пару патронов, сообразил, что валяю дурака, — чирки убиты первым же выстрелом и никуда не денутся. От подошедшего отца пришлось выслушать все, что мне причиталось за бессмысленную пальбу, без которой на меня наверное налетело бы еще несколько стаек.

— Нужно же держать себя в руках! — закончил он внушение.

Да, конечно, так, а все-таки двух трескунов я уложил в сетку — вот что главное!

Паводок держался недолго, на завтра вода заметно сбыла. Ушла и большая часть дичи, но и осталось порядочно — особенно кряквы. Стали постепенно возвращаться на болото бекасы. С них мы начинали охоту, а к вечерней заре добирались до ольховых резерваций. Таких хороших летних перелетов на Усманке не бывало никогда. Главная масса птицы летела откуда-то с низовьев и очень рано — сразу после захода солнца. Чирков почти не было, кряквы же небольшими стайками шли проходом, больше над чистой водой и лугом, в общем, высоко, но если налетали хорошо, то оказывались в пределах досягаемости крупной (№ 4) дробы.

В сумерках лет прерывался, чтобы возобновиться, когда уже заметно стемнеет, за счет местных, прижившихся в ольхе птиц. Этих было меньше, зато летели они невысоко. Становились мы каждый на свое облюбованное место. Я занимал небольшой куст шагах в пятидесяти от края высокой ольхи. Здесь рано летевшая дичь, спрямляя путь от одной излучины реки к другой, шла над лугом точно на меня. Место отца было хуже, стрелял он реже, но каждый вечер убивал одну-двух, а то и трех крякух, а у меня ничего не получалось.

Вот прямо «на штык» не слишком высоко тянет несколько матерых. Белый подбой их крыльев еще освещен снизу последними лучами только что закатившегося солнца, головы на вытянутых шеях настороженно клонятся то вправо, то влево, летят они ровно, не быстро. Я заранее ловлю одну на мушку — тут выстрел навскидку не нужен, — веду, напускаю... ближе нельзя, неудобно будет стрелять. Выстрел — и матерка, вместе с другими, взмывает в небо у меня над головой. Второй раз стреляю, чуть не падая навзничь, само собою, тоже мимо. И так три-четыре раза за зорю. Возвращаясь с третьего вечернего перелета, отец подробно расспросил, как я целюсь, и, выслушав, сказал:

— Так у тебя ничего и не может выйти. Штыковую птицу нужно перед самым выстрелом закрыть стволами —

иначе обзацишь. Ничего, что перестанешь ее видеть, — свернуть она уже не успеет.

На следующий вечер, спрятавшись в свой куст, я ждал случая воспользоваться советом, а дичь, как нарочно, летела не по-обычному. Одна стайка, другая, третья, еще и еще — все стороной. Начало смеркаться, заканчивалась первая фаза перелета, когда показалась матерка, направлявшаяся прямо ко мне. Я постарался сделать все точно так, как советовал отец: допустил до выстрела под удобным углом, закрыл стволами. Даже сквозь дым увидел, как утка начала падать — сначала свернувшись комом, потом ее крылья распластались, она перешла в штопор и, вертась все быстрее, ударилась в мокрую траву у самых моих ног.

— Вот это аэроплан! — донесся веселый крик отца.

А я стоял над мертво битой кряквой, гордый вновь освоенным приемом стрельбы.

Вскоре моя охота по перу окончилась. Отцу пора было выходить на работу, мне — засесть за учебники. В 1915 году отец определил меня в частную гимназию — «Морозовскую», где начальство сквозь пальцы смотрело на охотившихся гимназистов (ученикам государственных гимназий охотиться строго запрещалось).

Я помнил твердо, что поездки на охоту, особенно в Полубянку, нужно заслужить хорошими отметками, старался, просто из кожи лез, и очень скоро стал одним из первых учеников в классе. Но ждать вознаграждения пришлось долго.

Значительно увеличился поток эвакуированных в Воронеж раненых, и отец был так занят, что по вальдшнепу в ту осень не охотился вовсе, а в Полубянку мы поехали только в начале ноября. И опять, уже в третий раз, я оказался в Топильном, не сулившем ничего хорошего. Весь день в этом словно бы залятом лесу оправдывались мои дурные предчувствия. Все и у всех шло плохо: собакам трудно было гонять по подмерзшей черной тропе, мешал и довольно сильный ветер. Не везло и отцу — он с утра промазал лису, а после обеда — русака. А у меня дела и совсем шли из рук вон плохо. Я впервые охотился самостоятельно, то есть сам выбирал место, где стать, но так и не увидел ни одного зайца. Значит, не придется мне выстрелить из «Клемана» по зверю — первый раз с новым ружьем попал в Полубянку и, как на зло, именно в Топильный!

Солнце стояло уже низко, когда я вышел почти к тому месту, где год назад не смог убить зайца, запутавшись в



...ИЗ ЛЕСА ВЫНЕСЛАСЬ ЗНАКОМАЯ
МНЕ СОБАКА ТРЕВОЖКА, СХВАТИЛА
МОЮ ДОБЫЧУ И ПОТАЩИЛА В КУСТЫ.

шилиюге. Из глубины леса доносился гон в два-три голоса. Я стал на развилке дороги недалеко от опушки. Гон словно бы приближался, но шел вяло, с большими перемолчками, видимо, по удалелому. После одной особенно долгой паузы какая-то тонкоголосая выжловка пискнула раз-другой уже гораздо ближе ко мне и тут же заверещала «по зрячему». Мигом подвалили еще собаки, и почти тотчас между густыми кустами замелькал заяц.

Я допустил его до дороги, дал выскочить на нее и выстрелил: русак остался лежать на месте. Не торопясь, с достоинством я направился к нему, но не сделал и трех шагов как из леса вынеслась знакомая мне собака Тревожка, схватила мою добычу и потащила в кусты. Забыв о «достоинстве», я пустился за ней. Истошные вопли: «атрыш!» не производили на похитительницу ни малейшего эффекта, догнать ее я не мог. Тревожка быстро волокла русака, уже почти скрылась из вида и все это окончилось бы печально. Но тут подоспели еще два пса, произошла свалка, так что удалось подбежать и отбить зайца прежде, чем он был попорчен. Каким сиянием озарился день, казавшийся таким мрачным!

— Ну, вот ты и обстрелял родителя, — сказал отец, когда мы сошлись на выходе к подводам. — Поздравляю.

И мне стало немного совестно. Как же так? Я убил зайца, а отец возвращался с охоты «попом».

В следующие две недели выпало порядочно снега, держался крепкий мороз, а потом наступило сильное потепление и пошли дожди. К концу третьей недели снег растаял полностью. Отец твердо сказал:

— В субботу поедem, помешать ничто не должно, приняты все меры. И если оттепель продержится, то условия для гона по чернотропу будут редкостные.

Я места себе не находил от беспокойства: вдруг придет беда, ударит мороз и тогда, как говорил Янушевский, «в лесу хоть на коньках катайся». Моя же, скорее всего, последняя в этом году охота будет испорчена.

Беда пришла, но не в связи с погодой.

Преподаватель латинского языка по прозвищу Кобыла в пятницу вызвал меня к доске, долго гонял по всему пройденному за четверть (она как раз кончалась) и поставил мне обычную пятерку. Кому бы после этого пришлось в голову, что он спросит меня и в субботу? А вредный старикан так и сделал — то ли по рассеянности, то ли по хитрости и коварству. Я же, руководясь здравым смыслом, заданного урока не готовил и, соответственно, получил единицу.

Этот «кол» да еще по основному для классической гимназии предмету поразил меня, как молния. Дома я молча повалился на кровать, а когда мама спросила, что случилось — разревелся. Пришел отец, выслушал меня и неожиданно сказал:

— Ладно, в первый раз прощается, а впредь будешь умнее. Собирайся.

Нельзя сказать, что я не обрадовался, только вместе с радостью возникло тягостное чувство сознания незаслуженно прощенной вины. Преступника помиловали, но он от этого не перестал быть преступником. И в дороге, и в Полубянке меня не покидало настроение подавленное и одновременно взвинченное. Оно и послужило причиной того, что я был наказан сплошными неудачами.

У нас в семье бытовало шуточное объяснение хороших или плохих результатов охоты вмешательством «охотничьих духов». Они делились на водяных, болотных, лесных и т. д., могли быть милостивы к охотнику или недоброжелательны. В 1915 году «духи» еще не были изобретены — их придумали мои младшие братья, когда начали охотиться. Но в ту мою поездку все равно нельзя было бы ссылаться на враждебное отношение «лесных духов»; наоборот, они, со своей стороны, сделали все для моего успеха.

Охота шла в Смерже при исключительно благоприятных условиях. Теплый, тихий день, с утра — небольшой туман, потом ясно, солнечно, обильно увлажненная почва, плотно улегшийся палый лист. Русак за время снегопадов и мороза совсем выцвел, и когда земля оголилась, полностью ушел с полей и сбился в лес. Собаки гоняли не умолкая. А я, едва началась охота, умудрился промазать сидящего в двадцати метрах зайца, потом прозевал и отпустил без выстрела набежавшего шумового. В течение дня стрелял еще по трем близким и все мимо. Так и остался в рядах «духовного сословия».

В конце дня поднялся северный ветерок, к заходу солнца уже стало сильно подмораживать. Когда ехали из леса, то колеса уже громыхали по колеям, давили хрупкий ледок. В полном унынии я сидел рядом с отцом, слушал голоса собак, не умолкавшие в воображении. Все окружающее казалось созвучным переполнявшей мою душу горечи, которая излилась в следующем поэтическом экспромте:

Мрачное солнце садилось в морозном тумане.

По сине-зеленому небу черные с пурпуром тучки

Нитью ползли, а под ними на крови, разлитой закатом,

Смутно темнели вершины давно оголенного леса.
Холодно, пусто, уныло было на сердце и в поле.
В жалобном посвисте ветра слышалась поздняя осень.
Звонко стучали подковы по твердой замерзшей дороге,
Гасла заря, зажигались первые бледные звезды.

Стихи мне показались удачными, но несколько не утешили. Нет! На охоту нужно ходить с чистой, ничем не обремененной совестью...

Плохую отметку я исправил, но охотиться в эту зиму больше не пришлось.



ПЕТР ТРУЩИНСКИЙ

Весной 1916 года мне впервые удалось поохотиться с криковыми утками; эту охоту я полюбил и со временем изучил лучше, чем всякую другую, кроме охоты с легавой.

На левом берегу реки Воронеж с ее широкой поймой, километрах в четырех выше станции Отрожка, начинался тогда лес, называвшийся Чертовицким отрезком. Против него на правобережье стояло большое село Чертовицкое. Лес тянулся узким клином по краю поймы, но постепенно расширялся и покрывал весь водораздел между Воронежем и его притоком Усманкой. Только эта последняя и отделяла лес от Боровского лесничества, где находились Сосновка и Дубовка. Западный край отрезка, в основном сырые ольшаники, проходил вдоль Инютинки — старого русла, давно уже превратившегося в широкий залив Воронежа, тянувшийся на много километров.

Чертовицкий отрезок был лесом государственным, но значительная часть его с прилегавшими заливными лугами и пойменными озерами принадлежала графу Толстому. По словам моего отца, он был потомком Алексея Константиновича Толстого, поэта, особенно мною почитаемого. Владелец посещал свой лес крайне редко, наездом. Единственным жильем здесь был кордон лесника, и его в шутку называли графской усадьбой. Лесник Лукьян Трофимович Трущинский охранял лес, сдавал покосные луга в аренду крестьянам, а охотой и рыбной ловлей, не интересовавшимися владельца, мог распоряжаться и пользоваться бесконт-

рольно. Для него охота была промыслом, обеспечивавшим дополнительный заработок.

В местных условиях промысловое значение имела водоплавающая дичь, притом весной и поздней осенью, когда добытая птица дольше сохранялась. Во время летней охоты Трущинский допускал в графские луга особо уважаемых им охотников-спортсменов, обслуживая их в качестве егеря, что также было небезвыгодно. Желавшие поохотиться «у Лукьяна» находились всегда; графские угодья окружали болота и озера, открытые для любого охотника, и дичь, естественно, перемещалась и скапливалась у Трущинского.

Но в 1916 году он был на фронте, а лесником работал его старший сын Петр. В отличие от отца, богатыря и красавца, Петр Лукьянович не вышел ни лицом, ни ростом, ни дородством. К тому же он имел врожденный физический дефект — «конскую стопу», не доставал пяткой одной ноги до земли и ходил опираясь только на пальцы. Этот порок избавил его от военной службы, хотя и не мешал ходить быстро и неутомимо. Именно у него я начал учиться еще не известной мне охоте, а впоследствии он стал моим близким другом.

Для меня так и осталось загадкой, почему отец решил поохотиться с криковыми. Не знаю, когда и как он договорился с Петром о нашей поездке в Чертовицкий или, как чаще говорили в Воронеже, на Инютинку. Нежданно-негаданно мы под праздник Благовещения, то есть 6 апреля (24 марта по старому стилю), рано пообедав, отправились на вокзал, и пригородный поезд за десять минут доставил нас на Отрожку. Петр уже ожидал с лошадьёю, запряженной в дроги, покрытые ивовой плетенкой. Уселись бочком, свесив ноги, и гнедая кобылка затрусила по песчаной, еще не просохшей дороге. Стояла чудная солнечная погода, снега в полях совсем не осталось, всюду толкались рои комариков — вестников тепла. Заливались бесчисленные жаворонки, взмывали и вертелись в брачной игре чибисы, гулко ухая закругленными своими крыльями и блестя металлическим отливом оперения. Слышался их писк: не летний — однообразный и жалобный, а веселый, залиvistый, с несколькими коленами. Большой караван гусей прошел в безоблачной вышине. Слева за полосой кустарников сверкало зеркало разлива, а вдаль над ним поднимались лесистые горы правого берега.

— Смотрите, Петр Лукьянович! — закричал я, указывая на стаю уток, облачком мчавшуюся высоко над водой.

Лицо Петра стало строгим:

— Дичь! — ответил он серьезно. — Суяз* пошел. Уже третий день много летит суяза. Да вы что меня все по батюшке величаете? Я же вас Сережей зову.

Так с первого знакомства он стал для меня Петей, а я, дожив до седых волос, остался для него Сережей.

Дорога вошла в лес. У самой опушки, огороженной пряслом, ютились довольно неприглядные строения казенного кордона, контролировавшего выезд из леса. Я лишь мельком взглянул на неказистый домик, не предчувствуя, что он со временем на несколько лет окажется базой моей весенней охоты: после возвращения Лукьяна с войны Петр перешел лесником на этот кордон.

По полевой дороге ехать было весело, а по лесной и того веселее. Лес, в основном лиственный, стоял еще голым, только орешник убрался длинными сережками, а ивы — золотым пухом. Но на земле поверх бурого слоя прошлогодней листвы сплошным ковром синели подснежники; их медовый аромат чудесно смешивался с долетавшим от сосновых посадок смолистым духом. На более сухих песчаных местах красовались ворсистые лиловые тюльпаны самсончиков (сон-травы). Бабочки — желтые лимонницы и пестрые крапивницы — то и дело мелькали над цветами. Слева кое-где подходила к самой дороге затопившая лес полая вода, а поперечный визир (просека) казался коридором, ведущим на простор разлива.

Весь лес звенел птичьими голосами. Песни зяблика, черного и певчего дроздов, лесного конька, овсянки сливались в веселую, причудливую мелодию. Пронзительно посвистывал поползень-ямщик, временами вступало то басистое подвывание лесного голубя-клинтуха, то барабанная дробь — весенняя песня дятла. Все это казалось мне волшебной увертюрой к предстоящей охоте, заставляло ожидать от нее многого. А тут еще совсем у дороги вспорхнула парочка вальдшнепов. Отец спросил Петра о тяге и, узнав, что тянут неплохо и лучшее место близко от дома, сказал:

— Вот отлично. Сегодня постою на тяге, а уж утром погляжу, что это за охота с криковыми.

«Графская усадьба» — большая крытая гонтом пятистенная изба с хозяйственными постройками — стояла на поляне, часть которой, распаханная под огород, почти вся была затоплена: вода подходила по широкой канаве к самому крыльцу. На ограде сохли рыболовные снасти — вентери, а в канаве тесно сгруппировались три лодки — челны

* Суяз (местн.) — свиязь.

так называемого чертовичьего типа: одинаково заостренные с носа и кормы, с днищем, закругленным как у долбленого челнока.

Петр не успел еще остановить лошадь, а нас уже окружила целая ватага его братьев — настоящая лестница от четырехлетнего карапуза до красивого подростка Троши. Пока мы знакомились с ними, где-то совсем рядом закуковала кукушка.

— Где это она? Неужели на крыше? — спросил отец.

В ответ раздался восторженный визг и хохот вертевшейся вокруг мелюзги.

— А у нас кукушка особая, даже в доме кукует! — и Петр указал на одного из братишек постарше, стоявшего в стороне.

— Ну, давай еще!

Повторилось «ку-ку», совершенно не отличимое от голоса птицы. Мальчика (не помню имени) в семье так и звали Кукуем.

В доме нас встретила молодая жена Петра Настя, писаная красавица того чистого русского типа, которым славились тогда некоторые села Воронежской губернии. Потом вышла и сама хозяйка, мать множества сыновей. На столе шипел самовар, но к нему подсел только отец. Проводить его на тягу должен был Троша, и они не спешили. Нам же с Петром, взявшимся опекать меня, приходилось поторапливаться — солнце склонилось к западу.

Я быстренько собрался, Петр поставил в лодку плетеный садок с утками, положил два деревянных чирковых чучела, усадил меня на передний порожек, и мы отчалили. Канава вывела в затопленную ольховую порубку, где меня ожидало невиданное, замечательное зрелище. Еще издали, почти от самого дома, я начал прислушиваться к странным звукам; похожие то на жужжание, то на блеяние ягненка, они по мере приближения к порубке становились отчетливее. Теперь их происхождение объяснялось — токовали бекасы.

Описание бекасиного тока я, конечно, читал и перечитывал у Аксакова, но сам никогда его не наблюдал, поэтому, не отводя глаз, смотрел, как высоко кружащийся бекас слегка подгибает крылья и устремляется вниз, причем слышится дребезжащий звук, действительно очень сходный с блеянием. Не верилось, что это не птица кричит, а вибрируют перья ее хвоста, распущенного веером. Спикировав на десяток метров, бекас взвивался в небо и начинал новый круг над порубкой. Токовало одновременно пять или шесть бекасов, каждый кружил по своему

особому маршруту. Нельзя было вдоволь насмотреться на них, наслушаться их блеяния и жужжания. Временами наигравшийся в воздухе бекас делал короткую передышку, для чего, к моему удивлению, садился на дерево. Среди порубки высились несколько мертвых, с отломанными вершинами, ольховых стволов. На верхушке такого ствола устраивался отдыхающий бекас и, сидя на нем, бойко кричал «тэ-кэ! тэ-кэ!» — ничуть не похоже на свое летнее чирканье.

Порубка осталась позади, открылась обширная водная гладь: ширина разлива доходила здесь до двух километров; кое-где, обозначая русло реки, поднимались из воды кроны прибрежных дубов, одетые не опавшими за зиму рыжими листьями. Мое внимание теперь обратилось на то, как Петр гонит лодку. Он ехал стоя упором, длинное трехметровое весло держал одной рукой и, оттолкнувшись, ничуть не подправлял веслом курс лодки. А она бежала поперек довольно сильного течения, никуда не отклоняясь.

Я с детства умел ездить на лодке с одним веслом и сидя, и стоя, и гребком, и упором, презрительно поглядывал на тех, кому приходилось то и дело переносить весло справа налево и обратно, но подлинное мастерство увидел только теперь. Мне приходилось после толчка использовать весло как руль, а Петр, между двумя толчками, только чуть отрывал его от дна. «Ага, вот в чем штука! Весло у него все время оказывается под таким углом к лодке, что толчок не заставляет ее рыскать. Понятно. Мы же проходили в гимназии: параллелограмм сил, равнодействующая... Этому я непременно должен научиться! Ну, а как пойдет дело на глубоком месте?»

Тут как раз весло перестало доставать до дна, и Петр взял его в обе руки. Греб сильно, но без отворотов, а лодка продолжала идти словно по нитке. Не скоро мне удалось рассмотреть, что он все же подправляет курс отворотами, правда, едва заметными, но делает их очень далеко — на всю длину весла — за кормой, а не грубо, у самой кормы, как гребу я. К тому же весло у него скользит по самому борту лодки, значит, меньше отклоняет ее от прямой линии. И это тоже нужно освоить!

Глубокое место кончилось, под нами снова затопленный луг. И вот на вдающемся в лес широком заливе — шалаш (по-воронежски — курень). С виду это длинный узкий куст ивняка, метра на полтора торчащий из воды, замаскированный сухим тростником и старым сеном. У куреня пласты наноса — плавучей ветоши и всякого принесенного течением сора.

Петр высадил криковых — одну справа, другую слева от шалаша. Утки у него на длинных привязках с якорями. Кружков для отдыха, о которых я читал, не было и в помине. На мой вопрос Петр ответил, что тут у них никто и не слыхивал о каких-то кружках. Утки привычные, хоть полсуток будут сидеть на самой струе, лишь бы не била волна. Бросив на воду чирковые чучела, он со скрипом и шорохом загнал лодку в узкую щель куреня, поправил ветки, закрывающие место въезда.

Вот и началась охота! Я повернулся лицом к носу челнока, зарядил ружье. Утки искупались, отряхнулись, похлопали крыльями и начали кричать размеренно, с расстановкой.

— Это называется кричат квачку, — объяснил мой наставник. — Ап!.. Ап!.. Ап!.. значит дают сигнал: мы, мол, здесь. А слышат селезня — начнут осаживать. Тут уж рванут по-особому: «А-та-та-та!»

Я слушал, а сам недоумевал: как же стрелять, если все кругом закрыто и даже над головой чуть ли не сплошная крыша? Потом разглядел оконца в стенках шалаша, спереди и с боков, но очень узкие. Через них видна вода, обе криковые, удобно просунуть ружье, но выстрел возможен только по сидячей птице... Оказывается, стрелять влет вообще не положено — такая уж эта охота.

— Ну, а вдруг прилетит и не сядет?

— Все равно, не захочет сесть к нам — гляди, сядет к другому. Зачем портить людям охоту? На то и... — Он не договорил — наши утки «рванули по-особому».

Вот она какая, осадка! Я поспешно взвел курки, пригнулся то к одному, то к другому окошечку, но ничего не видел.

— Матерой прошел со своей уткой. Моим-то слабо отозвать селезня из пары, хисту не хватает, — сказал Петр.

Это, видно, понимали и сами криковые; прокричали по две-три осадки и снова перешли в квачку, а потом вовсе смолкли. Сидим, ждем. Утки купаются, отряхиваются, щелочтут клювами, вылавливая в воде что-то съедобное, а солнце уже садится за лесистые кручи правобережья. Петр время от времени безуспешно манит в дудочку.

— Это есть вечерняя заря, — говорит он. — И утки плохо работают, и дичь не подходит — летит серединой, не мотается. Вот уж на утренней не соскучитесь.

А мне ни минуты не было скучно; все время слышались разнообразные незнакомые голоса птиц, и Петр их рас-

шифровал. Вот тонкое, словно бы печальное трюканье чирка-ольшанчика (свистунка) и такое же, но более грубое — шилохвостого селезня; вот трельканье чирка-трескунка, горластый вопль чомги — «кан-кrrra!» (ее здесь так и зовут «канкрой»). Все чаще с жужжанием крыльев, с визгливыми свистками селезней и карканьем самок проносились в высоте стаи связей. Этих не возьмешь, когда и низко идут. Больно ловки облетать курени стороной, только одиночки подсаживаются.

Чистым звонким свистом перекликаются две болотные курочки-погоныши, будто и впрямь подгоняют стадо, вдалеке прогоготали гуси, а совсем рядом куличок-черныш залился тихой трелью. Да вот он — сидит на краю наноса, потом взлетает, спугнутый крупной водяной крысой; она, вынырнув, забралась на этот же пласт сора, отряхнулась, побегала, что-то погрызла и уселась расчесывать свой пушистый светло-каштановый мех.

Ветерок, дунувший от берега, донес было отголоски бекасиного тока, их тут же заглушили сварливые крики чаек, видно собравшихся целой стаей где-то на середине разлива. Сколько же кругом живых существ, приветствующих весну, радующихся возвращению своему из далеких теплых стран на родину!

Вдруг вдали гулкий всплеск, словно доской по воде.

— Что это? Неужто рыба?

— Нет, бобер хвостом ударил. Откуда только взялся? Ни отец, ни дед о бобрах не поминали, а я нынешний год, как вода разлилась, часто его слышу. Видел даже два раза, разглядел хорошо. Здоровенный, много крупнее зайца и хвост лопатой. Да вот, обратно хлопбытнул.

Все это было страшно интересно, но к нам так никто и не подлетел. Солнце зашло, над правым берегом ярко пылала заря. Петр все пробовал подманить чирка, наконец бросил, сказав:

— Вечером не подзовешь, да и не время еще.

Я, в простоте сердечной не зная весеннего голоса чирковой утки, подумал, что селезенчик и не может прилететь на звук дудочки (манка), ничуть не похожий на криканье. А Петр продолжал объяснять:

— Вот когда вода станет уходить, запоют соловьи, зацветут по лугам нюньки, болотные лютики, посядут чирушки на гнезда, — начнется охота по чирку.

Безуспешность вечерней зари меня не огорчала. Впереди была многообещающая утренняя, да и весенний концерт, неумолчно звучащий над разливом, доставлял большое удовольствие.

Между тем и небо и вода передо мною заметно потемнели — курень был рассчитан на утреннюю охоту, значит, поставлен передом к востоку. А наши подсадные оживились, начали кричать квачку, притом словно более настойчиво, выразительно; внезапно обе перешли в азартную осадку. Тотчас надо мной зашипел быстро рассекаемый воздух, раздалось жаркое шаканье. Утки надрывались что есть мочи и вдруг разом смолкли. Еще секунда и справа совсем близко, шелест крыльев — последние взмахи при посадке, долгий всплеск... Сел! Не сразу удалось найти окошко, через которое был виден матерой селезень, сидевший шагах в двадцати. Настороженный, весь собранный, он тревожно озирался, медленно поворачивая высоко поднятую голову. Осмотрелся, успокоился, отряхнулся, полбеदिному согнул шею и тихо поплыл к утке. Боясь вздохнуть, я повернулся на порошке, перенес стволы ружья слева направо, просунул между ветками, приложился... и тут селезень взлетел. Я все же успел выстрелить, когда он только что оторвался от воды и стенка куреня еще не закрыла его. За дымом ничего не было видно.

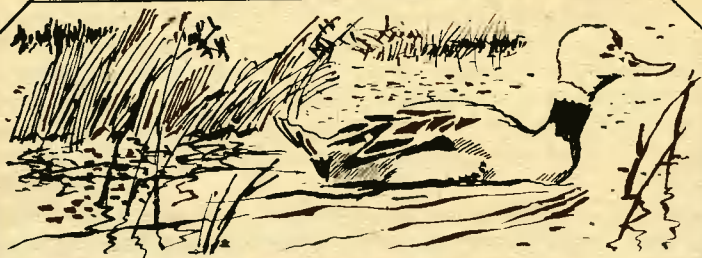
— Эх, на подстрел! — буркнул Петр, торопясь вытолкнуть лодку из куста. — Достреливайте, а то отныряется!

Селезень отплыл уже порядочно, был виден плоховато. Выстрел... Дробь легла вроде бы прямо по птице, а она продолжала плыть все так же быстро, потом нырнула, появилась снова, уже едва заметная на темной, отражающей тень леса воде, опять исчезла... Еще два выстрела, а селезень уходит.

Петр гнал лодку, толкаясь изо всех сил. Постепенно мы настигали, а у меня завязла стреляная гильза. Я едва вытащил ее из патронника и зарядил ружье... Матерой совсем близко, густой затопленный лес уже рядом, пропала последняя надежда. Тут селезень выныривает у самого борта лодки, и мгновенный удар веслом победоносно заканчивает погоню. Отчаяния как не бывало — я взял-таки весеннего, в полном оперении матерого селезня! Рассматриваю зеленую голову красавца, черные, завитые колечком косицы, красные лапки. А Петр, направляя лодку назад к шалашу, поучает:

— Подранок ведь плывет, как змея, весь под водой, один нос наружу. На темном только и видно, что волну, расходящуюся углом. — (Я стрелял по догадке, туда, где должна быть спина птицы, и дробь рикошетиrowала от воды.) — Нужно бить вперед, в самый пункт угла — вот и врезали бы как раз по головке.

Заря почти погасла; сняты криковые и чучела, возвра-



—Эх, на подстрел! — буркнул Петр, торо-
пясь вытолкнуть лодку из куста. —
Достреливайте, а то отныряется.

щаемся домой, а нотация продолжается. Оказывается, я в курене все делал неправильно. Сидеть на порожке следует бочком, лицом вправо, чтобы стрелять в эту сторону не поворачиваясь; для выстрела же влево достаточно повернуть голову и плечи, не ерзая на сиденье. Ружье нужно держать не поперек лодки, а стволами к носу — так легче будет переносить его в любую сторону; заехав в шалаш, — обломать веточки, касающиеся одежды, чтобы не шуршали при движениях.

— Я-то, признаться, больше кругом интересовался, на вас не особо смотрел, а то бы раньше сказал.

Все это я внимательно слушал и запоминал, потом спросил:

— Стоило ли стрелять на взлете? Не мог ли селезень сесть снова?

— Ну, это уж нет! Зафитюлил он, как ошпаренный, значит, заметил неладное, да и откомандировался поскорее. Это не чирок. Тот глуп, бывает, поздней весной плюхнется под самый курень, оглядит тебя — и ходу. А квикнешь еще раз в дудочку — он опять сядет да еще бодрится, головой дергает, трелькает, на бочок ложится, словом, красоту свою показывает. Ну, а матерого срезали вы подходяще — только достреливать не умеете.

Отец уже был дома, тоже очень довольный — тянули хорошо, он стрелял по трем и двух взял. Весело поужинали и улеглись. Подъем был назначен на три часа ночи, но как же долго тянулось время! Я не мог уснуть, ворочался на жаркой перине, которой хозяйки покрыли широкую скамью. Слабый свет лампы перед иконами, сладкое похрапывание спящих, временами за перегородкой скрип люльки — Настя, не просыпаясь, качала своего первенца... Всему этому не было конца. Но вот засигналил будильник; он вместо обычного трескучего звона играл припев популярной некогда песенки о моряке, попавшем в Китай, и о китаянке-смуглянке.

В полной темноте разместились в лодках и отправились. Я по-прежнему с Петром и на то же место; отца Троша повез куда-то выше по течению. Погода не радовала. Поднялся порядочный ветер, наволочь затянула звезды. Рассвет пришел хмурый — серое небо, серая, свинцовая вода: казалось, вот-вот начнется дождь. Вскоре я понял, что одет слишком легко, меня до костей пробрало холодом, к тому же никакого, как говорил Петр, полета не было.

Однако счастье для первого раза меня баловало. Утки посадили матерого селезня, я убил его по всем правилам,

сидячего; волнение и радость немедленно меня согрели. А немного погодя подсела пара чирков-свистунков, дудочка все же сработала. Два селезенчика отделились от пролетающей стайки и шлепнулись к чучелам да еще сплылись под один заряд. Их брачное оперение, особенно кирпично-красные головки с зелеными, отливающими золотом очками по бокам, приглянулось мне, пожалуй, больше, чем эффектная, но грубоватая расцветка селезня.

На пути к дому ожидало еще одно интересное дело — осмотр вентерей. Один из них был почти до половины набит крупной плотвой, в другой попался большущий язь, в остальных ничего не было либо трепыхались две-три калинки (густерки) — их Петр пустил обратно в воду.

Отец и Троша давно уже вернулись на кордон, причем папа был чрезвычайно расстроен. К ним еще по темному села кряква со своим селезнем. Зоркий, как кошка, Троша шептал:

— По левому бейте, утка правее сидит, левый — селезень.

Отец не понял, посчитал, что правее — значит правее шалаша, разглядел слева силуэт птицы, выстрелил и убил самку, селезень же, сидевший еще левее, благополучно улетел. Отец так огорчился, что попросил Трошу немедленно отвезти его домой. Пока хозяйки готовили завтрак, он только и говорил о вреде весенней охоты.

Петр спорил, доказывая, что опыт, выдержка и «правильное рассуждение» позволяют исключить выстрел по утке, а без них можно убить даже собственную подсадную — мало ли было таких случаев с городскими охотниками. Нельзя стрелять, если нет полной уверенности, что целишься в селезня, нельзя стрелять влет по налетевшей паре, даже если селезень ясно виден — он летит близко от самки и ее можно задеть.

— Есть, конечно, субчики: сядет к такому пара, так он не то чтобы разбирать, который селезень, а специально подождет, пока сплывутся, да обоих одним зарядом и положит. Но из нас, местных, редко кто такое позволяет. Убита утка — выводком меньше, а ведь осенью нам тоже охотиться! Селезня же бить — ничуть не влияет. Летось тут в ольхе прижилась матерка. Я от нее убил селезня. Назавтра смотрю — она уже другого заимела. Летала с ним на заре, а как отползла на гнездо — он и давай мотаться, шакать, значит, искать ее. Покрутился, да и подвалил к моим, я его, само собой, стукнул. Сутки прошли — она обратно с селезнем. Я и этого взял. Да так за весну и собрал от нее шесть штук.

Вот после еду как-то вентера смотреть, глядь — моя-то матерка гребется из ольхи, а за ней утята — добрый десяток. Вот это по-хозяйски! Теперь чирок: на него самая охота начнется, как вода станет спадать. Уточки все посадились на яйца, селезенчики на дудочку, словно галки, слетаются, как шальные, а самки ни одной не увидишь. Всякая пестрота — широконоска, шилохвость, свиязь — садится не часто, притом, как правило, селезни-одиночки. Только однажды подсело семь шилохвостых сразу — две утки, пять селезней. Ждал, ждал, вся терпелка стерлась! По парочке селезни не раз сплывались, а мне все мало... Наконец собрались три, все белые, словно лебеди, и так-то кучно. Ну, думаю!.. Ударил, да мимо, все ушли. Это, значит, хитрость меня замучила.

Стрельбу влет по стаям нырковых уток — чернети хохлатой и голубой (красноголовика), гоголя, а также и свиязи. — Петр не считает предосудительной. Это, мол, дичь пролетная, у нас не выводит, значит, самок нам беречь ни к чему. Против такого местничества отец восстал особенно энергично и, конечно, справедливо. Я, само собою, помалкивал, но в душе был за весеннюю охоту просто потому, что она мне чрезвычайно понравилась. Со временем же понял: во всем, кроме отношения к стрельбе по стаям, Петр был прав. Мне самому не раз приходилось отстреливать от загнездившейся кряквы одного селезня за другим, что не мешало ей благополучно вывести утят. А за многие годы систематической весенней охоты я загубил всего четырех самок: крякву и трех чирушек, конечно, нечаянно, рикошетом от воды при выстреле по селезню. Дробь может рикошетиловать иной раз самым удивительным образом. Не удержусь от рассказа об одном случае.

Заканчивался сезон весенней охоты 1928 года. Усманка уже почти вошла в берега, вода оставалась в лишенных стока низинах, особенно в ольховом лесу у Борной поляны. Туда и собрались все селезни-кряквы, уже получившие выучку от охотников и прекрасно отличавшие шалаши от натуральных безопасных кустов. Даже мои безусловно работавшие утки не смогли посадить ни одного матерого. Они — их было пять или шесть — по многу раз облетали курень широкими кругами, садились то на дальние лужи, то на сухой луг, потом отправлялись «домой» в затопленный лес.

Днем я пробрался туда, нашел полянку и у края ее на ольховом кобле поставил шалаш без крыши из одних только сухих сучьев. Кроны, уже слегка опушенные моло-

дой листвой, надежно маскировали мое сооружение сверху; сбоку же оно казалось естественным нагромождением сушняка. Здесь я и устроился на вечернюю зарю, пришел только с одной, лучшей своей уткой и высадил ее на середине поляны весьма тесной. Расчет на то, что в лесу дичь будет вести себя смелее, полностью оправдался. Солнце еще не зашло, но едва утка моя закричала, как подлетели и, не раздумывая, не кружась, опустились на воду три селезня разом. Один сел по ту сторону полянки за деревьями, второй подвалил вплотную к утке, а третий плюхнулся у самого шалаша сбоку, почти под прямым углом от направления на подсадную. Только его и можно было стрелять, что я и сделал, целясь в голову, чтобы не разнести птицу в клочья.

После выстрела, все три — оба селезня и моя утка — оказались кверху брюхом. Утка тотчас перевернулась, но сидела она криво, с каплей крови на кончике клюва. Одна дробина попала ей под крыло, другая — в шею сидевшего рядом селезня. С тяжелым сердцем выбрался я из ольхи и понес домой бедную свою Желтоноску. Она болела с неделю, потом вроде бы оправилась, неслась, даже вывела утят, но к осени стала чахнуть и погибла. Вскрытие обнаружило большой гнойник в ее поврежденном легком...

Но вернемся к разговору с Петром. Сейчас мне особенно часто вспоминаются его слова о недопустимости весенней охоты с подхода, а тогда я обратил на них мало внимания:

— Начнет вода сбывать, и пойдут такие уроды болтаться по лугам — по мелкому месту, по островам. К селезню подойти не могут, а дичи покоя не дают: сгоняют маток с гнезда, а то и ухлопают какую. Вот через этих малахольных и получается главный вред.

Было это сказано за много лет до того, как наука доказала значение фактора беспокойства, а все еще немало охотников наших дней Петр мог бы зачислить в малахольные.

Дискуссия о весенней охоте была прервана Настей, поставившей на стол чудовищных размеров сковородку с аппетитно шипящей жареной плотвой. Никогда еще я не едал такой рыбы: крупная, жирная, набитая икрой или молоками, свежая — только что из воды, — с рассыпчатым отварным картофелем.

После завтрака мы отбыли на станцию, сопровождаемые прощальным криком Кукуя. К этому времени небо очистилось, сияло солнце, всю дорогу звучали голоса лесных и полевых певцов. Редко когда я чувствовал себя

таким счастливым, возвращаясь с охоты. Ее поэтическая обстановка, ее успех, красота добытой дичи — все сохранилось как одно из самых отрадных охотничьих воспоминаний.

Но запомнилось и другое: сознание своей неполноценности. Ведь моя роль сводилась только к стрельбе, все же остальное целиком зависело от Петра. Насколько увеличилось бы наслаждение, если бы я охотился с собственными утками, сам выбрал бы место для шалаша, сам построил бы его, владел бы манком, словом, стал бы самостоятельным в охоте с подсадными. Этого мне, хотя и не скоро, удалось полностью достигнуть.

Вскоре после поездки к Петру начался новый, пожалуй, важнейший этап моей охотничьей жизни — у меня появилась собственная собака.



СОБАКИ

ЗОРЬКА

Первую мою собаку, Зорьку, мне подарил отец, получив ее в качестве гонорара от главного в Воронеже знатока и любителя пойнтеров врача Константина Дмитриевича Алалыкина. Зорька появилась на свет через месяц после того, как папа оперировал ее мать Роллу по поводу ущемленной грыжи. Вмешательство оказалось успешным, и Константин Дмитриевич поклялся, что если Ролла благополучно оценится, то он отдаст папе любого щенка и продержит его при матке всю зиму. Отец отказывался — Дайда была еще в полной силе, — но не устоял перед аргументом Алалыкина: «Сережке вашему пора уже иметь свою собаку».

Принадлежавшие Алалыкину производители — Треф от собак Лунина в Петербурге и Ролла от собак маминого родственника Живаго в Москве были родоначальниками подавляющего большинства воронежских пойнтеров того времени. От них шли собаки рослые, но легкие, на высоких ногах, с несколько вытянутой, почти без перелома, мордой, отличавшиеся бешеным аллюром в поиске. Алалыкин считал, что это девонширский тип. Такова была и

Зорька, но она и ее однопометники оказались, пожалуй, последними девонширскими пойнтерами в Воронеже. Ролла потом уже не щенилась и в «алалыкинскую» породу все больше вливалась кровь папиной Дайды и ее детей от Мордаунта — кобеля С. М. Веретенникова родом из Ростова-на-Дону. В результате, через несколько лет тип воронежских пойнтеров существенно изменился. От Дайды они прочно унаследовали по экстерьеру более тяжелое, коренастое сложение, выраженную курносость, а по работе — не столь стремительный ход, нестомчивость, большую выносливость в отношении холодной воды. Кровь Мордаунта сказалась в потомстве сравнительно небольшим ростом, резким преобладанием красно-пегой масти, редкостью кофейно-пегих особей и, у кобелей, исключительной смелостью и победоносностью в драках.

Зорька, желто-пегая, чистого «алалыкинского» типа собака, попала ко мне в начале мая 1916 года, имея от роду девять месяцев. Она уже полностью прошла дрессировку, но никогда еще не выходила за пределы двора и садика при доме Алалыкиных. В гимназии закончился учебный год, можно было приступать к натаске, которую отец решил доверить мне. Сам он всегда начинал с бекаса и дупеля, но считал, что для меня проще будет натаскивать собаку по перепелу.

Несколько дней я ходил с Зорькой по лугам, радуясь ее позывистости, намечающемуся уже поиску челноком, но не встречал ничего, кроме желтопузиков — луговых трясогузок. Тогда отец, еще раз повторив свои подробные инструкции, отослал меня на хутор к бабانه — там перепелки водились в изобилии. Натаска у меня не ладилась, день проходил за днем, а Зорька интересовалась больше всего теми же трясогузками. На взлетевшую перед ней перепелку она обращала мало внимания: посмотрит вслед и бежит дальше. Указанное мною место подъема птицы она мимоходом обнюхивала — и только.

Я ходил упорно дважды в день, но почти за две недели не добился ничего. Вдруг меня осенило. Отец говорил: «Собаку веди против ветра», а где я возьму ветер, если он начинал дуть в девять-десять часов утра, а на восходе солнца и перед вечером, когда я выходил с Зорькой, не колебалась ни единая травинка. Что если пойти попозже? Назавтра так и сделал. Дул порядочный, очень ровный восточный ветерок, волнуя на степи ковыль, цветущую смолку — дикую гвоздику, львиный зев и другие травы. Я зашел под ветер и пустил собаку. Почти сейчас же она остановилась, высоко подняла голову, начала приножи-

ваться, потом двинулась вперед, вопросительно оглядываясь на меня. Это не было настоящей потяжкой, но Зорька явно направлялась к источнику долетевшего с ветром запаха. Перепел вырвался у нее из-под самой морды, и она села, провожая птицу глазами. Это было что-то обнадеживающее.

Действительно, таким же манером она подняла еще нескольких перепелок, и, наконец, не помню уже которую из них, — с совершенно отчетливой потяжки, хотя и без стойки. Я понял — Зорька не имела склонности работать по следу, ей необходим ветер, позволяющий пользоваться верхним чутьем. Мы соответственно изменили время занятий, и вскоре собака меня порадовала стойкой — настоящей, твердой. Я едва убедил ее двинуться вперед и поднять перепела. С каждым днем она делала успехи, наконец вовсе перестала спирать перепелов, а на желтопузиков даже не смотрела — выработался и поиск, и заход против ветра. Больше всего меня радовало послушание собаки. Удалось без труда приучить ее ложиться после взлета птицы, чем я, начитавшись литературы о натаске, отчетов о полевых испытаниях собак и т. д., особенно гордился — этого не делала даже папина Дайда. Пора переходить на бекаса, решил я и уехал с хутора в Сосновку. Но там меня ждало разочарование.

Во-первых, отец, в общем одобрив мой отчет, сказал, что заставлять собаку ложиться — глупо: это новомодный «даун» красив на полевых испытаниях, но на охоте собака должна видеть, упала птица после выстрела или нет. Он считал, что заставлять собаку ложиться — крайность, возникшая из отказа от приказа «пиль!», требовавшего броска со стойки, очертя голову, ничего не видя и не понимая. Он напомнил о Ласке в «Анне Карениной». Собака должна поднять птицу на крыло (подать ее) осторожным плавным движением вперед, наблюдая за взлетом и результатом выстрела, как Дайда.

— Вот увидишь, — добавил он, — мода на «даун» продержится недолго.

Во-вторых, и это гораздо важнее, оказалось, что по бекасу Зорька не работает, ничего не чувствует, спирает одного за другим и начинает горячиться. Целую неделю таскался я с ней по болотам — положение не менялось. Вечером в субботу приехал из города отец — в будние дни ему не удавалось бывать в Сосновке. На мои жалобы последовал вопрос:

— Когда ты выходишь из дома?

— Утром, часов в восемь.

— Значит, на место попадаешь к девяти, а болото — не поле. Прогретый воздух полон испарений, собака неопытна, острый запах болотных трав ей забивает чутье. Сходи на рассвете.

На следующий день, едва рассвело, я уже пустил Зорьку в мокрый кочкарник. Она тут же потянула, стала — поднялся бекас. Прошла еще неделя, и отец, сам посмотрев работу Зорьки, признал ее натаску законченной.

— Теперь научи ее правильно ходить по лесу. Не важно, что дичи там сейчас нет — пусть освоит поиск на кругах с постоянным возвратом к тебе, а для этого... — и последовал инструктаж, что я должен делать.

Так, незаметно, прошло время до открытия охоты. Теперь я был вполне самостоятелен, ходил со своей, мною натасканной собакой, притом оказался на высоте — в день открытия взял пять или шесть бекасов, первого в жизни дупеля. Но, странное дело, мои воспоминания об этом сезоне ограничиваются почти исключительно общим впечатлением успеха: Зорька работала хорошо, я стрелял не худо. Примечательных же, врезавшихся в память событий не было, кроме одной обиднейшей неудачи. О ней — в специальной главе.

Осень в том году наступила рано, но пролетный вальдшнеп появился в свое обычное время. Я успел найти и убить из-под Зорьки одного местного — она очень четко его сработала. Потом занятия в гимназии ограничили возможность охоты только воскресными днями. И в первое же воскресенье обнаружилось, что с Зорькой охотиться в лесу нельзя. Она стала ходить сама по себе, совершенно забывая про меня, исчезая на час и больше. Как замороженная она искала птицу, найдя — становилась по ней, невидимая в чаще, а после взлета, который я иногда слышал, продолжала поиск, не реагируя ни на свист, ни на крик. Если удавалось изловить ее и наказать за непослушание, она пропадала снова. В отчаянии на следующей охоте я привязал к ее ошейнику весьма звучный колокольчик, но собака удалялась настолько, что звук не улавливался. Вальдшнепов было много, отец каждое воскресенье брал по четыре-пять штук, а мне в лучшем случае удавалось найти собаку на стойке один-два раза в день.

Отец угадал в чем дело. Он сказал, что я, наверное, летом больше занимался грибами, чем собакой, не приучал ее следить за мною и постоянно возвращаться. Она и работает челноком, как по открытому месту, да еще непривычно сильный запах вальдшнепа ее словно одурманивает. Мне сказать было нечего — насчет грибов отец не ошибся.

Следующим летом до открытия охоты я очень много, старательно занимался с Зорькой в лесу и словно бы добился своего: собака ориентировалась на меня, постоянно показывалась на глаза, слушалась свистка. По болоту она работала еще лучше, чем в прошлом году. Но едва началась охота по вальдшнепу, все пошло прахом — снова я часами не видел Зорьки. Отец признал положение безнадежным, и мы начали ходить с одной Дайдой, стреляя по очереди.

Мои мучения окончились в 1918 году и то лишь благодаря совету отца, еще раз показавшего, как глубоко он понимает работу легавой собаки. Посоветовал же он мне до открытия охоты ходить с Зорькой не в лес, а на болото, имея единственную задачу — научить собаку отходу со стойки на зов.

— Собака достаточно опытна, раз ты без ружья — значит, это не охота, птица будет меньше волновать ее, да и вообще она к бекасу относится много спокойнее, чем к вальдшнепу. К тому же только что выкормила своих первых щенков, пыл молодости поослабел.

В самом деле, Зорька через несколько дней стала возвращаться со стойки на свист и от меня снова тянула к тому же бекасу. Я не прекращал тренировку и после открытия охоты. Кстати, и недостаток боеприпасов ограничивал возможность стрельбы по мелкой дичи. Пороха, дробы оставалось у нас все меньше, казалось, охоту придется прекратить. Неожиданно мы «разбогатели». Еще весной скончался К. Д. Алалыкин. Ни Трефа, ни Роллы уже не было, но осталось ружье с большим запасом боеприпасов. Вдова предложила все это отцу; он купил и ружье «Лебо» 12-го калибра, и все остальное. Теперь можно было спокойно ждать осени.

Начался пролет вальдшнепа, и я был полностью вознагражден за летние занятия с собакой. Я охотился успешно и был доволен, а все же не так, как отец. Он наслаждался новым ружьем, легким, короткоствольным, очень ему удобным, но особенно радовали его результаты данного мне совета. Он предсказывал, что на будущий год моя собака может додуматься до отхода со стойки без зова, то есть до анонса. Но разразилась беда — к следующему лету и отец, и я остались без собак.

В середине зимы, когда трещали морозы, Зорька по недосмотру домашних выскочила на улицу и пропала. Мы с отцом думали, что у нее началась пустовка; три дня я все свободное время бегал по городу, разыскивая и проверяя все собачьи свадьбы, но бесплодно, а на четвертый, вернув-

шись из гимназии, застал Зорьку дома. Она пришла сама в состоянии крайнего истощения, с отмороженными сосками, кончиками ушей и хвоста, жадно набросилась на пищу, но быстро отошла от миски и потом почти не ела, продолжала слабеть. Через несколько дней, утром, мы нашли ее уже мертвой.

Однако это было еще не все. О дальнейшем даже сейчас не могу вспомнить без ужаса: только чудом не погибли мы с отцом, а возможно и не только мы. Примерно через месяц заболела Дайда. Она стала скучна, потеряла аппетит, начала прятаться от ребятишек, затем ей стало трудно глотать. Мысль отца работала по линии его специальности хирурга:

— Нет ли у нее заглоточного гнойника? Подержи собаку, а я пощупаю. — Но папина кисть не проходила в пасть Дайды. — У тебя рука поменьше, попробуй ты, — и он объяснил мне, какие признаки нужно искать.

Не задумываясь, я запустил руку в рот собаки, ощупал все, как велел отец, и ничего не нашел. Ветеринар, которого обычно приглашали курировать полубьянскую стаю, был где-то на фронте гражданской войны, другой специалист по болезням собак лежал в тифу. Дайде становилось все хуже, она перестала вставать и через несколько дней жизнь этой лучшей папиной собаки окончилась. Горе было большое, но отцу и в голову не пришло, что нужно не столько горевать, сколько бояться.

Минуло семь лет. Я, уже врач, проводил научную работу, для которой требовался ряд бактериологических исследований. Мне разрешили выполнить их в Воронежском ветеринарно-бактериологическом институте. Вот однажды, пока окрашивались мои препараты, я увидел на соседнем столе толстую книгу. Это было роскошно изданное капитальное руководство «Болезни собак» на немецком языке. Я развернул его где-то посередине. С глянцевиной страницы на меня смотрел кофейно-пегий пойнтер — вылитая Дайда в ее последние дни. Те же налитые кровью глаза с отвернутыми нижними веками, та же отвисшая челюсть, текущая изо рта слюна. Подпись гласила: «Типичный вид собаки в последней стадии бешенства». А мы с отцом совали руки в пасть с такой же отвислой челюстью с текущей слюной... Я не помнил точно, какова предельная длительность инкубационного периода при бешенстве, начал торопливо разбирать немецкий текст и нашел, что как исключительная редкость известны случаи заболевания даже через два года после заражения. Правда, относилось это к собакам, а у них заболевание развивается быстрее,

чем у человека. Но со времени болезни Дайды прошло уже второе больше времени — теперь бояться не приходилось.

Попросив разрешения взять книгу до завтра, я принес ее домой и показал портрет двойника Дайды отцу. Он с одного взгляда понял все. Значит, и Зорька погибла от бешенства, а Дайду покусала, прежде чем убежать из дома.

МОРДАН

Итак, летний сезон 1919 года мы начали не имея собаки. Уток вывелось в том году ничтожное количество. Небывалый майский паводок погубил массу кладок; только однажды, благодаря исключительной удаче, я хорошо накормил семью утятинной. А с питанием становилось все труднее, мясной пищи не было вовсе. Хорошо еще, что не истощились наши боеприпасы, можно было, не скупясь, пустить пару выстрелов в густую стаю скворцов или (позор!) грачей — какое-нибудь, а мясо. Много было бекаса, но что мы могли сделать с ним без собаки? Она появилась у меня только в последних числах августа.

Сергей Митрофанович Веретенников, уже оставивший охоту, подарил мне пойнтера. Родителями этого кобеля были дочь папиной Дайды от алапыкинського Чока и веретенниковский Мордаунт; официально собаку звали Мордаунтом вторым, но фамилия злодея из известного романа А. Дюма «Двадцать лет спустя», разумеется, русифицировалась, так что оба Мордаунта, и первый и второй, именовались просто Морданами. Моему Мордану, когда я его получил, было почти три года, о дичи и охоте он не имел представления, и папа сильно сомневался, выйдет ли из него что путное. Собака красно-пегой масти была невелика ростом, но мощного сложения, большой силы и смелости. Мордан неизменно выходил победителем из схватки с любым, самым крупным и, казалось, грозным противником. Один сельский охотник сказал о Мордане: «Не силой берет — зуб у него дюже злой».

Наше знакомство началось с острого конфликта; мне показалось, что пища горяча, я отстранил голову собаки от миски, хотел проверить рукой и тотчас был укушен — не до крови, но очень чувствительно. Пришлось тут же пустить в ход толстую хворостину. Мордан начал огрызаться, я крепко держал его за ошейник, хлестал еще сильнее, пока рычание не сменилось жалобным визгом и воем. Финал был неожиданный, самый отрадный: вытерпев наказание и получив свободу, пес отряхнулся и завилял хвостом,

радуясь, что неприятности остались позади. С этого дня и до самой смерти Мордан вел себя так, что ударить его не пришлось ни разу.

Вопреки опасениям, натаскать Мордана удалось за самое короткое время. На пятый выход в болото он стал по бекасу, на седьмой я уже стрелял из-под него. Затем мы охотились вместе с папой, и отец удивлялся работе собаки, ее послушанию и сообразительности. Подавать птицу из воды Мордан начал сам без всякой подсказки. Когда появился вальдшнеп, собака почти сразу освоила выгодный для охоты в лесу круговой поиск. Все шло отлично, но первое поле Мордана оказалось недолгим.

Наступление деникинских войск на Москву, захват белыми Воронежа, разграбление шкуровцами сосновских дач, период контрреволюционного террора, особенно свирепого в дни перед освобождением города Первой Конной Армией — о какой охоте можно было говорить в эту осень? Нам пришлось пережить много страшного, о чем рассказал бы, если бы писал семейную хронику, а не охотничьи воспоминания. Упомяну лишь о том, что отец лишился своего «Зауэра», а остальные ружья сохранились чисто случайно и что зимой 1919—1920 годов Мордана спасли от голодной смерти только трупы лошадей, убитых в осенних боях. Все неиспользованное людьми было вывезено за окраину города, куда Мордан ходил кормиться и страдал от недоедания меньше любого из членов нашей семьи.

Настало лето, но положение с продуктами не улучшилось, жить в сосновском поселке не было возможности. Отец решил расстаться с дачей и передал ее местным советским органам под медицинский пункт. Последующие четыре года мы пользовались летним пансионатом университета, близ речки Песковатки, маленького левобережного притока Воронежа, а потом, с 1924 года, университетской же дачной усадьбой Лосево в бывшем баронском имении на самом берегу Усманки, немного выше столь памятной мне Борной поляны.

Недостаток «боепитания» и стремление приносить побольше «кусков», делали утку основным объектом нашей летней охоты. Соответственно и Мордан уже в 1922 году стал таким специалистом-утятником, что превзошел покойницу Дайду. Ей случалось все же упустить подстреленную утку, чего с Морданом не бывало никогда. Он умел поймать занырнувшую птицу под водою, мог долго, настойчиво преследовать плавающего по камышам подранка, заставлял его выбраться на сушу, где немедленно ловил и, в отличии от Дайды, нес ко мне по берегу. Вечерний пере-

лет я с Морданом отстаивал на одном озере, а отец без собаки на другом. Всю его добычу Мордан собирал по окончании охоты или наутро, если мы с отцом расходились на очень уж большое расстояние. Поражало стоическое равнодушие этого пойнтера к холодной воде. Мордана не останавливал даже ледок, подернувший закрайки озера; все равно он вплавь гонял упорного подранка, приходя в такой злобный азарт, что начинал отдавать голос, как гончая. А когда, наконец, поймает и принесет, то выкатается по траве, даст круга два полным галопом и опять готов кинуться в воду за добычей. Был лишь один-единственный случай, когда в сильный мороз он не выдержал холодной воды.

Результатом двухлетней охоты главным образом по утке было то, что она стала для Мордана дичью номер один. На следующем месте стоял вальдшнеп, а затем остальная красная дичь, по которой он работал безукоризненно. А вот к прочей мелочи собака выказывала пренебрежение, не хотела тратить время на розыски убитой из-под ее стойки перепелки, коростеля и пр. Если не найдет сразу, то уходит в поиск за новой птицей, а прикрикнешь — уляжется и спокойно смотрит, как хозяин обшаривает траву. Только это и можно поставить в упрек Мордану; он был, по-видимому, лучшей из моих собак — две его прекрасные стойки по изредка встречавшимся запретным тетеревам доказывают, что и в охоте на боровую дичь он мог бы стать мастером.

Но наиболее любопытно было отношение Мордана к зайцам. Их в начале двадцатых годов развелось очень много. На поздних осенних охотах, когда зайца бить уже разрешалось, нам не раз приходилось стрелять по вскочившему русаку. Мордан к зайцам был вполне равнодушен, стоек по ним не делал, к убитому не кидался, а при промахе только провожал зайца глазами. Наряду с этим мне пять или шесть раз случалось видеть, как собака бросалась за убегающим после выстрела зайцем и уж тогда непременно его залавливала. Как Мордан определял, что зверь ранен тяжело и не уйдет от погони? Не по кровавому следу — гонка начиналась иногда с большой дистанции, явно на глазок. Скорее всего он слышал удар дроби по зайцу или, может быть, умел разглядеть какую-то особенность его движений на скаку.

Никто никогда не учил Мордана сторожевым обязанностям. Но раз жарким летним днем мы с женой и ребенком отправились смотреть, как мои братья ловят рыбу обрывком старого бредня в небольшом, почти высохшем бочажке на заливному луку. Сперва ничего не выходило,

потом вода настолько взмутилась, что вся рыба поднялась на поверхность и ее стали хватать руками. Тут и я принял участие в ловле, ведро быстро наполнялось щурятами и порядочными карасиками. Мордан, сидевший на травке рядом с хозяйкой, тоже вдруг оказался в воде, начал выхватывать одну рыбу за другой и выносить на берег. Азарт возрастал, жена, заразившись общей ажитацией, положила уснувшего сынишку под куст и присоединилась к нам. А Мордан тотчас бросил «рыбалку» улегся рядом с младенцем и не оставлял его до возвращения матери. Сперва долг, а потом удовольствие.

ШКОДА

Как ни хорошо работал Мордан, как ни складно мы стреляли из-под него вдвоем поочередно, а отцу, естественно, хотелось иметь собственную собаку. Я взял для него щенка от Мордана и внучки моей безвременно погибшей Зорьки, выбрав единственную сучку из помета. С владельцем матки мы договорились, что щенок останется у него не на положенный месячный срок, а на две недели лишних. Но до месяца оставалась еще целая неделя, когда теща встретила мой приход с работы радостным сообщением: «А нам собачку принесли!» Щенок только-только начал передвигаться на нетвердых лапках, не умел еще лакать с блюдца — жаль, что хозяин его матери ухитрился не попасться мне на глаза.

Малютку пришлось кормить с рожка, ночью согревать в собственной постели, вообще хлопот было много — не удивительно, что она чрезвычайно ко мне привязалась. Щенок подрастал, хорошо развивался, но вскоре стал подлинным наказанием, немедленно превращая в клочья все, что мог достать. Эти проделки свойственны каждому щенку, однако такого невероятно шкодливого существа я не видывал. Первоначальную Роллу вскоре пришлось переименовать в Шкоду — колотушки доставались ей чуть не каждый день. Моих подсадных уток Шкода оставила в покое только после третьей и весьма основательной взбучки. Все же к весне 1926 года удалось с успехом закончить дрессировку, добиться полного послушания собаки.

Но повиновалась она только мне, а подчиняться отцу решительно отказывалась. Ясно было, что натаскать ее он не сможет. Я был вынужден оставить Шкоду себе, а отцу передать Мордана, который и служил ему еще три года. В возрасте двенадцати лет, полностью сохранив чутье, он

почти ослеп, начал слабеть и едва не утонул, доставая из воды утку, — брат спас его в последнюю минуту. А осенью на стойках по вальдшнепу нередко приседал, чтобы помочь. Но когда мы попробовали не взять его на охоту, бедный старик поднял такой лай и вой, что мама вернула нас со двора, и Мордан все же отправился в лес. До весны следующего года Мордан не дожил — ушел «в страну вечной счастливой охоты».

Шкода по изящному легкому сложению, форме головы очень походила на свою прабабку Зорьку, но была миниатюрнее ее, имела красноватую окраску пежин. От Мордана она унаследовала выносливость, не боялась холодной воды, была способна работать по шесть-семь часов ежедневно, неделю за неделей, а охоту с рассвета до ночи выдерживала три дня подряд, так что не я захаживал ее до изнеможения, а, наоборот, она меня. Правда, Шкода, как Мордан и другие собаки, потомки Дайды, в поиске шла неторопливым, сберегающим силы галопом, а не бешеным карьером, типичным для чисто алабакинских пойнтеров. Что касается характера, то не бывало у меня столь злой собаки.

Даже хорошо знакомый ей человек, войдя к нам, непременно подвергался нападению, если я заранее не прикрикну на Шкоду. На моих близких агрессивность Шкоды не распространялась, но и симпатии к ним она не проявляла, приласкаться могла только к жене.

Я натаскивал Шкоду по дичи, которую и литературные источники, и опытные охотники единогласно признают запретной для молодой собаки, а именно по коростелям. Состояние угодий летом 1926 года создало и необходимость, и возможность этого, насколько мне известно, уникального случая натаски. Очень высокая вода заставила бекасов забиться в густые заросли молодой ольхи по лугу. Перепелов в округе было очень мало, но в поисках их я обнаружил, что вода выгнала коростелей на сухой луг Борной поляны, где сравнительная бедность травяного покрова вынуждала их подниматься на крыло без попыток убежать от собаки. По коростелю Шкода сделала свою первую стойку; к открытию охоты она настолько освоила работу по этой непростой дичи, что и в довольно крепких местах, пользуясь верхним чутьем, не копаясь на следах, умела так прижать бегуна, что ему приходилось взлетать.

Открылась охота. По утрам я ходил со Шкодой за коростелями, а вечером ехал в лодке на утиный перелет, оставляя собаку дома. Только через две недели, когда болота пообсохли, Шкода стала по очень смирному бекасу, кото-

рого я убил. На следующий день бекасов прибавилось, удалось взять уже четыре штуки, всех из-под стойки, а к сентябрю Шкода уже работала по этой птице уверенно, да и с водоплавающей дичью познакомилась. Еще до первого убитого из-под нее бекаса мы с ней, проходя краем залитого водою болота, подняли двух матерок. Одна, мертвая, упала на сухую землю, а другая подстреленная, — в воду. Шкода быстро отыскивала выбравшегося на кочку подранка, но не решалась к нему прикоснуться. Когда я подошел, утка нырнула, найти ее там не удалось.

Следующим утром по дороге к Борной поляне я вздумал проверить небольшое лесное озерцо, неглубокое, заросшее высокой осокою. У самого берега взлетела крякуха, я почти промазал по ней — отбил кончик одного крыла, — но она все же упала в центр озерца. Воды там было много, выше колена. Шкода поплавала в траве, но сразу бросила поиск, вышла на берег и пустилась вокруг озера. Обежав его почти наполовину, она круто свернула в лес и скрылась, не обращая внимания на мой свист.

Едва выбравшись из воды, я услышал яростный лай и кряканье. Метрах в двухстах утка, забившись под корень дуба, орала на собаку, а Шкода, не смея схватить ее, прыгала кругом и лаяла. Добив матерку, я всячески хвалил и ласкал сучку, надеясь, что она начала понимать разницу между домашней и дикой уткой. Так оно и вышло. Через несколько дней я взял Шкоду на вечерний перелет, и она без колебаний подала утку из воды. На следующий год собака вполне освоила свои обязанности на утиной охоте, хотя до совершенства, которым отличался Мордан, ей было еще далеко.

Но прошло не так уж много времени, и я убедился, что Шкода от природы очень понятлива.

При первом своем знакомстве с вальдшнепом моя молодая собака не сразу применилась к требованиям охоты в лесу: уходила далеко, часто пропадала с глаз, так что охоты сначала были малоуспешны. Но осенний пролет еще не закончился, а Шкода уже сообразила, что нужно работать на небольших кругах, соответственно возросли и результаты. А вальдшнепа в тот год было много. Однажды в октябре я, попав на высыпку, взял из-под Шкоды одиннадцать штук.

Летне-осенний сезон 1927 года оказался самым добычливым за весь воронежский период моей охоты. Вопросы питания, в частности мясная проблема, совершенно утратили остроту, так что у нас ослабел интерес к утке. Мы охотились больше всего по бекасу. Это свое второе поле



ОБЕЖАВ ОЗЕРО ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ, ОНА
КРУТО СВЕРНУЛА В ЛЕС И СКРЫЛАСЬ,
НЕ ОВРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА МОЙ СВИСТ.

Шкода работала весьма продуктивно. Но у нас снова оказалась одна собака на всех, мы ходили обычно вдвоем с отцом или братом, стреляя по очереди, а то и втроем, если к нам присоединялся наш общий друг Иван Федорович Мейер. Тут уж мне приходилось обслуживать их за егерь — я вел собаку, сам не стрелял, но любовался работой Шкоды и радовался удовольствию своих стариков.

Весной того же года Шкода ошенилась от Стопа — собаки А. В. Шпигановича. Не помню, откуда происходил этот кофейно-пегий кобель, только не от воронежских пойнтеров. По воспитанию он был типичной комнатной собакой с невыявленными полевыми способностями и соблазнил меня только безупречным экстерьером. Шкода принесла четырех кофейно-пегих щенков, в том числе одну сучку — я оставил ее для брата Александра. Но отец, уже потерявший Мордана, взял собачку себе, заменив не понравившееся ему имя Штучка на Нэпси.

Мог ли я, заканчивая такой богатый добычей сезон, предвидеть, что на следующий год горько пожалею — зачем роздал щенков, не оставив еще одного? Но Шкода была так молода, так прекрасно работала, так много обещала в будущем! В июне 1928 года у нее открылось какое-то тяжелое заболевание, развивавшееся постепенно, с явными признаками поражения брюшной полости. Ветеринарам не удалось распознать сущность болезни, начавшееся симптоматическое лечение не давало эффекта, собака чахла, медленно погибала. За несколько дней до открытия охоты мы похоронили ее на вершине песчаного бугра над заливом Усманки, не произведя вскрытия и не выяснив подлинной причины смерти.

ДЖЕК

Невесело было мне тем летом. Отец уже натаскал свою Нэпси, но она к открытию сезона работала еще неуверенно, и он справедливо считал, что для кроткой и до робости мягкой собаки, еще не втянувшейся в охоту, будет полезнее ходить только с ним. В дальнейшем работала она безупречно, но, на мой взгляд, отец ее слишком изнежил. Только и слышно было: «Нэпси начинает уставать», «Нэпси захотела пить, ей жарко, выйдем к реке» (это при охоте в лесу) и т. п. — уж очень он ее берег. Но для немолодого охотника ее сил хватало вполне, и отец ее нежно любил.

Лишившись Шкоды, я был вынужден снова переключиться на уток, охотясь преимущественно с подъезда на лодке. Надеясь все же достать новую собаку, я не уходил в

отпуск и ежедневно делал восемнадцать километров пешком из Лосева в город и обратно. Только в последних числах августа, незадолго до переезда семьи с дачи в Воронеж, мне удалось купить красно-пегого одиннадцатимесячного пойнтера Джека тоже из потомства Дайды и Мордаунта первого. Он приходился внуком моему Мордану, на которого очень походил складом, но был крупнее.

Не получивший никакого воспитания, страшно упрямый, Джек с большим трудом поддавался дрессировке, вынудив меня впервые обзавестись плетью. Его упрямство удивительным образом сочеталось с самым благодушным отношением к этому инструменту — наказание никак его не огорчало и не обижало, совершенно не портило ему настроение. Все же к концу сентября удалось настолько дисциплинировать собаку, что можно было приступить к натаске. Хорошо, что я жил при клинике и мог почти ежедневно тотчас после работы, переодевшись, идти с собакой за Чернавский мост, на луга, скрытые ныне Воронежским морем.

Но день быстро убывал и походить удавалось два, от силы три часа. Джек довольно быстро принялся и становился по большинству найденных бекасов. Очень меня тревожила чрезмерная горячность собаки, проявившаяся прежде, чем она вкусила охоту. Джек не делал попыток погнаться за взлетевшей птицей, но так спешил найти еще одну, приходил в такое возбуждение, что начинал бешено носиться по болоту. Следующего бекаса он натурально спарывал и сатанел еще больше. Это вынуждало после каждой стойки садиться, укладывать собаку, давая ей успокоиться и теряя драгоценное время. А что же будет, когда я начну стрелять? Наверное, пес так обалдеет, что с ним не будет сладу. Но и ждать не приходилось — запоздавшая осень все-таки вступила в свои права, не откладывая же охоту до будущего лета. С 10 октября я ушел в отпуск и на следующий день решился — отправляясь за реку, взял ружье.

К большому моему удовольствию, оказалось, что упавшая после выстрела птица волнует Джека гораздо меньше, чем улетевшая. С наслаждением обнюхав убитого бекаса, он снова пошел в поиск своим нормальным аллюром. Я стрелял по пяти бекасам, трех убил, по двум промазал; оба промаха заставили прерывать охоту и успокаивать собаку. Первый опыт показал, что если стрелять хорошо, то охотиться с Джеком вполне возможно. Через день на следующей охоте это полностью подтвердилось. Мы были с папой на Усманке возле Лосева, ходили с рассвета до вечера. С утра подморозило, бекас не выдерживал стойки и

горячил собаку. Когда же обогрелось — птица стала гораздо спокойнее, а Джек — спокойнее, да тут еще и стрелял я хорошо — на двадцать четыре патрона взял шестнадцать бекасов и гаршнепов. К концу охоты Джек уже почти не требовал успокаивающих антрактов, а гаршнепы, до тех пор ему незнакомые, вообще не вызывали у него заметного возбуждения.

Три следующие охоты по бекасу и гаршнепу с хорошей добычей при сравнительно малой стрельбе еще заметнее уменьшили горячность собаки. Однако на охоте по вальдшнепу все пошло по-старому. Джек отлично стал по первой найденной птице, но место было такое густое, что она улетела без выстрела, и собака пришла в неистовое возбуждение. Утихомирить ее в лесу, где она постоянно исчезала из вида, было особенно трудно. Джек носился неудержимо, спирал, а если и становился по вальдшнепу, то я промахивался, а чаще не мог выстрелить в гущине, и пес «психовал» все больше. Добрая половина времени уходила на перекурки с довольно чувствительными воздействиями плеткой. Пыл Джека остывал, но ненадолго: опять стойка в непролазной чащобе, опять вальдшнеп улетает невредимый и снова требуется перекур. За день я стрелял по восьми вальдшнепам, вдвое больше было взлетов без выстрелов, а в ягдташ попала только пара.

Назавтра я пошел в места, где было много не слишком густых мелочей и стрелять было гораздо легче; с каждым удачным выстрелом нервы собаки успокаивались. К середине дня, когда был убит пятый вальдшнеп, я не сомневался, что Джек вскоре совсем опомнится. И тут пришлось закончить охоту, после того, как я едва спас его от гибели. Вблизи от края леса собака исчезла в кустах; я обогнул их и увидел Джека. Он несся по зеленым параллельно опушке шагах в ста от нее, а за ним скакал крупный волк. Второй зверь выскочил из леса левее меня и пошел наперерез собаке. Этот был ближе, шагах в пятидесяти, по нему я и ударил «семеркой». Он завизжал, подскочил и метнулся назад в кусты, получив по пути еще заряд в другой бок. Волк, гнавший собаку, круто свернул и умчался в поле. Джек был настолько испуган, что перестал работать и до самого кордона жался к моим ногам.

Эти две охоты по вальдшнепу, хотя и не слишком удачные, пошли собаке на пользу. После них болотная дичь уже не вызывала у Джека прежних бурных переживаний, и он работал по бекасу совсем неплохо, по гаршнепам же — безукоризненно. Мне никогда не удавалось убить их столько, сколько за ту осень, — ровно три десятка. Бека-

сов мы с Джеком также взяли порядочно — более полусотни. Были все основания рассчитывать, что на второе свое поле Джек станет полноценной рабочей собакой.

Но в январе 1929 года окончился трехлетний срок моей клинической ординатуры и я уехал из Воронежа на самостоятельную работу в Касторную. Папа, в молодые годы служивший в тамошней больнице, предупредил: летом только перепел, лишь осеннего вальдшнепа должно быть порядочно. На деле же оказалось еще хуже — охоты просто не было. В лугах вдоль реки Олыми ни одной мочажины, в полях — ни перепела; видимо, год на перепелов выдался неурожайным.

Небольшое число бекасов можно было найти на полях орошения Олымского сахарного завода. Но жидкая грязь, оставшаяся в старых жомовских ямах, была столь зловонна, что пара убитых бекасов оказалась слишком слабой компенсацией за смрад, несколько дней исходивший от собаки. Никакое мытье не помогало, пришлось терпеть, пока вонь выдохлась сама собою. Больше я не пускал собаку в эти мерзкие топи. Не было надежды и на вальдшнепов — перелески за Олымью, памятные папе, за истекшие годы вырубili почти целиком. Однако осенью пролетный вальдшнеп там появился, хотя и в малом количестве — по два-три в день. А Джек, все лето не видевший дичи, встретившись, наконец, с ней, пришел в совершенное иступление. Двадцать четыре раза ошалевшая собака спарывала вальдшнепов и лишь трижды стояла по ним.

В начале 1930 года я перешел на работу в Мещерское Подольского района Московской области. Окрестности Мещерского мне при предварительной переписке характеризовались так: «Очаровательные Левитановские пейзажи, богатейшие грибные места, особенно много боровиков, прекрасная охота». Я соблазнился, однако «славны бубны за горами, а как близко — так лукошко». Пейзажи действительно имелись в изобилии, были и грибы, в том числе немного боровиков, но дичь, кроме тетерева и вальдшнепа, в Мещерском отсутствовала. Да и тетерева оказалось немного, местного вальдшнепа — тоже, а пролетный слишком рассредоточивался в обширных лесах, почти везде удобных для него. Сразу стало понятно, что в этих условиях довести Джека до ума будет совсем не просто: редкие встречи с немногочисленной дичью не дадут ему быстро привыкнуть к ней и умерить свою горячность.

Эти мои опасения, возникшие еще зимой при беседах с местными охотниками, оправдались полностью. По одиночным тетеревам Джек кое-как работал: случалось ви-

деть эффектную потяжку со стойкой по всем правилам. Он выходил из себя только после взлета птицы; можно было надеяться, что удачный выстрел подействует на него так же благотворно, как и прежде. А с выводами положение оказалось хуже некуда: приучав наброды, собака начинала неудержимо метаться по ним, пока с ходу не впаивалась в выводок. Как ни странно, но Джек ни разу не пытался преследовать отвлекающую его матку. Он по первому же окрику возвращался ко мне, всем своим униженным видом показывая, что готов принять заслуженную кару. Но я перестал его бить — все равно к следующему разу он забывал полученную трепку.

По встречавшимся иногда местным вальдшнепам собака работала, в общем, удовлетворительно — после знакомства с тетеревами вальдшнеп стал меньше волновать ее.

Ничто не изменилось и после открытия охоты. Как нарочно, я стрелял отвратительно и промахами еще больше нервировал собаку. С детских лет мне не случалось так много мазать. Сказались год, проведенный в Касторной почти без практики, густота летнего, необлетевшего леса, а главное — огорчение, доставляемое собакой. Получался порочный круг — на меня влияла плохая работа Джека, на него — мои промахи. Все это было тем огорчительнее, что охота снова оказалась единственным способом добычания мяса — в Мещерском по карточкам не давали почти ничего, кроме хлеба.

Только еще через год, на пятое поле Джека, охота с ним по тетереву перестала доставлять неприятности. В день открытия я взял четырех тетеревов, назавтра — пять, всех молодых и всех из-под стойки. Совершенно перестали пропадать подранки, которых прежде мы нередко теряли. По старым одиночным петухам и по местному вальдшнепу Джек работал прямо-таки хорошо, а когда я, взяв отпуск осенью, поехал с ним в Воронеж, то получил огромное удовольствие. Обилие пролетного вальдшнепа и болотной дичи, как и следовало ожидать, умерило горячность собаки. Вместе с тем Джек, работая весьма энергично, в быстром темпе и красивом стиле, не умел беречь силы, уставал раньше меня, двух дней охоты подряд не выдерживал.

Приходилось надеяться, что время и опыт научат его более экономно расходовать энергию. Но как раз времени у него не оставалось. В 1933 году нам пришлось покинуть Мещерское — мне предложили научную работу в Ленинграде. Переезжать туда и до устройства с жилплощадью ютиться у родных, тем более с собакой — перспектива

страшноватая. Выход все же нашелся. Двоюродный брат жены Володя Устинов пригласил меня провести отпуск и поохотиться с ним под Ленинградом, а затем оставить Джека у него в лесничестве, близ станции Ижора. Там он держал двух своих собак — сеттера и спаниеля, найдется место и для третьей, притом на неограниченно долгое время.

Это устраивало меня как нельзя лучше. 1 сентября мы с Джеком открыли охоту по серой куропатке — дичи для нас новой и начали сперва триумфом, а тотчас за тем — срамом. Джек великолепно сработал по выводку, из которого я выбил пару; вторая стойка и второй удачный дублет, после которого выводок разбился. Птицы разлетелись широко, и Володя со своим сеттером Споттом подошел ко мне в тот момент, когда Джек тянул по следу. Вдруг мой пес, как полоумный, рванулся вперед и спорол куропатку.

— Далеко, не стреляй! — крикнул Володя, но я уже выстрелил, птица упала. — Охотнику пять с плюсом, а собаку повесить! — последовал приговор Володи.

Я не понял в чем дело — Джека, до тех пор работавшего очень аккуратно, словно бы подменили — он вел себя как на первых охотах в Мещерском. Оказалось, что близость другой собаки настолько нервировала моего пса, что он терял голову. Ему хотелось во что бы то ни стало раньше соперника добраться до птицы. Стоило Володе взять Спотта на поводок, и Джек совершенно успокоился. Что делать? Решили, пока я не изучу уголья, ходить вдвоем с одной собакой — день с моей, день с Володиной.

Получилось отлично. Собаки поочередно отдыхали, а мы хорошо приспособились друг к другу, так что не изменили тактики и после того, как я узнал и места обитания, и повадки куропаток.

Конечно, найти дичь с одной собакой удавалось не так скоро, хотя куропаток было очень много. Через несколько дней Володя предложил, чтобы тот, чья собака остается дома, брал с собой спаниеля Чомми. Джек не считал маленького песика конкурентом и при нем работал нормально. Найдя куропаток, мы стреляли из-под легавой собаки, а Чомика привязывали в ближайших кустах. Как же обижался бедняга, особенно если это он обнаруживал выводок! На каждый выстрел собачка отвечала таким жалобным визгом и воем, словно дробь попадала в нее.

Так мы охотились почти до конца моего отпуска. А потом произошла катастрофа. К Володе приехали четыре охотника, все — крупные лесоводы. Мы разделились, пошли разными маршрутами каждый со своей собакой и дву-

мя гостями. Вскоре Джек нашел большой — около 20 штук — нетронутый выводок, было много стрельбы. Мои подопечные вошли в азарт и один из них выстрелом в кустах смертельно ранил Джека. Лучше не вспоминать подробностей.

Володя старался меня утешить:

— Переедете в Ленинград, подберем тебе хорошего щенка, натаскаем, а будущую осень, если доживем, поработаем со Споттом, — с тем я и вернулся в Мещерское готовиться к переезду всей семьей.

Но не судьба была Володе дожить до будущей осени. В июне тяжелое заболевание мозга за несколько дней погубило его, милого человека, друга и прекрасного охотника. Володиных собак разобрали: Спотта увез куда-то далеко один из родных покойного, Чомика достался объездчику лесничества.

ИРМА

Только в конце весны 1936 года я вновь обзавелся собакой. Восьмимесячная красно-пегая Ирма происходила от пойнтеров Лунина, ее родители неоднократно высоко аттестовались на полевых испытаниях. Условия нашей тогдашней жизни в Ленинграде не позволяли мне держать собаку при себе, а тем более самому ее натаскивать: она была единственной собакой, натаску которой пришлось поручить другому.

Виктор Федорович Левоскин работал егерем в Любанском хозяйстве общества «Медик». Его дом на берегу реки Болотницы, напротив деревни Кирково, служил охотничьей базой, я не раз бывал там весною на тяге. Виктору Федоровичу, великому знатоку всех видов лесной охоты, можно было смело доверить собаку, а он охотно согласился натаскать ее, сказавши, что давно скучает по этой любимой им работе. В июне Ирма поселилась на базе, по выходным дням я приезжал в Любань, ходил вместе с Левоскиным и убедился, что не сделал ошибки.

В июле Ирма уже работала по боровой дичи, усвоила безупречный круговой поиск, была послушна и очень вежлива. Смущало одно: собака, безусловно, весьма чутыстая, на мой взгляд, отдавала слишком большое предпочтение работе по следу и мало пользовалась верхним чутьем. Виктор Федорович доказывал, что при охоте по тетереву выгодна именно такая работа, тем более, что погода стояла ясная, безветренная.

— Как ей искать верхом, если в лесу и листик не ше-

вельнется? — говорил он. — А я ее учу — по набродам путаться не позволяю, мало ли они на жировке насмородят (от старинного «смород» — смрад). Делай круг, попадешь на выходной след, а там только знай не сбивайся.

С каждым моим приездом я убеждался, что Ирма работает все увереннее. Не было ничего похожего на бешеную скачку, которую, почуяв следы выводка, устраивал Джек. Обнаружив наброд, она делала один-два небольших кружка, потом широким кругом обходила место жировки, выправив след, вела по нему и становилась. Если же выводок еще не ушел с кормежки, то можно было видеть и стойку вслед за начальной потяжкой. В этих случаях собака и тянула и стояла во весь рост, высоко держа голову, а не стелилась по земле, как делала, работая по следу. Недостатком следовой работы было, во-первых, то, что она, хорошо удаваясь Ирме утром, по росе, среди жаркого дня получалась плохо. Во-вторых, разлетевшихся и запавших молодых Ирма находила редко, еще не понимая, что они не дают следа и нужно искать их верхним чутьем, пользуясь каждой малейшей струйкой ветерка.

Судя по тому, как собака в день открытия охоты отнеслась к выстрелам и убитой дичи, Виктор Федорович уже немало пострелял из-под Ирмы. Она со времени моего последнего приезда научилась ложиться при взлете птицы, ожидая посылки. Помня суждение отца, я передал его Лешошкину. Виктор Федорович усмехнулся и ответил:

— Господа до революции непременно требовали «дауна», сейчас вкус другой, но на первых порах «даун» полезен. В дальнейшем отучить собаку от него не трудно, но ее поведение при подъеме дичи и выстреле останется спокойным.

Время показало, что прав был Лешошкин, а не отец. Ирма вскоре забыла команду «даун», но за всю жизнь не сделала броска к взлетевшей и даже упавшей после выстрела птице. Именно с ней мне не раз случалось брать из-под одной стойки, не сходя с места, трех и даже четырех тетеревов из выводка. Я стрелял, заряжал ружье, а собака только поворачивала голову в сторону не взлетевших еще птиц. За такую работу не жаль было пожертвовать аппортированием: Ирма не имела к нему никакой склонности, даже подстреленную птицу не ловила ртом, а прижимала лапами, либо вела по бегущему подранку и фиксировала стойкой, когда он затаивался.

Удивительно, что большая выдержка на охоте сочеталась у этой собаки с выраженными истерическими реакциями в домашней обстановке. Разнежившись от ласки

хозяина, она начинала капельками мочиться на пол, могла вдруг панически испугаться давным-давно знакомой ей каменной тумбы во дворе и т. п.

В течение двух лет я был вынужден содержать Ирму на базе охотхозяйства. По договоренности с егерем в мое отсутствие он мог сам охотиться с Ирмой, но не должен был использовать ее для обслуживания других охотников. Но не раз, добравшись со станции в Кирково, я встречал у базы городских охотников под командой Лешошкина, возвращавшихся после охоты с Ирмой. Хорошо, что она при небольшом росте и деликатном сложении была очень вынослива, — видимо, сказала большая, ежедневная тренировка. Только раз мне пришлось отказаться от охоты и серьезно поссориться с Виктором Федоровичем, когда я застал собаку совершенно вымотанной. При бережном отношении (четыре-пять часов охоты утром и два-три вечером) она могла работать неограниченное число дней подряд, не выказывая усталости.

А вот холод Ирма переносила плохо. Осенью, в дождливую погоду собака исправно работала и не зябла, пока дичь встречалась часто; попав на пустые места, быстро замерзала, пряталась под елку или в копну сена. Особенно плохо приходилось нам, когда Ирма жила уже у меня в городе. Кроме пути от леса до станции, нужно было еще дожидаться поезда. Моя сучка, закономерно спавшая с тела к концу сезона, скорчившаяся, поджавшая хвост, тряслась от холода и казалась особенно жалкой, а мне доставались попреки: «Сам небось колбасу жрал, а собаку голодом заморил» и прочее в этом же роде.

Выручила попонка из белой подкладной клеенки, крепившаяся вокруг шеи и под брюхом собаки, отлично защищавшая от дождя, ветра и критических замечаний публики. Ирма очень скоро привыкла к ней настолько, что я, начиная охоту, не снимал с собаки ее плаща — она так и шла в поиск. Очень оригинальное было зрелище, особенно забавно работал хвост, высовывавшийся из-под клеенки. Ни разу Ирма не зацепилась за куст и не оборвала завязок, которые на этот случай жена пришила нарочито непрочно.

Щадя собаку, я воздерживался от охот по осеннему бекасу и вообще по воде. Зато боровой дичью Ирма меня щедро вознаграждала. Впервые после Шкоды я получал от работы собаки полное удовлетворение, к тому же и стрелял хорошо. При этом образование Ирмы нельзя было считать законченным, и потребовавшиеся доработки доставляли большое удовольствие. Нужно было научить собаку

шире пользоваться верхним чутьем и ходить челноком по открытому месту, познакомить с красной дичью, серой куропаткой. Насчет последней я не беспокоился, не сомневаясь, что Ирма сразу начнет по ней работать.

Бекасы по топкому лугу вдоль Болотницы встречались, но местный вальдшнеп сидел еще в непролазной чаще, не было пока и дупелей. В первую очередь я занялся отработкой поиска челноком, используя глади (безлесные участки) мохового болота километрах в четырех от базы. Там жили два больших выводка белых куропаток — охота по ним еще не открылась. Отпуск позволял мне проводить на базе пять-шесть дней в неделю. Выбрав не слишком жаркий, с ветерком день, я с утра охотился по тетеревам, а когда просыхала роса, шел на глади. Методика обучения челночному поиску известна: не отпускать собаку далеко, идти широкими параллелями, прочесывая место против ветра, издалека доносящего запах самой птицы, так как утренние наброды уже успевали остыть. Хватило трех уроков. Ирма освоила новую манеру поиска и, продолжая в лесу работать на кругах, в местах открытых стала ходить челноком и пользоваться ветром.

По серой куропатке собака отлично сработала при первой же встрече. Начала она становиться и по бекасам, так что одного я убил из-под стойки. Практика была скудная, но положительно сказалась, когда Ирма встрети-лась с дупелями.

Дольше всего ей не давался вальдшнеп. С одной стороны, искать его приходилось в лесу, где она привыкла работать по следу, с другой — птица не оставляла выходного следа с места кормежки. Сделав круг и не найдя выхода, Ирма принималась разбирать короткие, запутанные наброды вальдшнепа и, случалось, спихивала его носом, либо он сам вспархивал где-нибудь рядом. Не было способа показать собаке, как нужно действовать. Тут требовался опыт, и на вторую осень Ирма сама все сообразила. Зачув вальдшнепа, она и на жировке не копалась, и выхода с нее не искала, а старалась поймать дуновение ветра, позволяющего обнаружить птицу верхним чутьем. Так работали наши воронежские собаки — Дайда, Мордан, Шкода. Ирма этим приемом овладела не столь хорошо, но достаточно, чтобы не возбуждать досады. Зато в работе по боровой дичи и серой куропатке Ирма равных в Ленинграде не имела. Не было случая, чтобы она прошла или спорола птицу, с ней я не потерял ни одного подранка.

Вот очень показательный случай. В конце октября 1938 года после охоты по куропаткам мы большой компа-

нией возвращались на базу. Ирма с поля потянула к лесу и стала в опушке. Из редких, довольно высоких мелочей далеко загремели тетерева, уже сбившиеся в большую стаю. Я успел выстрелить по ближайшему петуху, он свалился, явно подстреленный. Собака найти его не смогла — все на большом пространстве было исхожено «у тетеревов», как говорят в Ленинградской области. След подранка терялся в свежих набродах. Товарищи спешили к самовару, торопили и меня. Но слишком обидно показалось потерять тетерева, наверное последнего в этом году. Пройдя километра два, я вывел спутников на дорогу к базе, под начавшимся дождем вернулся и пошел в очень широкий обход кругом порубки. Вдали от набродов Ирма, несмотря на дождь, взяла почти часовой давности след, вела метров триста и стала на полянке перед маленькой, очень густой елочкой. Из ее хвои с одной стороны торчала лира хвоста, с другой черныш то высывал, то прятал свою краснобровую голову...

Весной того года меня призвали в кадры Красной Армии, я работал в Ленинградском окружном военном госпитале и получил при нем хорошую квартиру. Одновременное вступление в Военно-охотничье общество значительно увеличило число угодий, в которые можно было поехать. И в 1939, и в 1940 годах я прекрасно охотился, учил сына, уже получившего ружье — мой старенький «Клеман». Сколько наслаждения доставляла нам Ирма! Ей не хватало разносторонности — охоты по утке она не знала вовсе, по красной дичи, кроме дупеля, ходила хуже, чем Мордан и Шкода, но в работе по боровой дичи и куропатке — была великим мастером.

Когда началась Великая Отечественная война и Ленинграду уже грозила блокада, госпиталь эвакуировался в Вологду. Одним из первых эшелонов отправились наши семьи и хозяйственные службы госпиталя, в том числе его конный обоз. В теплушке, где ехало мое семейство, нашелся человек, возмущавшийся перевозкой собаки вместе с людьми. Было еще тепло, и сын устроился с Ирмой в сене, на открытой платформе. Ночью эшелон стоял на станции Мга, Ярослав крепко спал, собака освободилась от привязи, сняв просторный ошейник, и соскочила на землю. Взобраться назад она не могла, мальчик не проснулся, и состав ушел. На завтра Ирма оказалась в Ленинграде, пришла к опустевшей квартире. Вечером отправляли еще один эшелон, мои сослуживцы, ехавшие с ним, хотели отвезти собаку в Вологду, но комендант госпиталя не разрешил и застрелил Ирму из пистолета.

После расформирования Карельского фронта я оказался сперва в Вологде, откуда мои домашние уже уехали в Москву, затем волею командования очутился в Беломорске, потом в Петрозаводске, а с ранней весны 1948 года — в Польской Народной Республике, в Северной группе войск у маршала К. К. Рокоссовского.

Только поздней осенью при возвращении в Польшу из отпуска я уговорил сына отдать мне щенка, английского черно-пегого сеттера Рекса, увез его в Легницу, где натаскал эту свою последнюю собаку, и потом охотился с ней двенадцать лет. Родителями Рекса были Альфа (Мейзерова) и Лель (Суриной), ему исполнилось семь месяцев; у Ярослава он прошел дрессировку, но еще ничуть не изжил щенячьей дурости.

Любимым занятием Рекса была возня с его приятельницей — соседской кошкой. Приходя с работы, я непременно заставлял ее в холле под своей дверью, она тотчас шмыгала в комнату, и начиналась потеха. После того, как Рекс в мое отсутствие кое-что погрыз и порвал, я, уходя из дома, сажал его на цепочку. Кошка с точностью определяла окружность, недоступную для Рекса, ходила по ней взад-вперед, присаживаясь, била лапкой тщетно тянувшиеся к ней собачьи лапы. Когда ее кокетство доводило Рекса до рычания и лая, она вдруг прыгала, вцеплялась в его шерсть и они клубились по полу. Приходилось силой уводить собаку на прогулку — пес забывал даже, что ему давно требуется «на двор».

Мы ежедневно выходили из госпитального парка в поле, где почти всегда поднимали зайцев. Сперва Рекс бросался к вскочившему из-под носа русаку, всем видом показывая, что хочет с ним поиграть — может быть, принимая за необычную кошку. Окрик сразу его останавливал, а удивившись, что зайцы не желают с ним знакомиться, он прекратил попытки общения, а затем и вовсе перестал обращать на них внимание.

Приступать к натаске кобелей моложе года обычно не рекомендуется, но я не мог утерпеть. Известный мне выводок куропаток держался в получасе ходьбы от моей госпитальной квартиры, и соблазн показать собаке дичь был слишком велик. Куропатки оказались не по-октябрьски смирными. Рекс, весело носившийся по полю, влетел в самую середину выводка. Когда десятка полтора птиц с треском вырвались из бурьяна, он от изумления сел, прижал уши, растопырил передние ноги. Потом, побуждае-

мый командой «ищи!», нюхал землю, но ничуть не заинтересовался — все глядел вслед улетевшим за бугор птицам. Мы еще раз подняли этот выводок — повторилось все то же.

Так и пошло день за днем: Рекс стал ходить челноком, но натыкался на куропаток, неожиданный шумный взлет ошеломлял его, он провожал выводок глазами, а запаха словно не улавливал. За десять или одиннадцать выходов я не добился ничего. Наконец однажды он что-то почувствовал, пошел против ветра на запах, куропаток спорол, но принялся старательно обнюхивать место, где они сидели, и, видимо, понял, что его главное оружие — чутье. Через три дня я с великой радостью наблюдал, как собака, прихватив, потянула по всей форме, стала, а затем легла на стойке, высоко подняв голову.

Рекс начал работать день ото дня все увереннее. Еще через неделю я решился пойти с ружьем, убил из-под него куропатку. Что это было! Собака видела, как свалилась птица; она даже мордой припала к земле, а по команде «вперед!» поползла на брюхе к упавшей куропатке и стала над ней, уже выпрямившись, вся дрожа. Рекс был так возбужден, что, посланный в поиск, начал метаться вне себя от азарта. Пришлось уложить и успокоить его. То же повторялось в дальнейшем при каждом выстреле, по одному в день, к счастью всегда удачному. На пятой куропатке Рекс преподнес мне сюрприз. Он сработал по выводку недалеко от канавы, заросшей довольно высокими кустами. После выстрела птицы залетели за них, ни одна не упала.

Раздосадованный промахом, я дал собаке передохнуть и направился за выводком. Идя вдоль кустов, Рекс круто повернул и скрылся за ними — видно, причуял что-то, хотя куропатки не могли сесть так близко. Я пошел за собакой, но еще не достиг канавы, как Рекс появился из кустов с куропаткой в зубах страшно довольный. А я, как дурак, обрадовался — собака сама додумалась до аппорта! И когда на следующий день Рекс самовольно побежал за упавшей птицей, я не остановил его, позволил взять и принести куропатку и приласкал.

Это была большая ошибка, имевшая дурные последствия. Но меня тревожило тогда другое: случалось, что куропатки, покормившись на одном месте, затем перелетали. Попав на уже покинутую кормежку, Рекс начинал тянуть, делать стойку за стойкой, много раз проходя одно и то же место, а я следовал за ним с ружьем наготове. Кончалось тем, что приходилось брать собаку к ноге и

уводить на другой участок поля. Все это я приписывал неопытности собаки и истинную причину выяснил много позже.

Значительно более четкую, без пустых потяжек и стоек работу Рекс показал, встретившись с фазанами. Эта последняя в сезоне охота проходила в пойме Одры, на ней и обнаружилось отвращение собаки к утке. Из трех убитых крякв она не согласилась прикоснуться ни к одной, хотя в этот же день, не задумываясь, подавала фазанов. Только на следующий год рассказ сына о том, как крепко досталось Рексу за нападение на подсадную, объяснил мне его поведение.

В 1949 году охота по водоплавающей и болотной дичи открылась в Польской Народной Республике рано — с 15 июля. Утка мало меня привлекала и сама по себе, и из-за Рекса, никак не желавшего иметь с ней дело. Но нужно было познакомить собаку с бекасом. Хороших болот в окрестностях Легницы не оказалось, удалось найти лишь одну местами болотистую луговину километрах в четырех от города. Место было небольшое — часа на два неторопливого хождения, бекасов оказалось мало. Рекс сперва не смекал, согнал без стойки трех подряд. Но мне посчастливилось взять их всех, а по четвертому и пятому собака сработала и оба тоже были убиты. Жаль, что бекасов на этом месте не осталось.

Охота по куропатке и фазану начиналась не скоро — с 1 сентября; я взял отпуск и уехал с Рексом в Москву, а оттуда мы с сыном отправились в известные ему по студенческой практике богатые тетеревом места в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Там дичи было и в самом деле много, но в связи с неурожаем лесной ягоды вся птица — не только тетерев, но и белая куропатка — кормилась в полях: на льне, картофеле, овсах, даже по жнивью. Мы это поняли не сразу, два дня истратили на напрасные поиски в лесу, потом сообразили и охотились в поле, вдоль опушек, а иногда далеко отходили от леса — дичь встречалась и там. Рекс сразу освоил тетерева, но работал очень неровно. Не раз он без конца ковырялся на одном месте, делал бесчисленные пустые стойки, пока я, потеряв терпение, не отзывал его. Но случалось и так: среди чиста поля нам встретилось круглое, небольшое — менее ста метров в диаметре — обсохшее кочковатое болотце, частично моховое, частично травяное. По этому пятачку Рекс елозил добрых полчаса, стойки следовали одна за другой. Я вызвал собаку из болотца и с нею обошел его кругом — выходного следа не было, видимо, пти-

цы отсюда улетели. Рекс снова принялся копаться в кочках, мы хотели уже забрать его и уйти, но тут на самом краю кочкарника, у куста высокой травы он стал — словно уперся. Сын даже не последовал за мною, когда я, всячески ругая собаку, подошел, чтобы взять ее на сворку и увести с заколдованного места. Пара тетеревов взлетела так неожиданно, что я сам удивился, убив обоих. Такой же примерно волынкой собака измучила нас, путаясь на набродах небольшого выводка белых куропаток, но и тут дело кончилось взлетом и нашими удачными выстрелами.

А вместе с тем были и прямо-таки блестящие работы. Так, однажды, на довольно высоком месте, в полукилометре от леса Рекс шел галопом в полветра, с полного хода лег и замер с картинно-поднятой, повернутой на ветер головой. Выводок тетеревов кучно взлетел из овса за широкой наезженной дорогой, метрах в тридцати от собаки.

Огрехи в работе Рекса меня мало расстраивали — ведь он только что начал свое второе поле, притом первое было очень недолгим, чуть больше месяца, а охота за Кубинским озером шла как-никак успешно — за пять дней мы взяли вдвоем пятьдесят семь голов боровой дичи. Но плохо было, что взлет птицы и выстрел по ней стали все больше горячить Рекса; он начал швыряться вперед, каждый раз приходилось кричать на него и окрик действовал, если птица улетаала, к упавшей же он мчался неудержимо, спеша найти убитую или поймать подранка и принести мне. Только тут до меня дошло, какую ошибку я сделал, слишком рано позволив Рексу изведать наслаждение от аппорта. Я не предполагал, что стремление к нему так сильно у сеттера, что его и учить подаче не приходится. Чрезмерное пристрастие к аппортированию стало, очевидно, и причиной срывов Рекса со стойки при виде бегущей по земле птицы.

По возвращении в Легницу я прекрасно охотился с Рексом, вскоре добился того, что его броски после промаха прекратились, но удержать порыв собаки при падении птицы удавалось еще далеко не всегда. А потом я счел было, что Рекс как охотничья собака погублен. Он стал по переместившимся, обстрелянным при первом взлете куропаткам; они поднялись далеко, я все же выстрелил, как показалось, мимо. Собака, оставшаяся на месте, следила за выводком и вдруг пустилась вдогонку. Я кричал, свистел — погоня, к полному моему отчаянию, продолжалась, такого не было еще никогда. Птицы отлете-

ли уже далеко, были едва видны. Там, вдали, Рекс пометался на жнивье и вернулся ко мне с куропаткой в зубах. У меня отлегло от сердца: он гнал не от горячности, а сознательно, распознав, что птица тяжело ранена, как Мордан бывало замечал ранение зайца.

И потом Рекс не раз повторял такую же гонку, в лесу мог уйти из вида, но непременно возвращался с добычей. Это помогало наполнить ягдташ, а все же я предпочел бы, чтобы собака ограничивалась подачей из воды, но работала бы с большей выдержкой. Ведь Ирма не аппортировала вовсе, но на суше ни разу не потеряла упавшую птицу. А пристрастие Рекса к аппорту иногда выходило боком.

Запомнился, например, такой случай. При стойке в довольно густом молодняке поднялась тетера и пара молодых, после выстрелов один упал, второй, роняя перья, улетел в высокий лес, собака бросилась за ним, споров третьего. Не дозвавшись исчезнувшего Рекса, я начал сам искать убитого петушка и спугнул четвертого. Наконец, возвращается собака, тащит петушка и, не добежав до меня, спарывает еще одного. Но это случилось уже в 1952 году, а мы вернемся к 1949-му.

Что Рекс был подпорчен моим нетерпением, желанием поскорее перейти от натаски к охоте, а главное, недооценкой вреда преждевременного поощрения аппорта, убедительно доказывается отношением собаки к зайцам. Я не стрелял их, пока Рекс, повидав много десятков русаков, не усвоил, что заяц — не его дело. Даже неудавшийся первый опыт прошел безнаказанно: русака я подстрелил и долго не мог добить — он то бегал, то присаживался, а плохого качества патроны вместо выстрела шипели. Рекс же все происходящее воспринял как самую веселую игру — вертелся то вокруг меня, то вокруг зайца, прыгал, прилегал к земле, тявкал, а когда ружье наконец выстрелило нормально, то не проявил никакого интереса к убитому русаку.

После этого я перестал стесняться и за осенне-зимний сезон 1949/50 года убил при нем много зайцев. По некоторым Рекс даже стоял, но ни за одним не погнался, ни одного убитого не тронул, подранков ловить не пробовал.

Вернувшись в Польшу, после охот в Вологодской области, Рекс неплохо работал по куропаткам, хотя, как и прежде, огорчал пустыми стойками и длительными потяжками по месту, где ничего не было. С фазанами дело шло несравненно лучше; они, кормясь, не перелетают с места на место, а переходят пешком, оставляя длинный, сравнительно прямой след.

В конце той осени не стало моего отца, самого близкого друга, воспитателя, незабвенного наставника. Он скончался после почти двух лет тяжелой, мучительной болезни. Маршал Рокоссовский, которому Воронежский обком партии сообщил о тяжелом состоянии папы, предоставил мне самолет. Но погода задержала вылет на сутки с лишним, и я опоздал — успел только на похороны. Многие сотни воронежцев провожали в последний путь своего депутата в Верховном Совете, самого известного и уважаемого врача города и области. Был на похоронах и брат мой Юрий; на завтра мы с ним поехали в Лосево, обошли Борную поляну, озера и болота, где так часто охотились с папой, — справили по нему охотничью тризну. Юра даже убил в его память запоздавшую утку на озере, где отец, бывало, любил постоять на вечернем перелете.

Летом 1950 года окончился срок моей службы за границей. Последующие девять лет мы с Рексом охотились в Подмосковье, под Воронежем, выезжали в Весьегонское хозяйство, побывали в Костромской области, Карелии, Киргизии. Тетеревиные выводы долго оставались для Рекса камнем преткновения. Причина обнаружилась не скоро, когда сын приобрел и натаскал пойнера Боя, собаку талантливую, с великолепным чутьем. Много раз случалось так: Рекс очень долго и безрезультатно разбирается в набродах, путается, ползает по одному и тому же месту, а подойдет сын, и Бой за одну-две минуты найдет выводок тут же рядом. Стало ясно, что Рекс просто недостаточно чуткист. Для работы верхом на открытом месте и при ветерке ему хватало обоняния, но если требовалась следовая работа — он пасовал, не мог отличить старые наброды от свежих, а главное — определить, в какую сторону след становился горячее. Только к восьмому году жизни, накопив большой опыт, Рекс научился обходиться своим слабым чутьем при работе по тетереву. Но все же наибольшее удовлетворение доставляла охота с ним по дупелю, бекасу, вообще болотной мелочи и по куропатке — тут он всегда был на высоте.

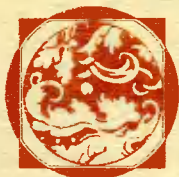
Уступая по полевым качествам Мордану, Шкоде, Ирме, Рекс в домашней обстановке проявлял поистине выдающийся интеллект. Видимо, этому способствовала наша долгая жизнь вдвоем, с глазу на глаз. Он мог, например, прибежать ко мне за помощью, ясно давая понять, что у него между зубами застрял осколок кости или что в лапу впиалась заноза. По одному моему слову или действию Рекс понимал, чего я хочу от него и даже от другой собаки.

С верхнего этажа коттеджа от соседей к нам часто приходил Джон, шестимесячный щенок — овчарка. Рекс встречал его приветливо, охотно с ним играл, но держал в строгости: не разрешал грызть мои вещи, взбираться на кресла, на диван. Раз, вернувшись с охоты, я оставил убитых зайцев на полу в холле, и, спустившись по лестнице, Джон набросился на них — сперва слизывал кровь, потом принялся рвать русака. Рекс спокойно наблюдал из соседней комнаты. Я оттащил щенка, надавал ему шлепков и прогнал наверх. Но он вскоре вернулся и опять вцепился в зайца. Тут Рекс вскочил, ухватил кровожадного звереныша за шиворот, оттрепал его, лег около зайцев и рычанием отгонял Джона, пока тот не убрался восвояси.

В свое двенадцатое поле пес, не утратив ни чутья, ни увлеченности работой, явно ослабел физически. Ему трудно стало ходить по очень топким местам, по высоким кочкам, он быстро уставал. Хорошо, что от моей дачи на Бисеровском озере в Купавне до угодий Военно-охотничьего общества было всего два километра. 14 сентября 1959 года в середине охоты я заметил, что у энергично работающей собаки временами словно бы подкашиваются и заплетаются ноги. Мы повернули к дому. В последнем на пути небольшом, но вязком болотце Рекс блестяще с долгой потяжкой сработал бекаса, после выстрела направился к упавшему, но тотчас опять стал по погоньшу, одну за другой аппортировал обеих птиц из трясины и лег рядом со мною.

Я сел, выкурил сигарету. «Ну, все! Пошли домой!» Собака хотела подняться и не смогла — отнялись задние ноги. На плечах я донес Рекса до озера, уложил под кустом и побежал на дачу за лодкой, но когда приехал на ней за Рексом, у него парализовалась и передняя половина тела, а дома и шея — он мог только следить за мной глазами... Потом начало слабеть дыхание. К вечеру все было кончено — не стало моей не самой лучшей, но самой милой собаки. А ведь всего несколько часов назад я видел ее на стойке и стрелял из-под нее. Над озером, под старой одинокой ольхой я похоронил Рекса, салютовал над могилой двумя выстрелами и, признаться, не удержал слезу.

Натаскать новую собаку мне уже не удалось бы — болота в районе Бисерова следующим летом превратились в пруды рыбкомбината, водоплавающая дичь сменила болотную. С 1960 года я по части собак перешел на иждивение сына. А крылышко последнего убитого с Рексом бекаса, приклеенное к страничке, до сих пор хранится в охотничьем дневнике.



РУЖЬЯ

Еще мальчиком при первых поездках в Полубянку я был поражен разнообразием охотничьего оружия, почувствовал красоту и особую привлекательность некоторых виденных там ружей. Члены Полубянского кружка в большинстве имели хорошие ружья, в числе которых были и очень ценные. Удалось воочию познакомиться с изделиями Лебо, де Фурни, Скотта, Гринера и ряда других крупных мастеров. Один из полубянцев приезжал с ружьем центрального боя работы тульских оружейников. Эта двустволка 12-го калибра была похожа на лучшие курковые ружья Зауэра, но превосходила их массивностью и вместе с тем изяществом очертаний. Кто-то из охотников, любуясь мощным видом ружья, сказал: «Ну, этому сноса не будет», — и не ошибся. Я знаю две-три «тулки» с двуглавым орлом на стволах; они исправно служат внукам охотников, купивших их около семидесяти лет назад.

Именно арсеналу полубянцев я обязан своим, на всю жизнь сохранившимся отношением к охотничьему оружию. Для меня хорошее ружье — не просто надежный инструмент для стрельбы, но и произведение искусства, которым любишься, как любят шедеврами живописи и скульптуры. Конечно, эстетические требования к работам живописца, скульптора, оружейника меняются с годами и поколениями, изменяются вкусы, приходят новые моды.

Станным, даже нелепым казалось, например, ружье Н. А. Янушевского. Оно имело колодку, полностью до самого цевья заделанную в дерево ложи, что вместе с очень высокими курками придавало ему вид шомпольного — курки заслоняли помещенный между ними гринеровский ключ затвора. Мало того, на стволах стали Витворта был вытравлен узор, имитировавший букетный дамаск. Эту своеобразную, отнюдь не дешевую модель английская мастерская Вестли Ричардса изготовляла одно время в угоду последним «консерваторам», находившим «централки» безобразными по сравнению с привычными шомпольными ружьями.

Мой дед А. Н. Дунаев, всю жизнь охотившийся с курковыми ружьями, возмущался внешностью бескурковых,

называл их комолыми коровами, говорил, что они на настоящее ружье похожи так же, как свинья на пятиалтынный.

А мне кажутся уродливыми многозарядные одностволки системы Браунинга, Винчестера и пр., а особенно бокфлинты даже самого высокого разбора и нарядной отделки. По-моему, это не ружья, а стреляющие устройства, тогда как более молодые охотники, видимо, в них умеют найти красоту и мирятся даже с неудобствами ношения бокфлинта на сгибе локтя, а тем более на плече планкой вниз, готовым к быстрому перехвату на руку для вскидки.

Мои вкусы окончательно сложились за несколько лет близкого знакомства, даже дружбы, с А. С. Яковлевым — охотником и в двадцатых годах лучшим в Воронеже оружейником-кустарем. У него я повидал много хороших ружей и многому от него научился. Собственное отношение Андрея Сергеевича к охотничьему оружию лучше всего характеризует такая его фраза: «Ничего не скажешь — отличное ружье и смотрелось бы хорошо, да вот антабка на прикладе все портит». И на мой вопрос: «Почему?» — ответил: «Неужели не видите, слишком низко посажена. Вот как бывают женщины: сама красавица, а ножки коротенькие».

Работа с ружьями была для Яковлева не просто ремеслом, а горячо любимым делом. Охотнее всего он брался за реставрацию ружей ценных, но очень обезображенных внешне или даже пришедших в негодность. Из его золотых рук они выходили настолько омоложенными, что выглядели как новые и служили потом долгие годы.

Благодаря Андрею Сергеевичу, я начал понемногу разбираться в достоинствах и недостатках двустволок, понял, что отличие ценных ружей работы больших мастеров от более дешевых изделий широкого потребления не в красоте отделки, даже не в резкости и кучности боя, которыми обладают и многие недорогие ружья, а в долговечности. Для ружья дорогого, штучной работы, тридцать-сорок лет интенсивной охоты — далеко не предел. Долговечность присуща лучшим, наиболее дорогим моделям Лебо, Франкотта, Новотного, других прославленных оружейников, не говоря уже о корифеях — Дж. Перде и Голланда-Голланда. Джон Хантер в своей книге «Охотник» об изделиях Перде отзывался так: «По-моему, дробовое ружье фирмы «Перде» — самое лучшее из всех когда-либо изготовленных человеком». Если эта оценка и преувеличена, то не намного.

Из отечественных оружейников на первом месте стоял

Ф. Мацка. К сожалению, мне не довелось видеть ружья его работы.

Что касается массовой продукции, то недорогие, но надежные по прочности и бою ружья выпускала бельгийская фирма Пипера. Его курковые «Диана» и «Баярд» были очень популярны в царской России и до сих пор сохранились у ряда советских охотников. Наибольшую и, надо сказать, заслуженную известность завоевал у нас Зауэр; имя его сейчас одно из немногих, знакомых большинству наших молодых охотников. О ружьях тульских мастеров я уже говорил. Приятно отметить, что при Советской власти тульские оружейники более чем поддерживали свою высокую репутацию. Так «тулка» выпуска 1927 года клейменная еще не треугольником «ТОЗ», а Государственным гербом СССР, заметно облегченная по сравнению с «императорской» моделью, обладала, однако, большой прочностью. Я охотился с этим ружьем более девятнадцати лет.

Современных отечественных ружей я не имел, но, наблюдая со стороны, мог убедиться в их высоких качествах.

Срок службы любого ружья — и очень ценного и недорогого — во многом зависит от обращения с ним владельца. Неосмотрительность, небрежность могут стать причиной тяжелейшего повреждения и просто гибели совершенно нового ружья. Однажды на моих глазах охотник, вдоволь нахваставшись своим новеньким, действительно хорошим английским ружьем, положил его на тент моторной лодки. От тряски на ходу по волнам Одры оно поползло с туго натянутого брезента, достигло края и — бултых! Никто не успел вовремя его подхватить, достать со дна, конечно, тоже не удалось.

Другой случай. Привал в лесу, закуска, разговоры; решено переехать на другое место. Водитель, разворачивая автобус, немного подал машину назад, прямо на ружье одного из охотников, прислоненное к пеньку у самого заднего колеса. В результате, только что полученный, на заказ сделанный «Зауэр» стал смесью щепок и искореженного металла.

Но все это чрезвычайные происшествия.

Много чаще причиной серьезного повреждения ружья бывает горячность охотника, особенно в сочетании с недостатком опыта.

От разрыва ствола, закупоренного снегом, пострадал «Лефоше» в руках моего дядюшки. Однако большинство известных мне случаев разрыва было обусловлено пыжом,

оставшимся в стволе после затяжного выстрела бездымным порохом. В Польше мы широко пользовались готовыми патронами немецкого производства, часть которых утратила годность. Они вместо выстрела пшикали, фукали, дробь сыпалась на землю, а пороховой пыж иногда оставался в чоке. И у меня ружье не раз шипело. Я непременно просматривал канал ствола и дважды обнаруживал оставшийся в нем пороховой пыж. Правда, мне в свое время уже пришлось пережить последствия обтюрации ствола пыжом, но при совсем особых обстоятельствах — о них речь впереди.

Перелом шейки ложи — неизбежный результат попытки добить раненого зверя прикладом. Подобное варварское обращение с ружьем непременно ведет не только к поломке, но может оказаться гибельным для самого охотника. Если ружье заряжено, то от сотрясения при ударе, курок может сорваться с боевого взвода.

К сожалению, в современной, правда, не охотничьей литературе можно встретить описание вроде следующего: охотник обнаружил вооруженного нарушителя границы, подстерег его, запер предохранитель своего бескуркового «Зауэра», взял ружье за стволы и, размахнувшись, обрушил приклад на голову врага. Тот упал, оглушенный, а ружью — хоть бы что. Прочитает это юный охотник и, не задумываясь, грохнет прикладом по зайцу или лисе. Между тем, даже очень прочная шейка винтовки военного образца не выдержит, если ударить оружием, как дубиной, держа его за ствол.

Стрельба тяжелыми патронами, дающими неприятно сильную отдачу, ускоряет расшатывание ружья. То же относится к некалиброванным, с трудом идущим в патронник, гильзам. Наконец, хороший уход за оружием, борьба с оржавлением, особенно с образованием раковин в стволах, обязательны для долгой сохранности оружия.

По своему отношению к оружию охотников можно разделить на три категории. Первая, пожалуй, самая многочисленная группа, требует от ружья, чтобы оно было прикладисто и посадисто, то есть сбалансировано, и при вскидке его вес равномерно распределялся бы на обе руки, чтобы работало без отказа, поражало дичь чисто, не давая подранков. Этих охотников может удовлетворить всякое современное ружье, прочно изготовленное, серийного производства.

Для остальных охотников, помимо рабочих качеств, важны требования эстетики.

Одни, составляющие вторую категорию, ценят в ору-

жии пышность убранства, любят, например, сюжетную гравировку с рельефным, особенно золоченым, изображением охотничьих сцен, собак, куропаток и т. п. Это — на металлических частях, а на деревянных — инкрустированные из слоновой кости или перламутра головы кабанов, оленей и пр. Подобные украшения характерны, главным образом, для дорогих немецких ружей; очевидно, они находят любителей среди своих соотечественников.

Наконец, охотников третьей категории привлекает не роскошь оформления ружья, а его очертания, если они сами по себе настолько изящны, что всякого рода броские украшения на металле лишь затушевывают совершенство линий, а изысканная скромность внешней отделки его подчеркивает. То же относится и к ложе, в которой ценят красоту формы, цвет и рисунок дерева, считая, что она может только проиграть от попыток украшательства. Даже если изобразить такое ружье в виде черного силуэта, то сохранится впечатление благородной простоты, стройности и как бы устремленности.

К этой категории охотников я причисляю и себя. Моим вкусам в наибольшей степени соответствуют ружья английского типа, ложа которых не имеет пистолетного выступа, нарушающего строгую простоту контура. Лучшие бельгийские оружейники выпускают высшего разбора ружья, сработанные по моделям прославленных английских фирм, особенно Дж. Перде, применяя и гравировку английскую — тонкую неглубокую резьбу с рисунком, воспроизводящим кружевное сплетение маленьких стилизованных розочек. Таков, например, мой «Франкотт». Было у меня ружье Огюста Лебо, сделанное под Голланда-Голланда, только с пражской гравировкой — с более крупным и рельефным рисунком, изображающим ветви и листья растений. Высококачественные штучные ружья того же типа создает и наша отечественная ружейная промышленность, притом с разнообразными видами гравировки на всякий вкус, в том числе и сюжетной.

Перейду к собственным ружьям. Свои первые два — «Лефоше» и «Клемана» — я описал уже достаточно подробно. О «Клемане» нужно добавить, что дедушка Дунаев ошибся, аттестуя его как «фундаментальное». По совести, только било оно очень хорошо, сделано же было, прямо сказать, халтурно. Крышки бойков сами собой отвертывались, их нужно было раза два в год завинчивать до места. В 1924 году пришлось ставить новый болт, еще раньше сменить экстрактор. А в 1925 году я ружье искалечил, чуть не погубив совсем. Виною была недостаточная освеще-

домленность о каверзе, которой можно ждать от металлических гильз, ну и, конечно, охотничья горячность.

Хотя у меня был очень большой запас многострельных папковых (бумажных) гильз самого лучшего качества, но он уже исчерпался и пришлось перейти на латунные. В Октябрьские праздники я охотился на реке ниже города. Перед рассветом полил мелкий, назойливый дождик, пролетная утка совершенно не шла. Попусту отстояв утреннюю зарю, начал обходить пойменные озера. Дождь продолжался, ружье у меня висело на ремне стволами вниз. После нескольких часов бесплодной ходьбы я увидел на середине широкого плеса стаю чернетей, снял ружье и подкрался к берегу. Утки плавали почти вне выстрела. Не сводя с них глаз, согнувшись за прибрежным камышом, я сменил в стволе «пятерку» на «два нуля» и выстрелил. Отдача чуть не сбила меня с ног, в воздухе что-то пронзительно завизжало... Дульный конец ствола был разворочен на протяжении пяти сантиметров, стволы погнуло. Не было предела моему горю, стыду и недоумению. Я был уверен, что не задевал стволами за землю и понял причину беды только дома. В патронташе обнаружилась нестреляная медная гильза с зарядом пороха, но без дробы — лишь несколько дробинок пятого номера прилипло к просаленному пороховому пыжу. Значит, в ружье, висевшем стволами вниз, дробовой пробковый пыж при долгой ходьбе сместился и вместе с дробью ушел до чока — разорванная стенка ствола была изнутри словно обмазана толстым слоем свинца.

Спасти «Клемана» взялся все тот же А. С. Яковлев. Укоротив стволы на шесть с небольшим сантиметров, он идеально их выправил. Странное дело: кучность боя уменьшилась немного только за счет потери чока, а резкость не пострадала. В течение трех лет «Клеман» служил мне исправно, а потом начал сдавать — живил. Но прежде чем это вполне определилось, я весной 1928 года выстрелом из него изуродовал свое первое ружье «Лефоше», только что переданное моему подростшему брату Саше. Ужасно неприятно, совестно вспоминать это происшествие, но рассказ о нем будет бесполезен для молодых охотников.

Виноваты были мы оба, трудно даже сказать, кто в большей степени. Охотились с подсадными из одной лодки. Саша был на первых ролях. Я усадил его на дно лодки в носу, вся подсевшая дичь предоставлялась ему с тем, что стрелять влет он не смеет. Сам же я сидел у него за спиной на кормовом порошке, руководя им и маня в ду-

дочку чирков, но они куда-то исчезли. Когда уже всходило солнце, прилетел матерой селезень, такой вышколенный, что изводил нас добрых полчаса. Он кружился, улета, опять кружил, несколько раз проходил невысоко над самым куренем, стараясь заглянуть в него, заметить лодку не мог, а сесть к уткам все же не решался. Они, бедняжки, совсем надорвались, подзывая осторожного кавалера непрерывными осадками.

Терпение мое истощилось — селезень своим тревожным поведением отогнал бы даже чирка. Встать в лодке и показаться ему? Но уж очень соблазнительно он летал через курень, прямо лез под выстрел. Ну, хорошо же! Я раздвинул верх шалаша и ждал. Вот он опять летит со стороны носа лодки, идет точно «на штык», низко. Немного не допустив его до шалаша, я ударил. Выстрел прозвучал как-то необычно, матерой рванул в сторону и ушел. Саша же вдруг сказал:

— Вот! А ты говоришь, что твое ружье плохо бьет! — Концы стволов у «Лефоше» были как зубами отгрызены. Братец, забыв наставления, тоже надумал пальнуть по налетающему селезню и поднял ружье вертикально, прямо под мой выстрел. К счастью, никто из нас не пострадал от рикошета дроби.

С тех пор, если приходилось весной сидеть в лодке вдвоем — а это бывало не раз, когда начал охотиться мой Ярослав, — мы устраивались спиною друг к другу, а на выстрелы влет был установлен безусловный запрет. На осенних же перелетах стрелять двоим из одной лодки допустимо лишь поочередно. Совместная стрельба и опасна, и малоуспешна — один из стрелков непременно качнет лодку, помешав другому попасть в цель.

«Лефоше», уже однажды обрезанное, пришлось укоротить еще на несколько сантиметров. Оно получило прозвище Мушкетончик и убить из него что-нибудь было почти невозможно. По всей справедливости нужно было отдать Саше «Клемана», что я и сделал, как только накопил достаточно денег — помнится, 125 рублей, и по совету и при консультации Яковлева выбрал себе «тулку» — эти новые ружья только что поступили в воронежский охотничий магазин. С «Клеманом» же после Саши охотился следующий за ним брат, потом мой сын начинал охоту с ним. Наконец ружье пришло в полную ветхость и сейчас без боевых пружин и бойков хранится у меня как реликвия. Новое мое ружье, одного из первых после революции выпусков Тульского завода, служило мне до 1948 года, ни разу не потребовало ремонта, и я уступил его товарищу

в вполне исправном состоянии. Сразу после покупки А. С. Яковлев заменил его ложу, не очень мне прикладистую. С этой ложей высококачественного темного ореха и английского фасона ружье приобрело настолько нестандартную внешность, что его тульское происхождение можно было с уверенностью определить только по клеймам. Бой «тулки» вполне меня удовлетворял, пока я не столкнулся с гусями, которых даже со средних расстояний ружье определенно не брало, в чем я убедился, стреляя по сидячему гусаку с дистанции считанных шестидесяти пяти шагов.

Вскоре после этой первой гусиной охоты я при служебной поездке в Москву купил по случаю недорогое, очень приятное на вид бескурковое ружье, тоже 16-го калибра, малоизвестной льежской мастерской «Братья Тэат», легкое (2,7 килограмма), хотя и долгоствольное. С ним много и хорошо охотился и очень к нему привык. Било оно заметно лучше моей «тулки». Из него-то я и убил первого своего гуся.

Меня не оставляла надежда в ближайшее время обзавестись собакой и использовать богатейшие возможности карельской охоты по боровой дичи. Я начал рассуждать о том, что для стрельбы в лесу «Тэат» с его семидесятипятисантиметровыми стволами длинноват. Это была сущая чепуха. Впоследствии, охотясь с Рексом по фазану, тетереву, вальдшнепу, я никогда не ощущал неудобства от длинных стволов «Тэата», очевидно, все искупала замечательная прикладистость ружья. Оно, кроме того, очень далеко и точно било пулей. Если сказать правду, мне просто хотелось иметь что-нибудь близкое к уровню тех пленивших меня ружей, которые случалось видеть в Полубянке и у Яковлева.

Ранней весной 1947 года, будучи в Москве, я купил еще одно ружье — бескурковый «Франкотт» 12-го калибра, самую ценную из моделей этого выдающегося оружейника, имитирующую ружья Перде, но с очень короткими — всего 66 сантиметров — стволами, оба слабые чоки. Возраст ружья можно было определить довольно точно по надписи на стволах: «Для А. Биткова в Москве». Как известно, Льеж был разрушен в 1914 году, а после войны Биткова уже и в помине не было, значит, я увидел в комиссионном магазине «Франкотта», когда ему насчитывалось минимум тридцать три года. Ружье было в полном порядке, не имело никаких следов ремонта, хотя почти совсем стершаяся нарезка на дереве да поблекший цвет стволов у дульного среза показывали, как много с ним охотились.

Казалось, это именно то, что нужно для охоты в лесу. Однако все вышло по-другому. Ружье било слишком кучно для стрельбы накоротке и вместе с тем чрезвычайно резко. Особенно хорош был бой дробью № 3 и крупнее. К тому же изрядный вес (3,2 килограмма) позволял применять сильные патроны. Так «Франкотт» стал моим основным ружьем для охоты по гусям, по поздней осенней утке, по зайцу.

Приобретение «Франкотта» не утолило моего страстного стремления к хорошим ружьям, даже усилило его. Вернувшись из Польши в Москву и вскоре заняв профессорскую должность, получая при этом крупные авторские гонорары, я был близок к тому, чтобы стать коллекционером охотничьего оружия. Но иметь ружье, из которого не стреляешь, все равно что держать охотничью собаку в качестве комнатной. Мои же охотничьи возможности при московской жизни год от года сокращались. «Франкотта» и «Тэата» мне за глаза хватало. А все же я с 1953 года купил еще три ружья самого высокого разбора — все 12-го калибра.

Впрочем, больше четырех ружей одновременно у меня никогда не бывало, да и то недолго. Приобретенное в 1953 году ружье Лебо, самого знаменитого из крупных бельгийских фабрикантов ценного оружия, я через несколько лет подарил сыну, получившему степень кандидата наук, он и сейчас много с ним охотится. В 1958 году расстался я и с «Тэатом», зато стал обладателем другого, по мнению знатоков, лучшего моего ружья. Оно вышло из лондонской мастерской Генри Аткина, о котором я до тех пор не слышал.

Специалисты объяснили, что этот Аткин долгое время работал у Перде и, отделившись, получил разрешение помечать свои изделия: «Г. Аткин от Перде». Ружья Аткина сделаны главным образом на заказ. Мое, выполненное с изумительным изяществом, вполне оригинальное, ничуть не походит на типичные изделия Перде и на другие известные мне ружья британских мастеров. Я могу подолгу любоваться им. Оно имеет очень длинные (77 сантиметров) стволы: правый — цилиндр, левый — получок, обладает выдающимся по резкости, а из левого ствола и по кучности, боем.

Ружье поистине универсальное: при небольшом для 12-го калибра весе (3 килограмма) оно позволяет варьировать заряд и снаряд от 1,8 грамма пороха и 28 граммов дроби до 2,2 грамма пороха и 32 граммов дроби, так что я очень удачно стрелял из него по любой дичи, от гаршнепа до гуся и глухаря, а крупной картечью свалил кабана. Позд-

ние осенние кряквы не раз падали «из-под самых облаков», мертво битые дробью № 5 и даже № 6. Единственное его неудобство — нередкое у англичан — отсутствие антабок; при охоте с лодки лучше иметь ружье с погоном — уронив за борт, его можно достать со дна даже веслом.

Наконец, в 1962 году приобрел я давно желанное ружье Перде — прекрасное оружие, хотя и не такое очаровательное, как «Аткин», и для меня уже тяжеловатое, садового типа, но с блестящим боем особенно мелкими (до № 5) номерами дробы.

Любуясь «Перде», я охотился с ним редко — все труднее становилось точно вскинуть тяжелое ружье, старость давала о себе знать. Когда высшая аттестационная комиссия утвердила докторскую диссертацию сына, я решил, что если кандидату достаточно было «Лебо», то доктор биологических наук заслуживает «самого лучшего из когда-либо изготовленных человеком». Так приятно вспомнить, какую радость доставило оно моему наследнику, какое впечатление произвело на собравшихся за торжественным столом гостей-охотников и какие великолепные выстрелы делал из него Ярослав, обновляя подарок на Астраханских перелетах.

Итак, мне посчастливилось владеть несколькими шедеврами оружейного искусства и наслаждаться охотой с ними. Жаль, конечно, что достигнуто это было поздно, когда условия жизни, а затем и возраст не позволили пострелять из них хотя бы полстолько, сколько я стрелял в молодости из гораздо менее совершенного оружия. Но и те свои скромные ружья вспоминаю с нежностью и благодарностью.

Пора бы забыть, но вот уже почти пятьдесят лет я горюю о том, что не мог стать обладателем ружья де-Фурни, самого красивого из всех, виденных мною когда-либо. Бескурковое, 12-го калибра, изящное и вместе с тем массивное, оно было сделано на английский фасон, но с пражской гравировкой: листья чертополоха на металле колодки и замков, оксидированном в темно-желтый цвет, удивительно гармонизировавших с шоколадного цвета стволами. А на прикладе светлого ореха был замечен отчетливый темный рисунок зайца, растянувшегося в прыжке. За это новое, только что купленное в Бельгии ружье просили 800 рублей — сумма тогда для меня совершенно недоступная. Но все это — в прошлом. Сейчас у меня сохранились «Франкотт» и «Аткин».



УДАЧИ И НЕУДАЧИ НА ОХОТЕ

Удача на охоте и успех охоты в целом — не одно и то же. Успех охоты определяется численностью дичи, особенностями ее поведения и размещения в угодьях, условиями погоды, квалификацией охотника и т. д. Учитывая все это, можно заранее оценить вероятность успеха предстоящей охоты.

Удача же непредсказуема, она — нечаянный драгоценный подарок судьбы, не зависящий ни от чего, кроме счастливых случайностей. Она приходит редко, но на нее постоянно надеешься, ее постоянно ожидаешь, и эта надежда — один из стимулов всякой охоты.

На мою долю охотничья удача выпадала восемь раз, не считая поимки черепахи в детстве.

1. В августе 1919 года я, новоиспеченный студент-медик и одновременно санитар госпиталя, сменившись с дежурства, приехал из города в Сосновку, съел тогдашний скудный обед и отправился на вечерний перелет. Мордан у нас еще не появился, охотиться приходилось почти исключительно по утке. Снаряженных патронов имелось только шесть, впрочем, и их едва ли удалось бы расстрелять за одну зóрю — уток было немного. Еще не добравшись до поймы Усманки, я истратил два заряда: чибисы, по обыкновению кормившиеся большой стаей в поле, на этот раз сплеховали. Выстрелами с предельно далекой дистанции я одного убил сидячего, а второго вышиб из стаи на подъеме.

Осталось четыре патрона — с этим все же стоило идти на перелет, бедный даже у ольховых резерваций. В отличном настроении, наслаждаясь ясным тихим вечером, я вышел на луга. Солнце еще не коснулось горизонта, путь до ближайшей ольхи недолог, можно было не спешить и обойти несколько попутных озер. Проверил одно, другое, третье, посвистал, похлопал в ладоши и ничего не поднял, а четвертым пренебрег. Оно было невелико — чистый круглый плес метров двадцать диаметром, окаймленный узкой полосой реденьких камышей. Проходя мимо, я глянул на освещенную низким солнцем стенку камыша: за ней что-то пестренькое быстро двигалось по воде. Мелькнула и скры-

лась четко обозначившаяся утиная голова. Я мгновенно выстрелил и тотчас пустил второй заряд вслед поднявшейся за клубами дыма крякве. Мимо! Экая досада!

Что же теперь делать? Стоять зорю с двумя патронами — глупо, возвращаться домой — рано. Пока я раздумывал, с озера донеслось какое-то бульканье, тихие всплески. Подбежал к берегу и обомлел: на воде лежало шесть матрок, какая на спине, какая на брюхе, одна слабо трепыхала крылом. Я, не раздеваясь, полез в неглубокую, до подмышек, воду и собрал уток — старую и пять молодых. Видимо, они сидели в осоке у берега, при моем приближении стали тихонько отплывать, сбившись в кучу, и выстрел накрыл их всех, кроме одной молодой.

Пока я разулся, разделся, вылил воду из сапог, кое-как выжал одежду, снова облачился — солнце село и идти к резервации было уже поздно, да и не хотелось стоять, дрожа в мокром платье, а главное рискуя испортить счастье огромной удачи промахом или потерей подранка. Да и возвращаться в темноте приятнее с заряженным ружьем. Я отправился домой и на ходу быстро согрелся. Каким прекрасным казалось все вокруг! И пылающий закат, и мелькание бесчисленных ласточек-береговушек, уже покинувших свои колонии в обрывах над лугом, и узкий серп молодого месяца, все яснее рисовавшийся в темнеющем небе.

2. Конец августа 1934 года. Приехав из Ленинграда на станцию Батецкая, я целый день бродил по лесу, заночевал во встретившейся деревушке, а с рассветом — опять в лес. Собаки у меня нет — Джек погиб прошлой осенью. Хотелось разведать эти совершенно не знакомые мне леса, поискать клюквенные моховые болота, брусничники, порубки — словом, места, где стоило бы побывать, когда заведу собаку. Вчера на двадцатикилометровом маршруте ничего такого я не обнаружил, да и крестьянин, приютивший меня на ночь, также не обнадеживал — вокруг везде глухие леса. А сегодня я затесался в такие дебри, что тоска взяла: старый ельник, заболоченный, заваленный множеством давно упавших деревьев, со стоящими дыбом вывороченными корнями, с ямами заполненными водой, с тростником на крошечных полянках, где нога, провалившись, цепляется за погрязшие в топи сучья. Измучившись на первых пяти сотнях метров, я только и мечтал выбраться из этой пропастины.

Наконец стало суше, начиналось более ровное место, поросшее сосной. За ним, впереди и справа, виднелись

стены все тех же елей, но слева сильно просвечивало — либо с поля, либо с обширной пожни, где непременно должна быть и сенокосная дорога. Но я так умаялся, что решил перевести дух и присел на толстую еловую стволину. Она лежала у края сосняка; между невысокими соснами пологие моховые кочки заросли голубикой и багульником — доносился его пряный, немного удушливый запах. По этой поросли стелилась пелена утреннего тумана, рассеянная розовыми полосами первых солнечных лучей. Мертвая тишина стояла в лесу — ни птишка не пискнет, ни насекомое не прожужжит, даже работы дятлов не было слышно.

Вдруг впереди, под соснами, раздался не оставлявший сомнения звук — отряхивалась от росы крупная птица. Бросив только что закуренную папиросу, я осторожно встал, приготовил ружье и потихоньку, как кот, двинулся в сосняк. Один, другой, третий десяток беззвучных шагов... Передо мной метрах в пятнадцати шумно поднялся многочисленный — штук семь или восемь — выводок тетеревов, что-то слишком не по времени крупных. Два выстрела — две птицы упали. Подняв их, я не сразу понял, что это еще мною не виданные глухари — два молодых петушка, запестревших островками перьев кофейного цвета и ростом уже со старого тетерева. Так я впервые встретил глухарей, начав знакомство с ними эффектным дублетом. Переполненный радостью удачи, я вернулся к той же упавшей ели, опять уселся, подобрал погасшую папиросу и, продолжая любоваться неожиданной добычей, с наслаждением закурил.

3. Не столь ценный, но совершенно непредвиденный и редкий подарок сделали мне «лесные дүхи» поздней осенью 1940 года на правом берегу Волхова, у пристани Пчевжа. Это была последняя охота в жизни Ирмы. Мы с ней искали вальдшнепов, хотя егерь утверждал, что пролет их закончился. Погода стояла пасмурная, временами летел мокрый снежок. После довольно долгих и безрезультатных поисков я, признав правоту егеря, вздумал перейти на луга, там, наверное, осталось еще немного гаршнепа, а то и бекаса. Между деревьями уже просвечивало озеро Хотино, где осталась лодка. Тут Ирма насторожилась и помчалась в глубь леса: не сразу я разглядел, что она в своей клеенчатой попонке бежит за лисой. Я громко свистнул, чтобы остановить собаку. Мгновенно лиса, не разобрав откуда донесся свист, развернулась почти на сто восемьдесят градусов, шмыгнула мимо остолбеневшей Ирмы и выкатила мне в ноги. Дробью № 7 я убил наповал

очень крупного, уже выкуневшего лисовина. Удача была фантастическая, но как-то не компенсировала бесплодности охоты по перу — пара вальдшнепов порадовала бы меня больше.

4. От беломорского охотника я слышал, что вальдшнеп здесь не встречается — не залетает так далеко на север. Весной 1947 года захотелось проверить это утверждение, как после выяснилось, ошибочное. Решил походить в лесу и, если подниму вальдшнепа, постоять на тяге. День уже так прибавился, что, выйдя после работы, я ходил около трех часов, а все еще было светло. Вальдшнеп мне тогда не встретился, да и место всюду было не подходящее.

Я пошел вниз по притоку Выга — Торлове. Эта прелестная речушка бежит по каменистому ложу, переливается через красные гранитные плиты, образуя множество весело журчащих водопадиков. На обрывистых сухих бережках красуются огромные старые березы. Торлова вывела к линии железной дороги в четырех километрах южнее Беломорска, и я по полотну направился домой.

Вот мост через первый от устья приток Выга — Пет-ручей, широко разлившийся по ложине. За ним справа, под горой, открылись луга и кустарники по Выгу, сама река блестела, отражая пламя заката. Слева желтели обширные моховые болота, то глади, то участки хилой сосновой поросли. Два кроншнепа парили высоко над болотом, заливаясь весенними трелями. От Выга протянула пара гусей, пересекая полотно далеко впереди меня; вскоре с гоготом прошла целая партия их в том же направлении — верно полетели кормиться клюквой. Я на всякий случай перезарядил «Франкотта» патронами с крупной, № 2, дробью.

Заря гасла, но северные сумерки долги, а конец пути приближался. Справа бледно засветились окна домов на Больничном острове, впереди зажегся красный огонь семафора. Я хотел разрядить ружье, но только снял его, как опять послышалось гоготание. Три гуменника — пара, а за ней отдельно еще один — шли все в ту же сторону, но завернули от семафора и как будто приближались. Я соскочил в кювет и стал на колено, прижавшись спиной к телеграфному столбу. Два гуся перелетели пути примерно посредине между первым от меня и следующим столбом. Я выстрелил по переднему.

К моему удивлению, упал задний — свалился в кювет, гулко ударился о твердый грунт, а передний взмыл вверх.

Третий же, отставший, миновав полотно, вдруг повернул в мою сторону и пошел параллельно линии. До него было заметно дальше, чем до двух первых, но я все же выстрелил. Гусь с перебитым концом крыла круто снизился, забочил и опустился на мох уже поближе ко мне. Он попытался взлететь, а потом побежал. Ну и быстро же он мчался, помогая себе взмахами крыльев! Дробь у меня оставалась только мелкая, четыре раза я на бегу стрелял и попадал, но расстояние было велико и сократить его не удавалось. Больше того — я начал отставать, бег по топкому пышному мху истощал силы, ноги заплетались, сердце готово было выскочить.

Сумерки сгущались, а гусь приближался к соснячку, где найти его не удалось бы. Вот он достиг крайних сосенок — и вдруг остановился, лег, захлопал крыльями, а когда я, задыхаясь, облитый потом, подошел, птица уже не шевелилась. Возвращаясь к железной дороге, я мог только дивиться, как, не глядя под ноги, пробежал полкилометра, не провалившись с головой, — столько было тут глубоких, едва затянутых мхом «окон». Наконец, кювет и в нем первый гусь, лежащий на спине, шагах в девяноста от места, с которого я стрелял. Только теперь, когда оба гуся улеглись рядом, на смену горячке и отчаянию гонки за подранком пришла бурная радость. Два здоровенных гусака-гуменника разом! Дублет по гусям на полотне дороги в двухстах метрах от станционного семафора и в пятнадцати минутах ходьбы от дома — это ли не охотничья удача?

Назавтра, ощипывая гусей, я обнаружил, что первый был поражен тремя дробинами, значит, осыпь все-таки накрыла его. А целился-то я не в него! Вспомнились прочитанные когда-то слова о том, что полет гуся только кажется медленным и стрелять надо с большим упреждением. У второго гуся вся спина была иссечена мелкой дробью, несколько дробинок пробили легкие.

5. В октябре того же 1947 года я несколько дней провел в Воронеже у родителей. Приехал в субботу утренним поездом, а через два-три часа от работников весьма авторитетной областной организации получил приглашение на охоту с выездом после обеда. Недоумение мое разрешил отец, сказавши: «Исстари ведется, что по отцу и сыну честь». Стало ясно, что это он, сам уже не охотившийся, организовал мое участие в поездке. Своевременно пришел «газик» с тремя охотниками; сидевшего за рулем я знал и не раз с ним охотился, двое мне были незнакомы, хотя хорошо известны по фамилиям. Ехали на Донище —

большое пойменное озеро между Доном и Жировским лесом.

Меня всю дорогу беспокоила мысль — не окажусь ли я в этой компании бедным родственником? Так и получилось. На возвышенности, над ближайшим к лесу заливом Донища, была большая благоустроенная землянка, у берега стояли три лодки, четвертая лежала на земле вверх дном, молодой парень ее конопатил. Рядом горел костер, в ведре пузырилась кипящая смола, а на лавочке сидели два молодца егерского вида. И тут я услышал:

— Значит так, мы поехали, а вы, полковник, немного обождите — засмолить лодку недолго.

Я видел, что работы остается на час с лишним, но, конечно, смолчал. Они отправились. Двоих повезли егеря, мой знакомый сам погнал лодку. Парень, оказавшийся сторожем базы, постукивал молотком и утешал меня, предупреждая, чтобы я и от утренней зари не ждал ничего хорошего.

— Мест вы не знаете, мне отлучаться с базы нельзя, а на ближайших плесах никакого полета не бывает — мы тут и вентерю ставим, и шумим, и костер жжем...

Хотя я не сомневался, что если утром будет перелет, то сумею приспособиться, а все же положение не радовало. Сторож начал смолить лодку; солнце уже садилось. Соскучась, я сложил ружье, прошел на узкий затопленный мыс, далеко вдававшийся в залив, и стал на конце его шагов за сто от землянки. Закат начал меркнуть, не пролетело ни перышка, да и с озера донеслось всего пять-шесть выстрелов.

Я совсем уже собрался уходить, когда послышался знакомый по Беломорску высокий и звонкий гогот белолобого гуся — казарки. Три птицы летели стороной высоко и далеко от меня, пересекли залив и, уже едва заметные над лугами, повернули назад к озеру, направляясь как будто к землянке. Я сменил в левом стволе «пятерку» на «двойку», пригнулся за невысоким камышиком — гуси шли прямо «на штык». Высота большая, но для «Франкотта» как будто достижимая. Сторож от землянки закричал:

— Куда там! Больно высоко, не пугайте зря!

С большим — метра два — упреждением я ударил по переднему почти вертикально, что называется королевским выстрелом. У казарки заломилось крыло, она стала падать отвесно, не пробуя удержаться в воздухе, а только ворочая головой, словно рассматривала, куда валится. Рисковать не приходилось — подранок мог упасть в близкие камыши.

Допустив его до высоты пятнадцать-двадцать метров, я выстрелил мелкой дробью из второго ствола, и гусь, мертвый, рухнул на чистую воду; взметнувшиеся брызги долетели до меня, пух облачком повис в воздухе. Сторож, повторяя: «вот это — да! вот это ружье!» и т. п., стащил в залив засмоленную лодку и привез мне неожиданную добычу. Птица была молодая, с черным еще лбом и не крупная, однако вызвала плохо скрываемую зависть моих компаньонов.

6. Только удаче обязан я первым своим кабаном. Осенью 1948 года, когда начались уже заморозки, мне впервые пришлось участвовать в кабаньей охоте вблизи польского города Нова-Суль. Охотились вчетвером: я с моим сослуживцем Владимиром Георгиевичем — Егорычем, хозяин собак Горячев — врач местного госпиталя и замполит того же госпиталя. Из пяти или шести собак только одна отдаленно походила на гончую, остальные были просто «надворными советниками». Впрочем, оказалось, что по кабану они работают хорошо, с утра гоняли целое семейство. Горячев и Егорыч убили по большому поросенку, а мне и замполиту не пришлось даже переви- деть зверя.

Мы много ходили, искали до вечера — все попусту. Время было возвращаться к машине, оставленной на опушке. Направились туда по просеке втроем; замполит же, молодой, неумелый охотник, продолжал шастать с собаками, двигаясь лесом справа от дороги. Я плелся с трудом — давало о себе знать недавно перенесенное тяжелое воспаление седалищного нерва, правая нога начала отказывать. Заметив мою хромоту, Горячев предложил мне посидеть, подождать — он пригонит грузовик сюда. Я отказался, любезный хозяин все же припустился вперед, Егорыч не спеша пошел за ним.

Солнце уже садилось, от высокой и густой сосновой посадки слева потянулись через широкую просеку длинные тени, а по другую сторону молодая посадка на вышенности была освещена красными, но еще яркими лучами. Я ковылял по песчаной дороге серединой просеки, все больше отставая от Егорыча, и рассуждал о том, что нельзя терять надежду, пока охота не кончилась. Ведь бывает, что и в самый последний момент...

Тут справа за холмом залаяла собака, забрехала как на чужого человека. Тотчас раздался хлесткий выстрел из замполитова карабина и крик: «Берегите! Кабан!» Собаки заревели все разом, и я, едва успев приготовить ружье, увидел зверя. Большой, ошетиленный, лопухий,

с торчащими по бокам морды клыками, он в багровом огне заката показался фантастическим, сказочным существом. «Вроде Баскервильской собаки», — подумалось мне. На удивительно стройных для такой туши ногах секач мчался ко мне, при каждом скачке взметываясь над низкими сосенками. Кабан должен был перейти просеку метрах в двадцати передо мной, но стрелять вдоль дороги нельзя, там, впереди, Егорыч, придется сделать пол-оборота влево и пропустить зверя через дорогу. Начал поворачиваться, а моя хромая нога подкосилась, я падаю... Какой ужас, какой срам! Мало того, что упущу кабана: никто же не поверит, что я свалился случайно, подумают, что просто испугался и не стал стрелять. Отчаянным усилием я удержал равновесие и упал не на бок, а на колено, услышав впереди близкий выстрел и где-то рядом свист картечи. Зверь был уже на краю просеки, когда я выстрелил навскидку, как в бекаса. Кабан сильно пошатнулся, приостановился, но следующим прыжком вломился в сосновую чащу. Туда же пронеслись собаки — пронеслись и разом смолкли. Слышалось только их ворчанье и возня на одном месте. Зверь прошел не более сотни метров и свалился мертвый. Пуля попала в левую лопатку, разрушила легкое и разорвала аорту у самого сердца. В его правом паху складка кожи была насквозь пробита картечиной. Мне повезло — ни одна из картечин в меня не попала. Кабан был крупный (148 килограммов) и очень упитанный. Оказалось, что кобель облаивал его на лежке, замполит сгоряча промазал по лежащему, а второй патрон в карабине перекосило.

7. В Силезии мы несколько раз коллективно, облавой, охотились по косулям (сарнам — говорят поляки). Мне упорно не везло — за два с лишним года я убил только одну.

Но вот в январе 1950 года, завершая сезон, я поехал с Рексом за фазанами и, конечно, зайцами. В самом начале удалось мне убить одного за другим четырех русаков. До машины было далеко, пришлось спрятать их в небольшой роще. Завалил зайцев сучьями, палой листвой и тут заметил, что Рекс стоит неподалеку между дубами, боком ко мне. Стойка была странная, казалось, собака просто насторожилась, что-то разглядывая. Шагах в двадцати перед ней на полосе нарастающего снежка темнел большой желтоватый овальный предмет. Камней такого размера я в этих местах не видывал, да и зачем Рексу пялиться на камень? Косуля? Невероятно — не стала бы она так спокойно лежать перед собакой.

Я начал осторожно подходить, приблизился на верный выстрел, но при тусклом, туманном освещении через довольно густой подлесок все еще не мог разглядеть, что передо мною. Еще несколько шагов — и над загадочным пятном ясно обозначилась высоко поднятая, обращенная к Рексу голова с ветвистыми рожками. Я выстрелил «двойкой» в основание длинной шеи, козел рывкнул, уронил голову и больше не шевельнулся. Стоя над ним, я долго не мог опомниться — уж очень неожиданно и легко досталась ценная добыча. Животное было совершенно здоровое, в теле, почему же оно спокойно подпустило и собаку, и меня так близко? К сожалению, рога не могли служить трофеем — они отросли полностью, но были еще мягкие, покрытые шерсткой.

8. Наконец, моя последняя удача. Перед отъездом из Польши в августе 1950 года два сослуживца уговорили меня поехать в ночь на воскресенье подкарауливать кабанов. Они будто бы знали переходы, которыми звери после ночной кормежки возвращаются с полей. Как и следовало ожидать, из затей ничего не вышло. Задолго до рассвета мы засели в опушке на предполагаемых переходах и тщетно сторожили до восхода солнца. Я раньше всех сошел с места и направился напрямик через лес к машине.

Вскоре встретилась длинная узкая поляна, тянувшаяся по низинке как раз в нужном направлении. Кустарники кончились, слева стоял старый лиственный лес — толстые дубы и буки, а справа — рослая сосновая посадка. Отшагав с километр, я подошел к месту, где поляна была пошире, а лощина поглубже, в ней рос тростник и блестяла водичка. Не сменить ли в ружье пули на дробь. Впрочем, откуда здесь утка? Только грязи наберешь в короткие сапоги... Но, когда подошел, из тростника поднялась кряква, за ней вторая, я машинально сорвал с плеча ружье, перевел предохранитель... Но не стрелять же по уткам пулями! Пришлось плюнуть и снова взять ружье на ремень.

Плюнуть я успел, а «Тэат» еще держал в руках, когда слева и немного сзади, за высоким лесом раздались четыре торопливых выстрела. Стреляли, очевидно, мои компаньоны — но в кого? Неясно донесли крики, потом все стихло. Не случилось ли там чего худого? Подождал, прислушался — ни звука. Вдруг между стволами старых деревьев замелькал черный, как вакса, кабан. Он скакал к лощине и махнул через поляну метрах в пятидесяти от меня. Я все же успел выстрелить ему в правый бок, отчет-

ливо слышал, как пуля ударила в него, словно в барабан. Он споткнулся, пропахал рылом по земле, но справился и исчез в сосняке. Я подбежал к следу, по росе его хорошо было видно, но в посадке на сухом игольнике он потерялся, нигде ни капли крови. За узкой полосой сосен открылся хорошо просматривавшийся склон с редкими старыми дубами почти без подлеска — кабана не видно. Походив там взад-вперед, я вернулся на поляну, сел на бревно. Какая мерзость! Зря испортил зверя — лучше бы промахнулся.

Послышались приближающиеся голоса, подошли мои товарищи, ругая друг друга, рассказали, что кабан в маленьких густых елках вскочил у них из-под ног, как заяц. Они стреляли наперебой, мешая друг другу, каждый клялся, что попал под левую лопатку. Я их заверил, что зверь вышел ко мне бодро, во всю прыть, что я его заранил и видимо тяжело. Решили втроем прочесать дубовый лес, но едва вошли в посадку, как увидели мертвого кабана — он сделал после ранения всего десятка два прыжков. А я в волнении дважды прошел почти рядом с ним и не заметил. Пуля, попав справа, пробила его сердце насквозь. Зверь был небольшой, килограммов девяносто и вовсе не черной, а обычной серовато-бурой окраски. Какая же цепь счастливых случайностей!

Если удача приходит вне зависимости от чего-либо, кроме стечения обстоятельств, то в неудачах всегда повинен сам охотник, причем у каждого, в том числе и у меня, они гораздо многочисленнее удач. Простейшая причина, лишаящая верной добычи — промах по близкой, неподвижной цели. Случается, что человек, отлично стреляющий по бекасу, промажет лося, стоящего открыто в нескольких шагах. Эти постыдные промахи следствие горячности и торопливости; при достаточном опыте и выдержке они маловероятны. Причиной неудачи может быть осечка, затяжной выстрел, патрон, в самый ответственный момент намертво завязнувший в патроннике. При доброкачественных боеприпасах, правильно снаряженных и калиброванных перед охотой патронах ничего такого не должно быть.

Отказ ружья на охоте вследствие его внезапной поломки — редкость; обычно это связано с незамеченной вовремя, постепенно нарастающей неисправностью.

Чаще всего к неудаче ведет недостаток бдительности и терпения на охотах, требующих неослабного внимания или хорошей маскировки. Тяга или перелет плохи, соскучившийся охотник начал закуривать и прозевал птицу,

налетевшую, как нарочно, именно в этот момент. Вы стоите на переходе зайца, собаки гоняют, внимание напряжено. А гон словно бы не приближается, длительное ожидание начинает утомлять. Но попробуйте засмотреться на пролетающего глухаря или рябчика, и беляк как раз у самых ног безнаказанно шмыгнет через просеку. А то сидишь весною в шалаше, дичь не летит, подсадная вяло покрикивает квачку, а ноги затекли, тянет распрямиться, размяться. Но стоит встать в шалаше — утка грянет в осадку, селезень тут как тут, заметил высунувшегося охотника, шархнул в сторону, только его и видели. У меня неудачи такого рода бывали в юности. Потом я на много лет почти вовсе от них избавился. А в последние годы они возобновились — сказываются и старость и недостаток охотничьей практики. То же относится и к постыдным промахам. Обиднее всего неудача, возникшая в наказание за легкомысленный необдуманный проступок и, наоборот, за лишние рассуждения, мудрствования — те, о которых Петр Трущинский нередко говорил: «Хитрость замучила».

Слишком много места заняло бы описание всех неудач, постигших меня за семьдесят лет охоты, и я ограничусь теми, которые на всю жизнь остались мне горьким укором.

Сперва о неудаче от малограмотности в ружейной технике. Всего лишь вторую осень я охотился с подаренным дедушкой «Клеманом», как он начал осекаться. Обнаружилось это на Полубянке. Охота предстояла двухдневная, за Доном, близ села Сторожевое. В тот сезон леса там оставались еще не использованными, можно было ожидать изобилия зверя. Началась охота, а вместе с тем и мои неудачи. За день из восьми патронов пять дали осечку, я упустил двух верных русаков, но двух все же убил. Вечером состоялся «консилиум». Осмотрев ружье и осекшиеся патроны, охотники решили: бойки нужно менять, смялись и едва достают капсюлей, оставляя на них совсем неглубокую ямку.

На второй день охоты ружье мое отказало совсем. Как на грех, я по чистой случайности оказался на излюбленном переходе зайцев. Их было множество. Лес, пересеченный несколькими глубокими, гулками оврагами, гремел от гона. Зайцы, и гонные и шумовые, на меня так и лезли. За какой-нибудь час пять русаков вышли мне в ноги, по каждому я успевал дважды щелкнуть правым и дважды левым курком — патроны не стреляли. И все это на глазах у подводчика, из любопытства стоявшего за

моей спиной. После пятого зайца он непечатно меня выругал и удалился.

Идет еще русак, я в шестой раз поднимаю ружье... чик! чик! Заяц сел. Попробую последний разок... Взвел курок, прицелился в сидячего — ружье наконец выстрелило. Я ушел с зайцем к подводам на место привала, где и оставался до конца охоты. Но самое обидное было на-завтра. Главный «лекарь» воронежских ружей мастер Сукочев взял торцовый ключ и довернул до места крышки бойков — они почти вывинтились и удар курков приходился на них, а не на едва выступавшие бойки. Человек десять старых охотников не поняли, что плоскогубцами и даже пальцами можно было устранить осечки еще в лесу.

Дважды я был наказан крупной неудачей за легко-мысленное поведение.

Отец велел мне всегда держать в сумке ягдташа неприкосновенный запас — пару патронов с крупной дробью. Мало ли что? А вдруг придется защищаться от лихого человека, от бешеной собаки? Или встретится волк, по которому обязан стрелять каждый охотник. Такой запас я и носил с собою, правда, не два, а только один патрон с дробью, помнится, «два нуля». В августе 1916 года, охотясь на Боровских лугах и уже порядочно постреляв по бекасам, я подошел к месту, где мы с папой должны были встретиться и идти домой. Здесь с большого заросшего редким камышом плеса поднялась стая чирков. Взлетели они вне выстрела, но едва я успел сесть под кустом, ожидая отца, как чирки начали небольшими шаечками возвращаться на насиженное место.

Оставшиеся патроны я расстрелял очень быстро и успешно. Зорька вынесла мне из воды семь чирков, а одного, подстреленного, поймать не сумела — отнырялся и исчез. Стрелять было нечем, да и утки больше не прилетали. О подранке я не беспокоился — подойдет папа, и Дайда, наверное, изловит чирка. Приятно было усестись в тень куста, приласкать и уложить рядом собаку, ощупывать сетку ягдташа, которая у меня еще никогда не бывала такой полной.

Немного погодя, я увидел своего подстрела. Он перестал прятаться и тихонько пробирался с середины плеса к дальнему берегу. Стой, у меня же есть неприкосновенный патрон — вот и добыю им чирка, возвращаться будем вдвоем, значит, не важно, что у меня окажется пустое ружье. Дробь, конечно, очень крупная, расстояние большое, но чем я рискую? Не попаду — все равно Дайда найдет...

В общем, я выстрелил, конечно не попал, чирок скрылся в камышах. Мы с Зорькой опять удобно устроились на прежнем месте.

Вдруг большая птица низко мелькнула над нами и опустилась у плеса. Я раздвинул веточки и чуть не взвыл: огромный кроншнеп, давняя моя мечта, казавшаяся такой неосуществимой, спокойно сидел метрах в пятнадцати-двадцати. Отлично был виден его кривой, как серп, клюв, длинные ноги. Вот когда нужен был патрон, так неразумно истраченный! Кроншнеп неторопливо зашагал к воде и вошел в нее. С меня хватило — я вскочил, махнул ружьем. С громким тревожным свистом кулик-великан рванулся в воздух. Я стоял, как оплеванный. Скоро пришел отец. Дайда тотчас поймала моего подранка, а папа, узнав, что произошло, крепко отругал меня за мальчишество.

О втором наказании за легкомыслие даже стыдно рассказывать. В 1972 году (мне пошел уже восьмой десяток) я охотился в дельте Волги. Далеко от базы, вниз по банку (протоку), обнаружилась гусятинная дневка. С края чистины, перед островом, поднялось не меньше сотни гусей. Сплошь истоптанное их лапами дно, масса пуха на воде, на листьях чилима (водяного ореха) и на островках ила — все показывало, что гуси кормятся здесь систематически. Я приготовил хорошую засидку в высоком кусте ежеголовки и ночью, не без труда отыскав это место, расставил гусятинные профили, надежно спрятав кулас и забрался в засидку.

Началась заря, прошел перелет уток, по которым я не стрелял. Взошло и все выше поднималось солнце; нужно было ждать и ждать — гуси будут обязательно. Тут прилетел молодой еще совсем серый лебедь, уселся в трех-четырех метрах, разглядел меня, ничуть не встревожился и начал кормиться. Захотелось испытать, далеко ли зайдет его доверчивость. Я начал высовываться, посвистывать, он — ноль внимания. Вот нахал!

— Да напугаешься ли ты наконец? — сказал я громко, набрал комок водорослей, встал, швырнул в него и в тот же миг услышал за спиной: «Ка-га! Ка-га!»

Оглянулся — три гуся, летевшие прямо ко мне, круто повернули назад. Дело было погублено. Вскоре оттуда, куда ушли эти разведчики, появилась гусятинная стая, вторая, третья — все опустились на ту же чистину, но на другой ее стороне, под остров, почти в километре от меня. А лебедь так и не взлетел — медленно отплыл и скрылся за травой.

Двумя неудачами я поплатился за то, что перемудрил. В начале декабря 1922 года мы охотились с гончими на

правом берегу Дона, близ Орловки. Охота только что началась. Я шел полугорой по занесенной неглубоким снежком дороге, параллельно реке. Ее широкая белоснежная полоса просвечивала далеко внизу сквозь вершины дубков. За Доном открывались левобережные луга с желтыми гривами камышей по озерам, потом поля, и на самом горизонте в пасмурном небе облаком висела густая дымка над невидимым Воронежом. Отец и еще два охотника двигались где-то вёрхом, собаки прошли вперед.

Моя дорога круто повернула направо в гору, а от поворота продолжалась вперед узкая тропа. Вот если там, впереди, поднимут зайца, то он непременно выйдет сюда этой тропкой. Подождал с четверть часа — гона нет. Я пошел дорогой на гору, но отойти далеко не успел — собаки погнались. Бросился обратно, стал на повороте и сейчас же увидал зайца. Он не спеша ковылял по тропинке именно так, как мне представлялось и, не дойдя до дороги, сел. Какое счастье!

Здоровенный русачина сидел боком ко мне метрах в десяти, и я его отлично видел сквозь дубовый подрост. Заранее торжествуя победу, тщательно прицелился и уже нажал было спуск, когда меня взяло сомнение: стрелять приходится через ветки — вдруг дробь отклонится? Нужно рассмотреть получше. Как последний болван я на мгновение оторвал щеку от приклада и вгляделся поверх планки. Пустяки! Веточки редкие, тонкие... Опять приложился, с ужасом понял, что ружье сместилось, но выстрела уже не удержал. Ошалевший заяц бросился мне под ноги, я поскользнулся и рухнул на снег... Русак ушел. До сих пор, если вечером в постели представляю себе этого сидящего передо мной зайца, то долго не могу уснуть...

Вторая неудача от «замучившей хитрости» была еще обиднее уже потому, что оплошность я допустил в пожилом возрасте. Начался 1949 год. Мы целой компанией, мало мне знакомой, стреляли зайцев на полях и лугах около Одры и убили порядочно русаков. Во второй половине дня все собрались к машине, а я отстал, задержавшись в кустах у реки, но тоже повернул к высокой дамбе, на которой виднелся наш маленький автобус и стоявшая возле группа охотников. Сделал пять-шесть шагов, глянул налево и сквозь кусты увидел на лугу огромного кабана, бежавшего ко мне вдоль берега.

Пули со мною были, я вынул из обоих стволов патроны с крупной заячьей дробью, а пулю успел заложить только в правый ствол, нащупывать в патронташе второй пулевой патрон не было времени. Зверь по кустам уже шел прямо

на меня. Нужно напустить как можно ближе — «Франконт» из своих коротких стволов бьет пульей неточно, а укрыт я хорошо. Метрах в тридцати кабан остановился, смотрел на дамбу, слушал, потом повернулся мордой к реке. Тут мне вдруг втемяшилось: сейчас он бросится в воду и поплывет через Одру.

До машины было не менее полукилометра, зверь ее уже почти миновал, ничто не мешало ему, оглядевшись, идти прежним путем. А если бы он действительно полез в быструю реку, то я, находясь ниже его по течению, не дал бы ему отплыть далеко. Но все это стало понятно задним числом, а в тот момент подумал только: «Сейчас уйдет» и выстрелил в левый бок кабана. Завизжала скрикошетившая пуля, а зверь мгновенно оказался рядом — его почти можно было достать стволами. Холка его была окровавлена. Останься в левом стволе патрон с «единицей» я, выстрелом чуть не в упор, без сомнения, убил бы его. А теперь пришлось гнаться за ним, на бегу заряжая ружье.

После первого рывка кабан резко сбавил ход, но я, навьюченный тремя зайцами, все же отстал, вторую пулю пустил тоже метров с тридцати и сразу потерял зверя из виду в густых зарослях. Кровь на земле и траве была и до второго выстрела, а после него появились большие сгустки. Около километра я шел кровавым следом, он, все более ясный, вывел меня на луг, но там пропал в мелкой воде, затопившей обширную низину. Проклиная оттепель, полностью согнавшую тонкий снеговой покров, я хотел обойти воду кругом и отыскать выход следа на сухое. За лугом виднелся небольшой лесок, куда скорее всего и ушел подстреленный кабан.

Но тут охотники начали звать меня криками, упорно сигналил водитель автобуса — пришлось вернуться. Я просил обождать, мне ответили решительным отказом. Пока спорили — начался дождь, надежда найти на траве кровь с каждой минутой уменьшалась, и я уступил, решив никогда больше с этими «друзьями» не связываться.

А в следующее воскресенье они поехали в те же места и могли убедиться, что сами себя наказали. В леске, где я хотел поискать зверя, была замечена стая ворон и сорок, а по ним найден и кабан, уже раздувшийся. Часть мяса забрали для собак, охотники остались ни с чем, а не отговори они меня от поисков кабанятину разделили бы на всех и помногу — зверь оказался очень крупный, килограммов на двести, самкой.

Лишь раз постигла меня неудача не по моей вине. Зимой 1916—1917 годов была назначена облава на волков.

Желающих нашлось немного, поэтому взяли и меня. Из Полубянки мы приехали за Дон в село Голышовку, где с осени был прикормлен выводок волков. При жеребьевке мне достался первый номер, В. К. Квейзеру — второй. От саней нужно было пройти с километр по глубокому снегу. Владимир Карлович, человек тучный, на половине пути совершенно выдохся и попросил меня обменяться номерами. Я, конечно, не мог отказать и встал на его номер.

Волки вышли на четвертый к Янушевскому, он дублетом свалил пару, а один прибылой, отбившись, подошел к первому номеру совсем близко и был убит. Эта еще детская неудача оказалась для меня фатальной. На облавах мне поразительно не везло, а на волчьих — в особенности.



ПАМЯТНЫЕ ОХОТЫ

Перехожу теперь к более систематичному повествованию о своих охотах на разную дичь, которые были примечательны своеобразной обстановкой или способом, отдельными любопытными эпизодами либо большим успехом. Рассказ об особо добычливых охотах нуждается в преамбуле.

В годы моих воронежских, а затем мещерских охот не существовало ограничений отстрела. В Ленинградский период, то есть в тридцатые годы, нормы устанавливались не для одного стрелка в день охоты, а для данной территории на весь сезон. Исходя из проведенного учета выводов, на площади, скажем, егерского участка разрешалось отстрелять, например, тридцать тетеревов. Как только убивали тридцатого, так охота по тетереву закрывалась до следующего года. А число охотников, участвовавших в отстреле, во внимание не принималось, и дневная норма либо не ограничивалась вовсе, либо была высокой. При таком порядке львиная доля дичи, естественно, доставалась тем, кто имел собственную легавую собаку, со дня открытия охоты брал отпуск и целиком посвящал его охоте. Получалось по пословице: «Ранняя пташка зобок набивает, а поздняя еще глазки протирает».

Во время моей службы в Польской Народной Республике там охранялись только самки фазана, охота на оленя и лань лимитировалась лицензиями, а на любую другую дичь — велась без ограничений, кроме сезонных. После войны у нас в стране до конца пятидесятих годов наиболее ценная для меня охота по болотной мелочи нормами отстрела не ограничивалась. Норма же на водоплавающую дичь в Каспийских охотхозяйствах, куда я чаще всего выезжал, была так высока, что редко кому из нас, москвичей, удавалось ее выполнить.

Итак, о моих охотах на различные виды дичи.

КРАСНАЯ ДИЧЬ

Из четырех ее представителей начну с бекаса. Сейчас многие охотники им пренебрегают, а то и вовсе не знают его. Однажды мой младший брат Юрий в Каспийском хозяйстве общества «Московский охотник» охотился по утке и на одном болотистом острове убил несколько бекасов. Из многочисленных находившихся на базе охотников никто не смог определить, что это за птица, а один, уже немолодой и вроде бы опытный, заспорил с нами, доказывая, что брат привез «просто куликов, бекас-то вдвое крупнее и нос у него короткий, как у голубя, только крючковатый».

Недавно мне пришлось узнать, что интерес к бекасу начал возрождаться в некоторых местностях, но стрельба по нему оказалась для охотников неодолимо трудной, понятно, с непривычки. А между тем нет охоты более спортивной, чем охота по бекасу. Она требует быстрого выстрела навскидку при тяжелой ходьбе по топкой почве, по кочкам и непременно при хорошо работающей собаке, без которой становится и скучной и малорезультативной. Там, где бекаса много и отстрел его не ограничен или норма высока, охотник может «настреляться», не обременяя себя тяжестью добычи: десяток самых упитанных бекасов не потянет и полутора килограммов. Наконец, С. Т. Аксаков справедливо называл вкус бекасиного мяса изящным: пара жирных осенних бекасов, зажаренных правильно — не потрошенными, без лука, перца и других специй, с гарниром из отварного картофеля, а особенно репы, удовлетворит утонченного любителя покушать. В гастрономическом отношении хорошо откормившийся бекас превосходит вальдшнепа, стоит наравне с дупелем и уступает только меньшому брату — крошечному гаршнепу. Я в молодые и зрелые годы взял бекасов очень много, хотя в течение

ряда лет у меня не было собаки, а с Ирмой я по болотам почти не ходил.

Наибольшего успеха мне удалось достигнуть со Шкодой осенью 1927 года. В конце августа шли упорные ливневые дожди, Усманка выступила из берегов и затопила огромную площадь огородов на лугах между селами Выкрестовым и Бабяковым. Паводок держался с неделю, потом вода сбыла, обнажив размокшие, с остатками загнивших овощей грядки. На жирную черную грязь слеталось несчетное множество бекасов. Это я обнаружил, охотясь с четырнадцатилетним братом Сашей. Бекасы, не подпуская даже на дальний выстрел, поднимались сотенными стаями, перемещались на другие огороды, опять взлетали, кружились в небе. Мы гоняли их довольно долго, ни разу не выстрелив. Потом часть птиц куда-то улетела, а остальные разбились и начали поодиночке или парочками рассаживаться в траву, в кочки вокруг огородов. Здесь было где укрыться, бекас сидел крепко, хорошо выдерживал стойку.

Только теперь началась охота. За два часа с небольшим мы взяли двадцать две штуки, затем кончились патроны. Редко случалось мне так хорошо стрелять по бекасу. Сделав шестнадцать выстрелов мелкой дробью, я убил пятнадцать штук — одиннадцать кряду и после одного промаха еще четыре — мой «бекасиный» рекорд. У брата было шесть бекасов и пустой патронташ. Через три дня на огородах грязь высохла, потрескалась, и бекасы покинули эти места.

Возможность насколько угодно перекрыть рекордную цифру мне представилась в 1954 году на Белом море в Вирме, где мы с товарищем (не охотником) проводили отпуск. В травянистой прибрежной тундре было столько бекаса, что я свободно мог бы расстреливать по тридцать-сорок патронов за охоту. Но мы вдвоем не способны были съесть более восьми штук в день, этой нормы я и держался (местные жители такую дичь не ели).

При необычном состоянии угодий прошла и моя наиболее успешная охота по вальдшнепу. Осень 1924 года в Воронеже была засушлива; настало время пролета, а вальдшнепов все нет. Из Москвы приехал в отпуск дядя Алексей Гаврилович. 9 октября они с папой, не найдя ничего в лесу, вздумали вернуться в город поймой реки, надеясь стрельнуть хоть по бекасу, но и в болотах было совершенно сухо. Наконец Мордан стал у камыша на берегу обсохшего озера. Поднялся вальдшнеп, папа убил его.

Тут стало ясно, где идет пролет, и назавтра, махнув ру-

кой на лекции, я повел дядю за Чернавский мост под Придачу, где был тогда ольховый лесок, тянувшийся краем луга к Отрожке. Молодые, пяти-шестиметровые ольхи стояли не густо, под ними белела иная короткая травка. Листва с деревьев наполовину облетела и не мешала обзору. Лес был невелик — около двух километров длиной и до пятисот метров в ширину. И вот, на этом ничтожном пространстве мы насчитали двадцать пять вальдшнепов.

Мордан, как всегда, показывал высокий класс работы, стойка следовала за стойкой, тяжелые жирные вальдшнепы сидели смирно, нередко парочками. Мы стреляли поочередно, но установили очередь не на взлет птицы из-под стойки, а на выстрел. Так захотел дядя. Стрелял он превосходно, почти не промахивался, только слишком уж осторожничал. Если взлетала пара вальдшнепов, то, убив одного, он давал второму спокойно улететь. А главное, нередко случалось так: птица поднимается, дядюшка вскидывает ружье, прикладывается, поводит стволами — и не стреляет. Спрашиваю: «Что же ты?» и в ответ слышу: «Неудобно было» или: «Не смог хорошо прицелиться». Таким образом моя очередь часто откладывалась, но я рад был угодить любимому дяде. Кроме того, мне в самом начале удалось сделать два дублета и сразу обеспечить себе преимущество.

Взяв девятого вальдшнепа, дядя попросил меня дать ему возможность для круглого числа убить еще одного без очереди. Я с удовольствием согласился, но ничего не вышло. В ольшанике осталось всего четыре вальдшнепа, мы долго их гоняли, а дядюшка что-то разладился: либо не может выстрелить, либо промахивается. Наконец, птицы исчезли, видно, улетели на луг и в камыши. Охота закончилась со счетом 12:9 в мою пользу.

Достались мне и еще две почти такие же добычливые охоты по вальдшнепу: одна до уже упоминавшейся рекордной, другая — после, но обе в Институтском лесу. Самая замечательная — первая, в октябре 1923 года. В ту осень я охотился часто, но все больше наспех. Учился на четвертом курсе медфака, работал фельдшером в клинике и редко мог уйти в лес более чем на два-три часа. Только в воскресенье, если не выпадало дежурство, удавалось походить как следует, но вальдшнепа было немного, а стрелял я неважно. Относя промахи за счет усталости, я надумал перед свободным воскресеньем три дня не ходить в лес.

Результат отдыха получился неожиданным: найдя по-

рядочно вальдшнепов, расстреляв шестнадцать патронов, я вернулся с охоты «попом» и так разозлился, что в понедельник, тоже свободный от дежурства, решил занятия пропустить, ушел на охоту с утра, и тут начались чудеса. Пять стоек, пять выстрелов, пять убитых вальдшнепов. Шестого Мордан нашел в гущине, тот, взлетев, едва мелькнул, но и в него удалось попасть. Из-под следующей стойки вскочила пара, и оба упали. Боясь омрачить успех, я решил закончить охоту, но уже в опушке собака стала, вальдшнеп вылетел на чистое поле, где и был убит.

Ну, раз такое дело — попытаюсь добыть десятого, потом сразу уйду домой — нельзя злоупотреблять благосклонностью судьбы. Дав себе такую клятву, я снова углубился в лес. В редких высоких дубах почти без подседа Мордан потянул. Вальдшнеп долго бежал, поднялся далеко, пошел над самой землей, быстро мелькая между стволами деревьев. Стрелять не стоило бы, а я не удержался. Птица забрала вверх, повернула в сторону опушки и скрылась. Расстроенный, я поплелся за ней — все равно выходить нужно было в ту сторону. Прошел шагов триста — собака стоит, перед ней сидящей, с раскинутыми крыльями вальдшнеп. Подхожу с шапкой в руке, готовый и ловить, и стрелять, если взлетит, но черные глаза уже стекленеют.

Десятый... И ни одного промаха! Я тут же направился домой. У самого города около Привокзального поселка был тогда небольшой, сливавшийся с Ботаническим садом лесок. Мы его звали Календарем, в нем раньше всего появлялся весенний вальдшнеп. А что если зайти? Или не стоит? Осенью в Календаре никогда ничего не бывало. Нет, все-таки зайду. Вопреки своему обету, я свернул с дороги в кусты, пустил собаку и немедленно был наказан. Мордан тут же стал, вальдшнеп вскочил близко, полетел по полянке медленно, как ворона, а у меня две осечки. Все! Хватит! Я разрядил ружье и пошел к поселку. Эта охота была поистине уникальной.

Третья охота 14 октября 1926 года примечательна более всего тем, что Шкода, ходившая первую свою осень и в лесу работавшая неуверенно, в этот день словно нашла себя. Лучшего нельзя было пожелать и от опытной собаки. Но дичи оказалось очень мало. Проходив весь день под морозящим дождем, я убил трех вальдшнепов и пару коростелей, как-то залетевших в середину обширного лесного массива. Измученный, насквозь промокший, я повернул к городу. Дождик перестал, лес осветило заходящее солнце. И тут в ничего не обещавших редких дубовых кустах

мы наткнулись на большую высыпку вальдшнепов, спасавшихся здесь от капли. Затрудняюсь сказать, сколько их было. Шкода становилась чуть не под каждым кустом, а у меня оставалось двенадцать патронов.

Но это уже не имело значения — быстро темнело и вскоре можно было стрелять только в сторону гаснущей зари. Взяв здесь восемь вальдшнепов, я с трудом, на сворке, увел Шкоду, рвавшуюся в поиск — она кругом чуяла дичь. Работа ее была просто великолепна. После одного моего удачного дублета собака осталась на стойке, я успел зарядить ружье и убить третьего поднявшегося перед ней вальдшнепа. После Воронежа мне не удавалось много стрелять по вальдшнепу из-под собаки, приходилось убивать не больше трех-четырех за выход.

Еще менее добычлива была весенняя охота по вальдшнепу. За всю жизнь мне не пришлось видеть очень хорошую тягу, так что удавалось взять за вечер в лучшем случае одного вальдшнепа. Лишь несколько раз убивал я по паре, трижды — по три и один-единственный раз — четырех (под Ленинградом, в 1936 году). Охота на тяге многократно описана и в художественной, и в специальной литературе, и я о ней говорить не буду, поделюсь лишь воспоминаниями об одном эпизоде.

Известно, что если выбрал место неудачно и тяга идет стороной — не бегай туда и сюда, терпи и наблюдай, чтобы в следующий раз стать выгоднее. При наличии же нескольких охотников перебежки мешают соседям и даже опасны. А вот терпеливое ожидание иногда вознаграждается.

Как-то стоял я на тяге в Вологодской области в месте мне незнакомом. Длинная неширокая полоса вырубки тянулась между молодым ольшаником и березняком с ельником. На вырубке вздымались две высоченные сосны, оставленные на семена. Такие одиночные большие деревья, как говорят, служат маяками для тянущих вальдшнепов. Не очень этому доверяя, я все же стал у одной из сосен. Едва село солнце, как возле другого дерева вне выстрела уже протянул вальдшнеп, немного погодя второй. Трудно было удержаться, но я не перешел туда. А там пролетел третий, пролетел четвертый, все как по одной дорожке. Я же так и не сошел с места. Жалеть не пришлось: у дальней сосны не протянул больше ни один, а на меня хорошо налетело пять; трех я убил, одного промазал и одного прозевал.

Гаршнепа, эту самую маленькую из бекасиного племени птичку, наши молодые охотники знают еще хуже, чем

бекаса, уже потому, что найти ее можно, как правило, лишь с помощью собаки, так упорно таится она в осоке, выбирая самые топкие участки болота и взлетая в крайности прямо из-под сапога. Но для тех, кто выше всего ценит охоту с подружейной собакой, гаршнеп представляет большой спортивный интерес.

Из всей болотной дичи осенью он отлетает последним. Зима на пороге, уже выпадал снег, болота почти сплошь замерзли, а по топким берегам ручейков, у выхода родника, и по другим «потным» местам гаршнеп все держится. Можно раз-другой перед долгим зимним перерывом насладиться работой собаки и стрельбой из-под стойки на диво крепкой, потому что гаршнеп и собаку подпускает вплотную. Когда же птичка, наконец, взлетает, то оказывается, что попасть в нее совсем не просто, особенно если погода ветреная.

Полет гаршнепа — неправильный, порхающий, с остановками в воздухе и внезапными бросками по ветру — требует от стрелка не меньшего мастерства, чем стремительный, но все же более ровный полет бекаса. Да и цель очень уж мала — гаршнеп почти вдвое меньше, чем бекас. Притом этого последнего стрелять тем легче, чем он упитаннее, а гаршнеп, даже превратившийся в яйцевидный комочек нежного жира, порхает все так же причудливо. Для меня гаршнепы всегда были ценной добычей, но мне никогда не приходилось убивать их помногу, самое большее девять за охоту.

По дупелю мне не случалось много и успешно охотиться. За всю жизнь я взял немногим больше сотни дупелей, за одну охоту максимум семь штук, так как не встречал этих птиц в большом количестве.

Удивительна прочная привязанность пролетных дупелей к определенным местам. Еще мальчиком я слышал от дедушки, что он в молодости стрелял много дупелей на торфяных болотах недалеко от станции Подсолнечное, к западу от железной дороги. Эти угодья считались исконными дупелиными, их посещало несколько поколений московских охотников. Дед рассказывал, как он, бывало, приходил к болоту еще в темноте и видел там и тут огоньки папирос и сигар — охотники ожидали рассвета. Осенью 1951 года, попав на это место случайно по дороге от Истры, я проходил через жалкие остатки некогда огромных болот. На сохранившихся ничтожных клочках нетопкого кочкарника Рекс стал. Я подошел, ожидая ко-ростеля. К моему удивлению, поднялся дупель, тяжелый, ленивый. Убив его, я вскоре нашел и взял еще одного,

больше там, безусловно, ничего не осталось. Но через пять-шесть дней на этом месте я убил еще двух, а через неделю трех дупелей. В последующие два года на этом болоте при каждом выезде почти непременно удавалось найти хотя бы одного пролетного дупеля.

Рассказа об охоте по дупелю заслуживает лишь один случай. Он произошел не со мною, но на моих глазах. В 1938 году с нами охотился один знакомый моего возраста, который страдал патологическим ожирением. Врачи в числе других лечебных мероприятий посоветовали ему заняться охотой. Вовсе ее не зная, он за много выездов не сделал ни одного выстрела, пока я не взялся ему помочь. Пошли вместе. Ирма стала по выводку серых куропаток, одну я убил, прочие сразу разбились по полю у опушки кустарников. Снова стойка на овсяном жнивье. «Николай Николаевич! Пожалуйста стрелять!» Мы подошли к собаке и в нескольких метрах перед ней увидели спокойно сидевшего дупеля. Мой толстяк вдруг начал целиться...

— Что вы делаете? — шепчу я. — Разобьете! Стреляйте хоть по головке!

Последовал ответ:

— Где уж там — по головке! — и грянул выстрел.

Фонтаном взлетела грязь, перья и какие-то клочья, от дупеля осталась голова с клювом, крыло и комок перемешанного с землей мяса. А Николай Николаевич завернул все это в газету и уложил в ягдташ, приговаривая:

— Это ведь я в первый раз пролил кровь.

Курс лечения охотой продолжался еще некоторое время, но эффекта не давал. Отходя с нами положенное время, пациент говорил:

— Я сеанс окончил.

Мы продолжали охоту, а он возвращался к машине, основательно заправлялся и засыпал под кустом. По его словам, это было лучшее время охоты.

Говоря о болотной дичи, нельзя обойти молчанием коростеля. С этой птицей, как и с гаршнепом, знакомы сейчас далеко не все, в том числе и охотники, имеющие собаку. Однажды двое молодых людей подошли ко мне с рыжим сеттером на Виноградовских лугах под Москвой. Они жаловались на отсутствие дичи: «Собака все делает пустые стойки, а убить удалось только двух каких-то курочек». Эти «курочки» оказались коростелями. Шел их пролет, и я в тот день охотился по ним очень успешно. А не так давно мне пришлось слышать по радио выступление некоего поэта. Его стихи содержали описание приро-

ды, но были в них такие слова: «И коростель своей подружке давно твердит, что спать пора!» Ну прямо для журнала «Охота и охотничье хозяйство» в юмористическую рубрику «Голубой песец на ветке». Ведь на самом-то деле звукоподражание «спать пора» свойственно только перепелу.

В мои юношеские годы охотники, конечно, знали коростеля, но многие относились к нему с презрением. Так, представители московской (и не только московской) охотничьей элиты, в том числе дедушка Дунаев, называли коростеля гнилозадым за его медленный, с отвисшим задом и ногами полет, утверждали, что стрельба по нему не спортивна, а главное, что он портит собаку.

Я же всегда считал и считаю, что всякая охота интересна, если дичь есть и собака хорошо работает. Другое дело, что работа по коростелю требует от легавой особой сноровки, но Дайда, Мордан, Шкода, Рекс, ничуть не испортившись, отлично научились справляться со скорой на ноги и ловко прячущейся птицей. А когда случалось осенью захватить пролет коростеля, то охота, несмотря на легкость стрельбы, получалась увлекательная. Памятна осень 1951 года, когда за три выезда в Виноградовское хозяйство я взял из-под Рекса, стреляя по очереди с сыном, более тридцати коростелей, причем однажды четырнадцать за охоту. Немного отстал от меня и Ярослав.

Мой дед и его единомышленники, видимо, не учитывали, что коростель портит только молодую собаку. Опытная же легавая вскоре понимает, что искать по следу птицу, упорно бегающую на небольшом участке, бесполезно. Работая верхним чутьем, пользуясь ветром и зная повадки коростеля, она сумеет прижать «гнилозадого» так, что ему волей-неволей придется взлететь.

В своем чудесном рассказе «Ржавчина» Мопассан замечательно описал работу опытной собаки по коростелю: «Когда Медор увидел, что коростель заставляет его бегать понапрасну, он сказал себе: «Погоди же, голубчик, мы еще посмеемся», загнал птицу в угол поля и стал по ней. Дальше коростелю бежать было некуда. Подумав: «Попался! Дело дрянь!», он поднялся под выстрел». Что же касается вкусовых качеств, то жирный осенний коростель заслуживает самой высокой оценки. Отец мой любил вспоминать, как в гимназические годы один из учителей, по национальности чех, просил его: «Не вóзи мне ни утки, ни бé-каса, а привези корóстеля — от то царска дичь!»

Утка сейчас стала, пожалуй, наиболее популярным объектом любительской охоты. Она многочисленна, ее легко обнаружить, с ней раньше всего знакомится большинство начинающих охотников. Я охотился по уткам, кажется, всеми существующими способами и за свою жизнь взял их немало, самых различных — от кряквы и других «благородных» уток до синьги и морянки.

Наименее привлекательной я считаю стрельбу уток с подхода. Для этой простейшей охоты требуются только знание мест, где может сидеть дичь или умение определить их на глаз в незнакомых угодьях, крепкие ноги и здоровое сердце. Приходится лазить по воде, хотя и не глубокой, но заросшей осокою, ежеголовкой и другими травами, с вязким илистым дном либо, что еще тяжелее, с высокими опрокидывающимися под ногой кочками. Воды то по колено, то по пояс, поэтому, пока стоят жаркие дни, лучше избегать высоких сапог — все равно зальешь в них. Много лучше поршни или кеды. Осенний холод вынуждает надевать высокие сапоги и выбирать заведомо мелкие водоемы. О поведении дичи в затопленной ольхе я рассказывал уже, но молодая, непуганая утка может и в травянистом мелководье вести себя так же — отплывать перед охотником и, только упершись в берег, взлетать открыто на близком выстреле. Поздней же осенью взматеревшая дичь становится весьма осторожной, так что возможность охоты подходом резко уменьшается, даже вовсе отпадает. Правда, бывают и исключения.

Уже перепархивали первые снежинки или сыпалась «крупа», а я с сыном еще охотился у Кубинского озера. Одну за другой обследовали мы курьи — длинные, затопленные, иногда проточные низины, тянувшиеся по лугам к озеру. Уток было очень мало, да и поднимались они вне выстрела. В середине дня подошли к курье, одной из самых больших — километра два длиной и до трехсот метров в ширину. В ее начале недоступно далеко разом сорвалась целая стая матерых — наверное, добрая сотня. Почти тотчас немного дальше — вторая, такая же. Остановившись, мы наблюдали, как на всем протяжении курьи взлетали одна за другой тучи уток, словно принимая эстафету от соседей. Вот улетела последняя, самая дальняя, уже едва видимая стая. Уверенные, что в курье ничего не осталось, мы за неимением лучшего решили все же проверить и влезли в мелкую воду. Не сделал я и сотни шагов, как совсем рядом вскочила здоровенная кряква, а че-

рез минуту сын выгнал вторую, такую же смирную. Обоих мы убили и начали прочесывать курью зигзагами. Пока добрались до конца, взяли пять матерок и шилохвость да по двум промазали. Все были сильно ожиревшие и сидели чрезвычайно крепко, несмотря на небогатую травянистую растительность и невысокие редкие кочки.

Подъезд на лодке с гребцом-егерем всегда претил мне барским характером этой охоты. Совсем иное — охота подъездом в одиночку, когда нужно самому гнать лодку, сохраняя и готовность к немедленному выстрелу, и меткость стрельбы. Это осуществимо в лодке, позволяющей охотнику работать только левой рукой, держа ружье в правой, а толкаться и стрелять надо стоя.

В Воронеже я практиковал и еще один вид охоты с подъезда — собирание подранков, оставшихся на водоемах к началу зимы. Лед, уже сковавший воду в камышах и затопленных кочкарниках, выгонял подстреленных летом уток на глубокие чистые плесы и на быстрики. Тут им негде было спрятаться, а ныряние ненадолго спасало от выстрела.

С вечерними перелетами местной дичи я хорошо познакомился еще мальчиком, сопровождая отца без ружья, и больше не стал бы о них говорить, если бы не две из ряда вон выходящих охоты. Одна была примечательна исключительным обилием дичи, ее необычным поведением и, в особенности, сознательной дезинформацией, лишившей меня возможности очень большого успеха.

В селе Панино (станция Тулиново между Графской и Анной) у меня был приятель-охотник. Весной 1927 года я побывал в Панине с подсадными утками и неплохо поохотился на полевых озерах, очень своеобразных. По местному их именуют кустами, так как каждое озеро (точнее, глубокое болото) полностью или почти полностью окружено каймой леса. Опушку составляют главным образом осинники, за ними идет полоса густейшей лозовой поросли.

Чем дальше, тем гуще, мокрее и непроходимее. Подход к озеру удобен только там, где кольцо леса и кустарников прерывается, а вода редко где глубже, чем по колено. Есть озера почти чистые, с отдельными куртинками камыша, есть густо уставленные высокими кочками, с которых длинная осока-резучка свисает в воду, ложится на соседние кочки, спутывается и крайне затрудняет ходьбу. Общая площадь такого куста вместе с озером обычно не превышает трехсот-пятисот гектаров. Каждый куст имеет название: Горелый, Журавлиный, Рыбий и т. д.

Места эти чудесно описаны Б. Э. Дряньским в его «Записках мелкотравчатого». Тогда, более ста лет назад, эти земли, принадлежавшие графине Паниной, далеко не сплошь обрабатывались. Участки непаханной от века степи и даже ее исконных обитателей — сурков — застал и я. Степная дичь — дрофа, стрепет — уже почти исчезла, водоплавающая же выводила по кустам в большом количестве. Но, как я узнал, осенняя охота по ней становилась возможной лишь в случае, если кусты сильно подсыхали, вода уходила из чепыги, и утка, возвращаясь с кормежки на полях, должна была размещаться по самим озерам.

Мой приятель посулил тотчас меня известить, когда условия для охоты окажутся благоприятными. И вот в октябре 1927 года последовал телефонный вызов из Панина. Звонил не сам Антон Иванович, а по его поручению начальник отделения связи.

— Ждем вас на охоту. Очень много лисиц и зайчишки есть, а у меня три собаки. Там-то полазисты! Там-то ногасты! Гоняют без скола, хоть до ночи.

Очень удивленный, я сказал, что рассчитывал охотиться по утке.

— Нет, нет! С уткой у нас сей год плохо, а уж лисиц постреляете, что надо! Не сомневайтесь.

И вот, через два дня, вечером, мы с братом Сашей вышли из вагона, имея по двенадцать патронов с дробью № 2 и № 00. Антон Иванович, ожидавший на перроне, еще не поздоровавшись, спросил:

— А где же собачка? — и, выслушав меня, начал клясть «почтаря». — У него болеет жена, нужно решать вопрос об операции. Вот он и надумал прислужиться вам своими гончими. А и собаки у него — одно название. Лисы есть, конечно, но не так уж много. Утки же я отродясь столько не видывал. По утрям-вечерям лѣтають тучмя — тучей.

Вот так номер! Что делать? У меня только два дня свободных. Утром, конечно, можно было бы уехать в Воронеж и к ночи вернуться со Шкодой и большим запасом патронов, но стоит ли? Ведь для охоты — а она будет на перелете — остается всего одна вечерняя заря. А тут подошел начальник почты, бил себя в грудь и ручался за успех охоты с гончими... В общем, поутру мы затемно выехали на телеге, направляясь к Рыбьему кусту, якобы, главному притону лисиц. Собаки «почтаря», насколько можно было рассмотреть в темноте, казались весьма невзрачными, лучшее впечатление производил рослый

выжлец Набат, которого одолжили на время охоты у соседа-охотника.

До Рыбьего было километров десять. Когда мы подъехали к попутному Журавлиному кусту, уже заметно посветлело, и мне издали удалось увидеть, что над деревьями поднялась масса уток. Они тут же разбились на стайки и разлетелись в разные стороны.

— Ушли кормиться, — сказал Антон Иванович. — Теперь — до вечера, а там все назад сюда соберутся. Да это что! В Рыбьем утки не в пример больше.

Для меня это было неожиданно: на Усманке, на Воронежке, на Дону дичь кормилась в полях ночью, а на водоемах дневала, здесь же получалось наоборот. Потом я сообразил, что кусты недостаточно кормны, а уборка хлебов закончилась, и утки могут жировать на полях весь день, без помехи. Эх! Нужно было все-таки пожертвовать днем охоты, съездить в город, зато уж пострелять хоть одну зорю, но сколько душе угодно. Проклятый почтмейстер! А он все твердил, что лисиц будет навалом.

Добрались до Рыбьего куста, когда совершенно рассвело. Тихое пасмурное утро, увлажненная недавними дождями почва, прибитый к земле опавший лист — все благоприятствовало охоте с гончими. Но хваленые ногастые собаки в полаз не пошли, только Набат углубился в чащу, вскоре помкнул, кое-как прошел круг и скололся окончательно. Найдя тропинку, я с трудом выбрался из зарослей на кочковатое заболоченное озеро с отдельными небольшими затянутыми ряской плесами. Подобной картины мне видеть не доводилось. Макушки большинства кочек вместо травы были покрыты слоем утиного помета, сохранилась только раскинувшаяся по сторонам осока. Всюду, на траве и на воде, виднелись бесчисленные перья и пух — казалось, что я попал на огромный, неопратно содержащийся птичий двор.

Но сейчас озеро было пусто. Путаясь в полегшей осоке, я прошел его поперек — метров четыреста от берега до берега — и не поднял ничего. Наше дальнейшее тоскливое хождение по лесу Рыбьего куста, по бурьянам вокруг него несколько оживила единственная встретившаяся нам лиса. Собаки погнались по зрячему, но один Набат проводил лисицу с километр, а «тройка почтовая» сразу вернулась к хозяину. Он, наконец, сдался, забрал своих «полазистых» и ушел пешком домой. Мы же трое с Набатов вернулись к подводе, поели и остались ждать вечера.

Но и вечерняя заря не сулила ничего хорошего. Охота с дюжиной «лисых» патронов в тех местах, где и днем

найти без собаки утку, завалившуюся под навес осоки, было весьма трудно, — перспектива не обнадеживающая. Хмурое небо понемногу тускнело, на западе наволочь облаков окрасилась желтизной — пора становиться. Брат ходил в солдатских ботинках с обмотками. Он устроился на сухом, в кустах у берега чистого заливчика, вдававшегося в поле, я же на самой середине озера выбрал высокую, прочную кочку и уселся.

Темнело, а дичь не появлялась. Уже слились в неровную гряду вершины приозерного леса, уже мушка плоховато видна на фоне мутно-серого неба... И тут птица словно из мешка посыпалась. Небольшими стайками, тройками, парочками утки — исключительно кряквы — появлялись отовсюду и, не кружась, с ходу рассаживались по озеру. Со всех сторон крылья свистели, шипели и хлопали при посадке. Ежеминутно матерки налетали мне чуть не на голову. Сперва они шарахались в сторону, но быстро темнело, и утки начали садиться бесцеремонно в пятнадцати-двадцати шагах.

Стрелять в полумраке по внезапно и близко появлявшейся птице, идущей на посадку, притом неподходящей дробью, было трудно, да, признаться, я и загорячился. Упало то ли четыре, то ли пять уток, а в руках — ни одной. Только сделаешь два-три шага к упавшей — налетает другая, ударив по ней, теряешь место, где свалилась предыдущая, и так раз за разом. Патроны быстро кончились, осталось два неприкосновенных картечных. Наугад бродя между кочками, непрерывно сгоняя уже усевшихся уток, отмахиваясь от налетающих, спотыкаясь, чуть не падая, я каким-то чудом нашел пару убитых. Стало совсем темно, пришлось прекратить поиски. Насилу выбравшись на берег, я подошел к Саше. Он стрелял только по шести, убил трех, все они лежали возле него.

— Так ты разувался? Ведь холодно, подождал бы меня, — сказал я.

— Нет, мне Набат достал, он тут сидел под кустиком.

Подумалось: не вернуться ли в кочки с собакой? Но она уже ушла к подводу за Антоном Ивановичем. Оставалось только порадоваться удаче младшего брата, я и порадовался, но досада меня грызла. Мне бы десятка четыре патронов с дробью № 6 и Шкоду. Вот была бы охота!

Следующий день ушел на пополнение боезапаса. Наш хозяин и разосланные им гонцы обошли все Панино, раздобыв кто пару латунных гильз, кто горсть пороха и т. д. Взял я контрибуцию и с начальника почты, пред-

варительно осмотрев его супругу. В конечном счете мне удалось снарядить двадцать патронов с дробью от № 7 до № 3, у Саши набралось восемнадцать. Антон Иванович своевременно запряг свою сытенную кобылку, опять прихватил Набата, и мы покатили. Я решил остаться в Журавлином кусте, а они с Сашей уехали на вчерашнее место. Вечером разъяснило, похолодало, заиграли яркой зеленью озими и багрянцем последние листья на осинах.

Озеро в Журавлином было чистое, с отдельными гривками камыша. Я забрался в камышик и ждал, преисполненный надеждами, вечера. Никто здесь не охотился, патронов порядочно, кругом совсем чистая, мелкая вода. Дичь появилась очень рано. Закат еще горел в полную силу, а надо мной высоко пронеслась порядочная стайка уток, за ней вторая, еще и еще... Все летели на недостигаемой высоте, проходом. А когда смеркалось, полет полностью прекратился, только множество болотных сов беззвучно проплывало над открытой кочковатой частью берега. За весь вечер я сделал один выстрел: выбил из сравнительно низко летевшей партии матерого селезня. Точно так же было и в Рыбьем — никто не стрелял, отличился только Набат — нашел одну из моих вчерашних уток, битую наповал.

Утром все объяснилось: на рассвете ударил мороз, крыши домов, трава побелели от инея, вода в рукомойнике у крыльца замерзла — значит, дичь, заблаговременно почуяв похолодание, ушла из кустов куда-то на глубокие водоемы.

Другая вечерняя охота памятна «подвигом» сына. Ему было десять лет, он еще не дорос до ружья и ходил со мною, как я когда-то с папой. Я стоял по колено в воде, укрытый кустом лозы, а Ярослава посадил в стороне на крохотный островок, где его скрывала высокая осока. Едва село солнце, как прилетела матерка, вскоре — вторая, обеих удалось убить. Третья появилась уже в полумраке, шла высоко, после выстрела закувыркалась с перебитым крылом и упала на чистую воду к тем самым высоким кочкам, где прятался сын, сидела там, вертела головой, озиравлась. Выстрелить по ней не позволяла близость мальчика; еще минута и она уйдет в траву. Вдруг мой наследник «ласточкой» вылетел из своего укрытия и плашмя упал на утку. Скрылся под водой и выскочил, держа за шею отчаянно бившуюся матерку. Тут я окончательно убедился: сын будет охотником, притом самоотверженным.

По осенней пролетной утке на большой воде я редко охотился с чучелами и тонкости такой охоты постиг, толь-

ко лишившись Рекса. Помимо возможности повидать большое скопление полноценной взматеревшей птицы и много пострелять по ней, помимо красоты обширных водных пространств, охота радовала тем, что, войдя в лодку, взяв весло или шест, я переставал ощущать свои годы, уже очень заметно сказывавшиеся при ходовой охоте. С лодкой же я еще лет пятнадцать справлялся так же уверенно и легко, как в молодости. Много было очень интересных охот сперва в Белоруссии, на Выгоновском озере, и особенно потом, начиная с 1964 года, в Каспийских охотхозяйствах Военно-охотничьего общества и «Московского охотника». Кроме обилия дичи, успеху способствовала большая высадка чучел — их у нас на двоих было около пятидесяти, притом отличного качества. Изготавливавшиеся в Омске резиновые чучела по форме точно совпадали с фигурами уток соответствующих пород, а некоторые ошибки в цвете легко было исправить, смешав масляные краски с резиновым клеем.

Второе условие успеха — удачный выбор места. На Выгоновском озере, сравнительно небольшом, это было нехитро. Вечером дичь летела к берегу в камыши, утром — к середине озера на чистую воду, где и проводила весь день. Другое дело — Волжская дельта: то необъятные, в десятки и сотни гектаров, плесы — чистины, то заросли кундрака или чакана — высокого водяного разнотравья, то непролазная чаща трех-четырёхметрового тростника, встававшая из воды отвесной неприступной стеной.

Мелководье, чуть ли не повсеместно проходимое в высоких сапогах, почти везде обеспечивает кормежку дичи. Она и здесь на ночь собирается к тростникам на маленькие плесы и в култуки (заливы), заросшие кувшинками, рдестом, чилимом, всякими водорослями, а утром уходит дневать на просторные чистины. Но таких чистин много, а осенняя, охотно сбивающаяся в стаи утка концентрируется лишь на некоторых. Вот эти-то места концентрации и нужно определить, иначе нельзя рассчитывать на хорошую охоту. Время, считающееся самым ценным — от рассвета до восхода солнца, иногда и дольше, — уходит на поиски. Зато, найдя хорошее место и правильно устроившись на нем, можно охотиться весь день, а дневная охота нам казалась особо привлекательной. Правда, стрельбы меньше, зато видимость хорошая и удовольствие продолжительное.

Правильно устроиться — значит поместиться как можно ближе к середине плеса, надежно замаскироваться и обеспечить себе свободный круговой обстрел. В Каспий-

ских хозяйствах мы часто охотились в местах, где вода не доходила и до колена, так что просто и удобно было пользоваться сидушкой — скамеечкой на одной ножке, глубоко втыкающейся в дно. При этом кулас оставляли где-нибудь достаточно далеко от засидки и надежно его скрывали. Поначалу, еще не имея опыта, я соблазнился тростниковой стенкой на краю чистины и стрелял с укрытого в ней куласа. Это было ошибкой: не удавалось выстрелить ни назад, ни в стороны, а утки, налетавшие «на штык», не раз падали за моей головой в недоступную гушину да еще с заломами прошлогоднего тростника.

На сидушке же охотнику легко укрыться в небольшом кусте достаточно густой и высокой растительности, даже в ежиголовке, и стрелять в налетающую птицу. Я очень любил маскироваться с помощью наружного полотнища старой сетки — трехстенки. Метра четыре такой сетки, растянутой на шести кольях, окружают сидящего человека почти полностью, а в ее большие ячей вставляют пучки травы, тростника и т. п. Даже при полном отсутствии естественного укрытия удается быстро поставить на чистой воде достаточно густой заслон. Вместе с камуфлированным головным убором — капюшоном, он надежно скрывает охотника. Если глубина по колено и выше, то охотиться на сидушке уже трудно: сядешь и как раз зачерпнешь воду задним краем голенища.

Пока устроишь засидку, высадишь чучела, птица, конечно, отойдет в другую часть плеса. И там, на воде, едва видна масса плавающих и перепархивающих уток, доносится криканье матерых, попискивание чирков. Успокоившись, дичь постепенно возвращается на прежнее место, подлетает и со стороны, перемещаясь с одной чистины на другую.

При дневной охоте очень большую роль играет ветер. Чем он сильнее, чем больше тревожит птицу на чистой воде, тем чаще отдельные утки и небольшие стайки поднимаются, перелетают, проносятся у края чистины, а заметив чучела — подворачивают к ним, нередко и подсаживаются. При большом ветре количество дичи на мелководье увеличивается. Она не так охотно держится на глубине, где волна заметнее беспокоит ее. Наиболее благоприятен сильный южный и юго-восточный ветер. При моряне, достигающей степени шторма, огромные массы дичи уходят от моря вверх по дельте. Мне никогда не случалось видеть эту, говорят, поразительную картину — пестрящее бесчисленными стаями уток и гусей небо. Но заметное увеличение количества птицы при довольно силь-

ном ветре с моря не раз обеспечивало нам отличную охоту.

Как бы активно ни вела себя скопившаяся на плесе дичь, как бы часто ни попадала она под выстрелы, проносясь над водой, а следить нужно и за дальними ее перемещениями, замечать, где она чаще кружится и охотнее садится. Прижившаяся на данной чистине утка через день-два начнет старательно облетать засидку, и придется устраиваться на другом месте, заранее намеченном. Не раз бывало и так, что необходимость сменить место становится очевидной уже в первый день охоты, даже в первые часы.

При полном безветрии и дичи меньше, и сидит она на воде прочно. Разноголосые крики уток только дразнят охотника. Однако и тут находились у нас помощники. Стоило ястребу, луню и особенно орлану-белохвосту появиться в небе над чистиной, как все скопище уток разом взлетало с таким шумом, словно поезд пронесся по рельсам. Темной тучей птицы поднимались в воздух, разбивались на стайки, начинали носиться над водой, над кундраками, налетали и на засидку. Иногда удавалось сделать четыре-пять выстрелов, прежде чем пернатый хищник удалится. Утки немедленно снова собирались на прежнем месте, и все стихало до нового переполоха.

Согласно шуточной семейной традиции, следовало звать к «охотничьим дхам», чем подчас я и занимался, придумывая различные варианты обращения к ним, даже стихотворные, например: «Вас прошу от всей души: духи, будьте хороши! Бью вам низкие поклоны, будьте, духи, благосклонны! Вы уважьте старичину, подгоните мне дичину!» Сочинение подобной ерунды с успехом заполняло слишком долгие паузы.

Но тихо или ветрено, а день чаще всего ясный, солнечный, со сверкающей водой, с летучими нитями паутины, с лебедями-великанами. Еще несколько лет назад чрезвычайно осторожные, они, оказавшись под защитой закона, стали доверчивыми, бесстрашно подлетали вплотную, садились неподалеку и на выстрелы по уткам обращали мало внимания. Заслышав издали скрипучий свист их крыльев, так интересно было наблюдать приближение громадных птиц — обычно двух чисто-белых родителей и нескольких еще серых молодых — и не испытывать при этом никаких охотничьих вожделений.

На ранних (до середины октября) охотах случалось видеть пеликанов, ловивших рыбу коллективно — загонем, белых колпиц с клювом-лопаткой, темных караваек, формой изогнутого клюва похожих на кроншнепа. Очень

запомнилась моя первая встреча с белыми цаплями, некогда почти истребленными в угоду модницам. Их длинные, рассученные в тонкие лучи перья — эгретки, — давно уже никому не нужны, но птицы по-прежнему под запретом и сильно размножились. Большую стаю этих цапель, выстроившихся в линию по краю чистины, я издали принял было за длиннейший ряд свежепобеленных избушек, неизвестно как очутившихся здесь, в десятках километров от суши.

Многочисленных бакланов, пролетающих вдали, не сразу научишься с первого взгляда отличать от гусей. Черные, с хищным крючковатым клювом, горластые, они нередко занимались рыбной ловлей рядом со мною, потом рассаживались по кундракам, раскрыв на просушку мокрые крылья. Поздней осенью по утрам бакланы тысячами летели к морю, пересекая чуть не половину небосвода извилистыми темными полосами растянувшихся по фронту стай. Все это не давало соскучиться, даже если дичь шла плохо.

Но близился вечер, утки начинали уходить, и часа за два до зари на чистине ничего не оставалось. Теперь следовало осмотреть замеченное днем присадистое место и выбрать там укрытие для будущих охот, а то и сразу перенести туда засидку; затем — обратный путь на базу. Пышно разгорался, потом меркнул закат, зажигалась первая звезда. Кундраки сливались в сплошную темную массу. С высоты слышались печальные вопли цапель, летевших на ночлег куда-нибудь к дальним деревьям, откуда-то доносился гусиный гогот. Вспыхивал впереди маячный огонь, в стороне мигал карманный фонарик — сигналили друг другу возвращавшиеся охотники.

Если до базы далеко — километров восемь и больше — хорошо заночевать в кулase вблизи чистины. Это и силы сбережет, и избавит от ночного переезда к месту охоты, не всегда простого. Путь не труден, когда идет прокосами — искусственными проездами через травы и камыши, проложенными для удобства рыбного промысла. Без них даже в полнолуние можно запутаться, заехать в густые кундраки, где и намучаешься, и потеряешь много времени. Ночевать же, затащив кулас в чашу высоких тростников метров на пять-шесть от подветренной стенки, — одно удовольствие. Там всегда тихо, тростник сохраняет дневное тепло; даже при заморозках не приходится зябнуть.

Расстелешь в лодке ворох сухих хрустких стеблей, разуешься, наденешь под меховушку запасной толстый свитер, укроешься плащом и спишь, как дома. Сон, правда,

часто прерывается. То утки-матерки тихонько побрякивают, щелочут клювами, кормясь у самой стенки, плещутся, отряхиваются, хлопая крыльями; то металлическим с хрипотцой голоском пискнет чирушка, то лысуха, ночующая на тростниковом заломе, цокнет спросонок. Иной раз гуси с перекличкой протянут где-то неподалеку. А то кабаны с хрюканьем и плеском проломаются через камыши в поросший орехом-чилимом култук... Но проснешься, послушаешь, и опять наплывет сладкая дремота, а время летит быстро, вот уже пора собираться.

Нужно только соблюдать золотое правило: лег спать — значит, охота кончена и за ружье нечего хвататься. В лучшем случае это бесполезно, в худшем — опасно. Один охотник, почтенных лет и высокого воинского звания, готовясь ко сну, влез в спальный мешок, затянул «молнию» до подбородка, но задремать не успел — загоготали гуси. Ближе и ближе, идут прямо на него, ночь лунная, налетят — так разглядеть их удастся... Он спешит освободиться, а «молния» заела. Забарахтался, да так в застегнутом мешке и выпал за борт, чуть не утонув в мелкой, по колено, воде. Другой мой знакомый в аналогичной ситуации, только без мешка, поспешно вытаскивая ружье, завязшее между тростниковой подстилкой и одеялом, нечаянным выстрелом пробил днище куласа. Еле-еле добрался он до дома, заткнув отверстие портянками.

Охотясь на сидушке на самом мелководье, приходится стрелять почти исключительно благородную утку: крякву, шилохвость, серуху, широконоску, чирка. Нырковые породы и свиязь предпочитают более глубокие чистины, где воспользоваться сидушкой нельзя. Между тем массовый пролет нырковой утки очень заманчив уже потому, что она, в особенности хохлатая чернеть, наиболее охотно подсаживается к чучелам, даже не слишком разбирая их «породы». Скопления нырковой утки на самых просторных и глубоких чистинах бывают велики; здесь держатся чернеть, гоголь, красноголовый и белоглазый нырок. Понятно, охотиться нужно с куласа с чучелами на длинных привязках, с грузом, а не с колышками.

Нелегко бывает с маскировкой. Хорошо, если на плесе есть одна-две куртинки тростника или рогаза, могущих укрыть и кулас, и сидящего в нем охотника. В противном случае хочешь не хочешь, а нужно строить лодочный шалаш, хотя и не такой густой, как для весенней охоты (молодая птица не так осторожна), и сверху открытый для стрельбы влет. Все-таки и времени, и материала на это сооружение уходит много. Бывало так: нагрузишь ку-

лас ветками и кольями, что сам едва умецаешься, а все равно не хватает; нужно ехать на ближайший лесистый островок за новым грузом. Зато при удачной маскировке на глубокой, изобилующей нырковыми утками чистине, можно успешно охотиться несколько дней подряд — пролетная дичь ежедневно обновляется и не привыкает бояться засидки.

На таких плесах интересно ночевать. Нырковая утка не вся уходит с них на ночь, часть остается на чистине и криками дает знать о своем пробуждении. Еще темно, над восточным горизонтом едва наметилась полоска смуглого румянца, а уже проснулась и каркнула одна чернуха, откликнулась и, отряхиваясь, захлопала крыльями другая — пора в засидку. Ее иногда не вдруг найдешь в темноте, да и чучела нужно высадить. Оставлять их на ночь не следует: если поднимется ветер, то на глубокой чистине он может опрокинуть чучела, и они, набрав воды, затонут. Едва устроишься — а дичь уже пошла.

Высоко в небе слышен то свистящий полет хохлатых чернетей, то звонко дребезжат крылья гоголей; поморы на севере так и зовут гоголя — звонком. Проснулась вся ночевавшая на чистине птица. С шумным разбегом поднялась стая чернетей — взлетела для утренней «разминки», покружилась и снова с плеском села. Стало чуть светлее — птица начинает подлетать и низом рассаживаться по плесу. Стрелять влет еще невозможно, и чучела не видны пролетающим уткам.

Издали, от моря, донеслись первые, гулко, с отголосками отдающиеся по воде выстрелы. Я же пропускаю еще пару каких-то уток. И ожидание оказывается недолгим; близится дребезжащий звон полета, ближе, ближе... разом переходит в резкий, шипящий звук. Над чучелами, у самой воды, лощит (планирует) тройка гоголей. Садятся! Нет, опять задребезжали, скрылись... Это они пошли на круг и, вернувшись, опускаются на воду против ветра. Один хорошо виден у чучел на отблеске зари. Выстрел кажется таким громким, так раскатывается, что даже немного стыдишься грубого нарушения тишины... Всюду шум крыльев взлетающей птицы, а гоголь неподвижно лежит среди поднятых дробью брызг. Почин есть! И впереди целый день охоты.

На эти же большие, сравнительно глубокие плесы обычно собираются массы лысух — их в Астрахани именуют по-тюркски кашкалдаками. У некоторых охотников, тех, кто афиширует свое «чисто спортивное» отношение к охоте, лысухи в пренебрежении — и зря. Правда, добыть

лысуху летом очень уж просто, она неосторожна, близко подпускает лодку. Ничего лестного нет и в опустошительном выстреле в стадо кучно плывущих мимо засидки осенних кашкалдаков. А вот возможность выстрелить по лысухе влет представляется не часто.

Даже появление пернатого хищника не заставляет сборище лысух взлететь. Наоборот, они поспешно, с сильным шумом и плеском сбиваются в кучу, крылом к крылу и, как рассказывают, при попытке нападения на них опрокидываются на спину и встречают воздушного пирата ударами своих длинных мощных лап, снабженных достаточно острыми когтями. Впрочем, сам я никогда не видел, чтобы лунь или даже орлан бросился сверху на сгрудившееся стадо лысух.

На Выгоновском озере отстрел водоплавающей дичи в те годы не ограничивался, а в первые шесть лет нашей охоты в дельте Волги норма его была очень велика. Но и в Белоруссии, и на Каспии я стрелял из рук вон плохо. Охотившись ряд лет почти исключительно с легавой собакой, совсем отвык от стрельбы по налетающей птице, а лишившись Рекса, вообще бывал на охоте редко. На перелетах же приходилось охотиться обычно десять дней в году, так что не было возможности восстановить утраченный навык, а главное — избавиться от чрезмерного волнения. Не успеешь привыкнуть, а уже пора возвращаться в Москву.

Именно недостаток выдержки вел к наиболее обидным промахам. Труднее всего попасть в «штыковую» птицу, если она снижается. Так как раз часто бывает на охоте с чучелами. Утка идет низко, прямо на засидку и уже планирует на подогнутых крыльях, опускаясь к чучелам. Тут нужно либо подняться ей навстречу, заставив взмыть, либо затаиться, дать утке сесть. И как же часто я, забыв эту азбучную истину, стрелял в самый невыгодный момент, по спускающейся птице, и почти обязательно мазал.

Раз три кряковых селезня с интервалами не более пяти минут хотели сесть к моим чучелам, и я не взял ни одного. Каждый раз повторял ту же ошибку — пуделял первым, а затем, на подъеме, и вторым выстрелом — уже от полного расстройств чувств.

Только однажды я стрелял отлично, как в доброе старое время: с рассвета до полудня взял пять крякух, шилохвость, двух чернетей, широконоску, лутка и гуся, сделав всего один досадный промах.

Когда норму сократили до тридцати пяти штук, а для дичи ввели «выходные дни», мне уже перевалило за семь-

десять лет и на большее я все равно не мог и не хотел претендовать.

При охотах поздних, в конце октября — начале ноября, вопрос о сохранении добытой дичи решался просто. Достаточно было, вернувшись на базу, тотчас выпотрошить уток: ошипав живот, вскрыть его широким разрезом, удалить внутренности, всыпать в брюшную полость порошок горчицы и им же набить уткам рты. Подвешенные за шею в тени и на ветерке они сохранялись отлично. Только дважды до ночных заморозков пришлось прибегнуть к более сложному процессу консервации — погружать полностью ошипанную выпотрошенную птицу в кипящий тузлук — крепкий раствор соли. Через две-пять минут (кряква — подольше, чирок — побыстрее) утку вынимают из тузлука и подвешивают. Обсохнув, она покрывается тонкой пленкой соли, почти не проникающей в глубину и мало изменяющей вкус мяса, если тушку хорошо отмыть перед жарением. Но такая «тузлученная» дичь не годилась для подарка, и жена моя лишалась удовольствия поделиться ею с родными и друзьями...

До чего важно хорошо осмотреть место, на котором собираешься устраивать засидку! Раз, найдя облюбованную дичью чистину, я расположился на ней, не заметив в сумраке кольев, торчавших из кундраков у открытой воды. Но едва была убита первая утка, как по проколу на трех бударах подъехали рыбаки и принялись осматривать свои сети-ловушки. Только тут я разглядел, что колья тянутся бесконечной линией по всему моему краю чистины. Пришлось уехать на поиск нового места. Кстати, обнаружив сетки, поставленные в траве и лишь до половины покрытые водой, следует убедиться, не попались ли в них утки. Случалось находить и освобождать птиц, иногда настолько истощенных, что они, отпущенные на волю, не могли взлететь и уходили вплавь. Рыбаки осматривают свои снасти не часто — рыба ведь долго способна жить в ловушке.

Осенняя охота с чучелами увлекательна, а все же я не могу сравнить ее с охотой по весенним селезням. С 1922 по 1929 год я вел свою породу подсадных, происходившую от типичной тульской утки и диких селезней, кровь которых все больше подмешивалась в потомство. Все мои криковые работали хорошо, особенно Желтоноска — та самая, которую я потом заранил рикошетом дроби. Ей не удавалось подозвать только очень напуганного, «с высшим образованием», селезня; она запросто могла отбить матерого у его «законной» дикой супруги. Селезень, не заду-

мываясь, бросал свою утку, подсаживался к Желтоноске, пылко за ней ухаживал и, добившись успеха, не желал вернуться в лоно семьи. Напрасно его покинутая подруга звала изменника — он уже был пленен Желтоноской.

Вспоминая охоты с ней, могу только дивиться рассуждениям о том, что селезень летит к подсадной, чтобы прогнать ее с охраняемого им гнездового участка; на такие домыслы способен лишь человек, никогда не видевший работу криковой утки. А она доставляет охотнику огромное удовольствие, понятно, при условии, что подсадные принадлежат ему, им отобраны, воспитаны и вызорены (натренированы). Охотиться с такими утками — почти такое же наслаждение, как стрелять из-под хорошо работающей, тобою натасканной собаки.

Как ни странно, но этого не понимают некоторые знакомые мне весьма опытные охотники, считающие выстрел по сидящей на воде птице ниже своего достоинства. Они предпочитают стрелять прилетевшего селезня влет. Но ведь этим нарушается стиль охоты с подсадными, при которой достоинство охотника определяется вовсе не меткостью. Попасть в сидячего селезня не хитро (впрочем, бывают и позорнейшие промахи), но сперва нужно его посадить. Вот для этого-то и требуется мастерство — умение подготовить себе рабочих уток, выбрать место, замаскироваться так, чтобы ничто не показалось птице подозрительным, овладеть искусством подманивать чирка.

Все это венчает посадка селезня. Именно посадка, а вовсе не выстрел, составляет «изюминку» весенней охоты. Говорят, что можно дать селезню сесть, а затем вспугнуть его и стрелять на подъеме. Позволительно спросить охотника, щеголяющего этим приемом, станет ли он, подойдя к поющему глухарю, сознательно сгонять его с дерева, чтобы не унизить себя выстрелом по сидячей птице?

Несравненно чаще влет стреляют не из принципа, а те, кто выезжает на весеннюю охоту, не имея представления о ее правилах, либо не считая их для себя обязательными, кто не располагает необходимым оснащением или не знает, как им пользоваться. В этих условиях не приходится ждать, чтобы дичь подсела к шалашу. Соскучившийся охотник встает и открывает огонь по пролетающим уткам, пугая их и рискуя убить самку. Потом он в лучшем случае уходит домой, чаще же начинает шляться по угодьям — а это уже прямое браконьерство, так как весною ходовая охота запрещена.

В Воронеже и его окрестностях любителей весенней охоты было множество, большинство из них имело хороших рабочих уток, и я даже со своей Желтоноской лишь раз взял трех матерых селезней за зорю — слишком велика была конкуренция. Петр говаривал, что по Инютинке «курени стоят, как улица, а утки кричат, словно собаки по дворам брешут». Примерно та же картина бывала и на Усманке. Зато в охоте на чирка я в Воронеже имел мало соперников, а в последующие годы их не было совсем. Этим я обязан своим учителям — отчасти Петру, главным же образом Ф. И. Веневитинову, с которым мы две весны подряд охотились на Инютинке. Об этом моем наставнике нужно сказать несколько слов.

Основным содержанием жизни Федора Ивановича была охота. Человек далеко не зажиточный — слесарь железнодорожных мастерских, — он держал пару гончих собак, пойнтера, уток, имел два отличных ружья. Весеннюю охоту Веневитинов знал настолько, что при нужде мог обходиться без подсадных. В Воронеже было принято охотиться с парой криковых, утки к этому привыкли и в одиночку работали слабо — моя Желтоноска составляла редкое исключение. Так вот, случалось, что Федор Иванович отдавал обеих своих криковых охотнику, приехавшему на кордон к Петру без уток, а сам мог посадить селезня, крякая в кулак, чему я так и не научился; зато, пройдя его школу, всю жизнь пользовался только самодельными чирковыми манками и умение изготовлять их передал сыну.

Веневитинов показал мне также, как использовать чирковую дудочку для подманки широконосого селезня. Если повернуть ее другим концом, раструбом к губам, и короткими вдохами тянуть воздух в себя, то получаются звуки, вроде «хок! хок! хок!» имитирующие весенний крик самца широконоски. Селезень неплохо идет на эту подманку то ли в поисках общества, то ли желая подраться.

Лишь с помощью дудочки мне в 1928 году удалось рассеять предубеждение отца против весенней охоты. Я охотился на Усманке, в Лосеве, всю весну уговаривал его присоединиться ко мне и наконец соблазнил. На майские праздники — последние дни охоты — он приехал с нашим другом И. Ф. Мейером. Сперва отец поручил мне Ивана Федоровича, а сам сидел в шалаше на берегу сухого острова. Получилось не слишком удачно; отцу стрелять не пришлось — манить чирка он не умел, матерых селезней не было. Я же посадил не менее пятнадцати трескунков, но Иван Федорович, человек очень грузный, так неловко

ворочался в лодке, раскачивая шалаш, что стрелять ему удалось лишь по семи, а убить — пять. На завтра со мною поехал отец и мой самый младший брат. В полумраке на первый же писк дудочки подсел чирок, но разглядеть его на воде не удавалось. Я еще два раза «квикнул», чтобы он обнаружил себя, и увидел, что трескун пробирается уже сквозь хворост шалаша. Он ткнулся носом в борт лодки, повернул назад, взлетел, но при звуке манка опять шлепнулся на воду, и отец убил его. Мы не успели выехать из куреня, как утки начали осаживать матерого. Селезень, уже ученый, долго кружил, наконец сел очень далеко, но папино «Лебо» его достало. А потом мне удалось подманить одного за другим десять чирков. Тут мой убежденный противник весенней охоты вошел в такой раж, что начал меня понукать, чтобы я еще «трубчанул». Трех сидячих чирков он в горячке промазал, одного подранил и никак не мог дострелить — пришлось мне добить чирка веслом. Последний селезенчик был предоставлен брату. Отец передал ему ружье, он долго наводил, наконец выстрелил и попал — это была первая убитая им дичь. Так у нас набралось восемь чирят и матерой селезень. Отец был доволен сверх меры.

— Да. Жаль, что я так поздно узнал эту чудесную охоту! — сказал он, когда я гнал лодку к дому.

Весенняя охота по селезням и осенняя с чучелами не требуют помощи надежной собаки. Но она необходима при охоте ходовой и на вечерних перелетах — без нее значительная часть птиц гибнет напрасно. После войны мы с сыном, охотясь подходом, без собаки на Кубинском озере и Ладоге, подсчитали, что теряем около двадцати процентов упавших уток, главным образом — подстреленных. При возможности дострелить подранка это нужно сделать немедленно, независимо от способа и места охоты и наличия собаки. Мне не раз удавалось вторым выстрелом добить падающую подстреленную утку еще в воздухе.

Дикие гуси! Сладкую тревогу вызывали они, бывало, в моей детской душе, появляясь весною над городом. В Воронеже еще не было ни трамвая, ни большого числа автомобилей, и уличный шум не мешал услышать доносившийся из-под облаков говор пролетной гусиной стаи. Остановившись, посмотришь вверх и видишь: вот они идут высоко в небе, построившись углом, недостижимые и желанные! Не раз видел я их и сопровождая отца на тягу, всегда на такой же огромной высоте. Отец мой, насколько знаю, за всю жизнь не сделал по гусям ни одного выстрела. На меня до Беломорска только дважды они налетали

случайно, не очень высоко — впоследствии я не раз «спускал» с такой высоты гуся, стреляя дробью № 1 или № 2. А тогда, заметив гусей издали, спешил перезарядить ружье крупной (двенадцать штук) картечью, стрелял, а гуси только галдели тревожно, метались и набирали высоту.

В Беломорске же пришлось мне поохотиться на гусей не случайно, а по правилам. Правила были несложны. И весной, и осенью гусь во время отлива сидит в море на отмелях и лудах — небольших безлесных островках. С приливом начинается его перемещение к берегу, на просторные прибрежные луговины, травянисто-моховые, богатые клюквой. Места кормежек из года в год почти не меняются; одно такое, к югу от Беломорска, знал мой сослуживец. Мы поехали туда ранней весной, когда гусей было немного, но мой компаньон все же убил пару гуменников (серого гуся на Белом море не бывает), а я осрамился — стрелял из своей «тулки» по трем и не взял ни одного, после чего и приобрел «Тэата».

Но только на следующий год удалось попасть на знакомое место. Путь туда от Беломорска неблизкий, за Куз-реку. К тому же вышла задержка с машиной, и мы сильно запоздали — попали на место при низкой воде, когда вся птица была в море. Погода стояла отвратительная: холод, сильный ветер, временами мокрый снег. Выдержав часа два, я, совершенно окоченевший, вынужден был перейти подальше от моря под защиту леса. В относительном затишье нашлась довольно обширная клюквенная гладь и на ней несколько лозовых кустов. В одном из них можно было хорошо замаскироваться. Нарвал сухой травы, нарезал веток, влез в середину куста, ружье прислонил к нему снаружи и принялся за работу.

Она уже близилась к концу, когда налетел мощный снеговой заряд: вихри мокрых хлопьев залепляли глаза. Тут послышался гогот и в снежной крутоверти появились гуси — шесть или семь штук. Они, тоже ослепленные метелью, медленно, против ветра, опускались на мою поляну. А ружье за ветками... Проклиная себя за беспечность, я выпрямился, перегнулся через куст, схватил «Тэата», передвинул предохранитель. Какое счастье! Гуси, ничего не заметив, сели на мох слева, метрах в тридцати. Сели только что, еще стояли вертикально, высоко подняв крылья над головами. Ну, теперь все!

Я выстрелил «единицей» по двум ближайшим, оказавшимся в створе. Один повалился на месте, другой, тщетно пытаясь взлететь, побежал по кочкам мимо меня. Ударил

в подранка «пятеркой» — гусь лег. Торжествуя, я направился к нему, подошел почти вплотную и тут он вскочил на ноги, замахал крыльями и тяжело взлетел — ружье-то не заряжено... Оставалось надеяться, что птица все же упадет. Не тут-то было! Она еле-еле у самой земли протянула над лугом, потом над водой, над морским льдом, далеко отошедшим от берега и скрылась в снежных вихрях. Только тут вспомнилось, как в 1915 году дед, рассказывая о своих охотах, сказал мне: «Никогда не подходи к упавшему гусю с пустым ружьем. Как раз очухается и улетит!»

Дорога полностью оттаяла, стала непроезжей, и прошло две недели, прежде чем можно было снова попасть на Куз-реку. За это время я взял пару гусей у семафора уже известным читателю дублетом и сходил пешком к северу от города на Выг-Наволоку, большой лесистый мыс, сильно вдающийся в море. Поход был неудачным, без единого выстрела, но доставил большое удовольствие красотой местности и обилием дичи, хотя практически недоступной.

Пройдя по некогда благоустроенной, но давно заброшенной лесной дороге, миновав полуразвалившиеся бараки времен строительства Беломорско-Балтийского канала, я вышел из сосняка к берегу и остановился, пораженный открывшейся картиной. Море поистине было Белым! Белое, с чуть голубоватым оттенком цвета снятого молока, тусклое, как матовое стекло. А над ним точно того же цвета небо, затянутое тончайшей дымкой. Солнце, клонившееся к закату, светило сквозь наволочь тоже тускло, и море так сливалось с небом, что различить границу не было возможности. Вот плавают чисто-белые льдины, но только ближние, действительно, остатки зимнего льда, а дальние — это облачка, низко нависшие над морем. Смотришь — и не поймешь, где льдина, а где облако.

Далеко над морем тянется цепочка черных птиц, а в бинокль видно — это моторный катер с четырьмя карбасами на буксире. Волшебство! И с голубовато-белой бездною изумительно контрастирует полоса прибрежного песка — перемолотого волнами гранита, темно-розового, почти лилового, словно раствор марганцовки. Дальше — обнаженное отливом илистое дно, а на нем валуны, как разбредшееся стадо. Это для зрения, а для слуха — неумолчный птичий гомон. Хор составляли гуси и чайки, а солировали полярная гагара и гагун — селезень гаги. Их зычные вопли то и дело покрывали голоса хористов.

Но передо мною море было пустынным — только чайки

вились над ним, а гогот гусей доносился слева, от мыса. Следовало двигаться туда — вода уже прибывала, — хоть и жаль было отвести глаза, так бы и сидел здесь под приземистой, искореженной ветрами сосной. По пути пришлось пересечь выходявшую к морю заболоченную низину, где среди негустого ольшаника меня ждала любопытная встреча. Я шел осторожно, избегая топких мест, когда услышал вблизи не то хрипловатый писк, не то свист.

Журавленок-пуховичок ростом чуть побольше чирка, полосатенький, словно кабаненок, стоял на высоких толстых ногах и вдруг, повернувшись ко мне, замолчал, разинул рот и начал просительно трепыхать бесперыми крылышками, явно ожидая подачки. Через минуту-другую из-за камыша появился взрослый журавль, поспешно шагавший к нам. Птица увидела меня, взлетела и скрылась за ольхами. Раздался ее тревожный крик: птенчик тотчас прекратил писк, прижался к земле...

Я поспешил уйти. Добрался до оконечности мыса; там как его продолжение уходила в море цепь островков, поросших хвойным лесом, и низеньких голых луд. Вокруг них и между ними бинокль обнаруживал на воде темные подвижные пятна — массовые скопления гусей, судя по звонкому гоготу — белолобой казарки. Но ни здесь, ни пройдя по другой стороне мыса, я не нашел места на берегу, куда могла бы лететь дичь, да и далеко впереди лес всюду подходил к самой воде. Ясно стало, что охота не получится, а дичь уже пошла. Я уселся на камень и долго следил за бесчисленными стаями казарок, тянувших низко над водой и островками куда-то к северу. Охотиться тут можно было бы только с лодки. Но домой я возвращался веселый, довольный — так все было необычно, так интересно и красиво.

В дельте Волги охотиться на гусей можно успешнее, чем в Беломорске, если найти места их посадки на дневку и ночлег. А для этого требовалось много поездить по обширнейшим угодьям и вести наблюдения иной раз несколько дней. Моему сыну его сравнительная молодость и огромная выносливость позволяли хорошо справляться с этой задачей. Он нередко убивал за поездку двух, трех и даже пять гусей, выполняя норму отстрела. Я же за пятнадцать лет взял в Астрахани всего восемь гусей, притом шестерых налетевших случайно при охоте по утке, а на специальной гусяной охоте мне не везло отчаянно. Четыре раза я попадал на хорошую гусиную присаду — и трижды охота была испорчена: одна — по собственной

моей глупости (случай с подсевшим молодым лебедем), а две — по вине других охотников.

Как-то мы с братом обнаружили утром дневку гусей. Стайка за стайкой они садились на одно и то же место — неглубокий слабо заросший плес среди меляков, по которым кулас не проходил. Завидя нас, гуси поднялись и улетели. С великим трудом, увязая по колено в иле, мы волоком протащили лодки, форсировали метров двести трясины и хорошо спрятались в куртинках рогоза, по обе стороны плеса. Не прошло и получаса, как небольшая партия гусей налетела на брата, и он убил одного. Появилась еще стая, более многочисленная, потянула прямо к нам. И вдруг где-то неподалеку раздалась музыка — джаз во всю ночь наяривал что-то вроде «Рио-Риты». Гуси так и шарахнулись в сторону. Позади меня, за меляками, стоял ничем не укрытый кулас с двумя охотниками — у них и ревел транзистор. Напрасно я махал шапкой, напрасно кричал: дослушав концерт на одной волне, они переключились на другую, а гуси все пытались вернуться на привычное место. Только часа через два любители музыки уехали, но и лет гусей прекратился. Вечером, на базе, мы обнаружили виновников и выслушали объяснение, что они, дескать, не предполагали, что музыка слышна так далеко, а моих криков не разобрали... Не хочется думать, что транзистор был пущен в ход из зависти и желания испортить нам охоту.

В другой раз мне помешали новички, упорно игнорировавшие советы и указания, равнодушные к протестам. Сын нашел место, куда ежедневно прилетали три-четыре небольшие стайки гусей и приберег его для меня. Приехав затемно на небольшой мелкий плес среди редких кундраков, не без труда укрыв кулас, я тщательно замаскировался на сидушке. Стало светать, неплохо полетела утка — я не стрелял, ожидая гусей и с недоумением прислушиваясь к далеким всплескам воды у себя за спиной. Плеск приближался и как будто доносился разговор. Хотел оглянуться, но передо мною, вдали, показались четыре гуся. Летели они невысоко, прямо на меня, еще метров сто — и можно стрелять.

Вдруг сзади дикий вопль:

— Толя! Смотри — гуси!

— Вижу! Ко мне идут! Ты, Ваня, не стреляй!

— Нет, ко мне! Беги сюда, ударим залпом!

Последовало отчаянное бултыхание, гуси немедленно отвернули. Я, наконец, оглянулся. Яркое освещенный восходящим солнцем стоял один парень, другой по мелкой

воде мчался к нему. Гуси скрылись, а Толя и Ваня подошли ко мне и на мои упреки ответили, что соскучились сидеть на месте и решили «ходить с подхода», а вот теперь потеряли свой кулас... Я потребовал, чтобы они отложили поиски, указал два куста камыша, в которых можно было укрыться стоя (сидушки-то остались в кулase) и ждать, — гуси еще прилетят. Они послушались, но не надолго. Опять началось хождение подальше от меня, но достаточно близко, чтобы отпугнуть еще две гусиные стайки. Пришлось уехать и перебраться на другое место, чтобы пострелять хотя бы по уткам.

Таким образом, мне лишь один раз удалось, пусть даже частично, использовать представившуюся возможность пострелять по гусям не случайно.

В первую свою астраханскую охоту (1964 год), переезжая с одного незнакомого места на другое, я обнаружил значительное — десятка три — скопление гусей. Они поднялись с небольших плесов, разделенных полосками редких кундраков; всюду были следы постоянной кормежки. Я опоздал, время перевалило далеко за полдень, а посидеть тут все же стоило, тем более, что уток было убито уже порядочно. Но где укрыться? На всем пространстве плесов стояла одна-единственная гривка тростника, длинная и узкая. Возле нее было довольно глубоко — воткнутая сидушка оказалась почти вровень с водой, а тростник рос так густо, что затолкать кулас удавалось лишь вдоль края куртинки и все равно он оставался плохо укрытым.

Пока я соображал, как устроиться, пролетели еще четыре гуся и, конечно, тотчас меня заметили. Пришлось загнать лодку с теневой стороны вдоль гривки, по возможности расправить стебли с наружного борта, заломить на кулас побольше тростника с другой стороны. Густая тень и защитная одежда маскировали меня как будто неплохо. В самом деле, появившаяся вскоре четверка гусей, делая круг, прошла почти на выстрел от меня, ничего не заметила и шумно опустилась где-то сзади, за тростником. Совсем близко села пара шилохвостых, значит, я был укрыт хорошо. Они долго меня соблазняли, а я все же не поддавался искушению. Опять гуси — семь штук — уселись вне выстрела. Наконец, последовала награда: десятка два гусей вылетели из-за моего тростника справа, повернули прямо на меня и собрались сесть метрах в двадцати. Передний, почти коснувшись воды, видно, заметил неладное, хотел взмыть, но опоздал — удар дробы опрокинул его в воду. Остальные метнулись вверх и в стороны.

Вполне можно было взять еще одного, но меня затрясла лихорадка радости, я промазал и даже не очень огорчился. Убит был мною еще не виданный серый гусь, громадный гусак, заметно крупнее гуменника, более светлый, с черными пятнами на серовато-белой груди, с клювом розового, «мясного» цвета. Быстро смеркалось — гуси больше не появлялись. Уже поблекли краски зари, луна в три четверти ясно обозначилась на потемневшем небе, с печальными криками пролетели цапли, над дальними деревьями островов вспыхнул фонарь брандвахты — пора возвращаться.

Я почти вытолкнул кулас из тростника, когда услышал гогот, положил шест, схватил ружье, пригнулся. Стая гусей тянула стороной, но невысоко: пожалуй, когда поравняются, выстрел из «Франкотта» будет не безнадежен. Гуси шли мимо, растянувшись по фронту, едва видимые на фоне гаснущего заката. Когда их цепочка слилась в тесную кучу, я выстрелил как раз во фланг; упало два гуся — один поближе, второй совсем далеко. На ближнего я сразу наткнулся, второго отыскать в темноте не удалось, но следующим утром один из компаньонов наехал куласом на затаившегося подранка, схватился за ружье, выпал из лодки, но успел встать и добить гуся. Он предложил его мне, но я, конечно, поблагодарил и отказался — добыча досталась ему дорого, вода была отнюдь не для купания.

И все-таки мой астраханский дебют дал наилучшие результаты: в дальнейшем мне никогда не случалось взять за поездку на Каспий больше одного гуся. Однажды, сидя в густом невысоком кусте ежеголовки и убив уже несколько уток, я увидел пять гусей. Они низко, чуть выше кундраков, шли прямо на меня, а я повторил обычную свою ошибку: вместо того, чтобы встать им навстречу, допустил птиц шагов на двадцать, скрючившись на сидушке, ударил в лоб и, понятно, мимо. Гуси застопорили, начали тяжело набирать высоту. Хорошо еще, что вторым выстрелом удалось попасть, — гусак рухнул.

А с последним убитым в Астрахани гусем вышло еще обиднее. Налетела пара, не близко, но все же на верный выстрел. Первый свалился, второй — дальний — свечой пошел вверх, я, думая, что промазал, бросился к упавшему. Еще не дойдя до него, увидел, что второй гусь, отлетев метров на четыреста, кружился на месте, забирая все выше, потом распластал крылья и штопором повалился на плес, поросший реденькой низкой травкой. Ближнего гуся я нашел сразу, но потерял направление к дальнему и

больше часа бродил по плесу. Было мелко — по щиколотку. Вода почти чистая, но гуся я так и не нашел. Вернулся в засидку и не покидал ее до вечера, изредка стреляя по немногочисленным уткам и наблюдая главным образом за воронами, постоянно пролетающими над плесом. Они непременно заметили бы мертвого гуся и собрались бы к нему. Однако ни одна не задержалась в полете, а им сверху все было видно, и глаз вороний зорек.

На поведение ворон и других мародеров стоит обращать внимание: с их помощью мне не раз случалось находить потерянную добычу. Однажды подстреленный матерой селезень, упав на чистую воду, успел скрыться в густой осоке, где нечего было и думать его найти. Прошло много часов, когда я увидел луня. Часто махая крыльями, он повис в воздухе и камнем упал в траву в сотне метров от места, где исчез подранок. Не его ли он нашел? Я отправился туда. Лунь взлетел в нескольких шагах, оставив селезня, которому уже расклевал затылок. Оказывается, и злой вредитель охотничьего хозяйства может принести пользу.

КУРОПАТКИ

Охота по серой куропатке почти повсеместно закрыта из-за резкого сокращения численности этой птицы. Но в довоенные годы, по крайней мере в Ленинградской области, она была одним из основных объектов спортивной охоты, и нормы ее отстрела устанавливались высокие. В ряде егерских участков законно отстреливалось тридцать-шестьдесят штук за сезон, а количество дичи не только не уменьшалось, но даже росло. Из моих записей видно, что у станции Ижора, где мы с Володи́ей в 1933 году знали семь выводков, я в 1938 году насчитал их девять, а через два года — восемь. В Киркове под Любанью на протяжении трех лет сохранялось по четыре выводка, а на четвертый год их было шесть. В Сябренцах близ станции Чудово я нашел в 1937 году и в 1939 году по восемь выводков, вместо пяти и шести учтенных егерем. И все это были угодья, систематически посещавшиеся ленинградскими охотниками. Правда, никто не имел собаки, которая могла бы равняться с Ирмой.

По серой куропатке особенно много я охотился в Силезии с Рексом. Охота эта одна из самых интересных: для меня она стоит на втором месте после охоты по красной дичи. И. С. Тургенев писал, что «...куропатка, своим порывистым взлетом, веселит и пугает стрелка и собаку».

Кучный, дружный подъем большого выводка, происходящий мгновенно, как взрыв, со звонким треском крыльев, с многоголосым верещанием, действительно может так ошеломить начинающего охотника, что он совершенно теряется, стреляет просто в кучу трепещущих крыльев, мелькающих рыжевато-красных хвостиков и обычно промахивается.

В годы моей охоты по этой дичи я вообще стрелял хорошо, а по куропатке — в особенности. Но успешнее всего я охотился все же под Ленинградом в 1938 году. Шла вторая половина сентября. Знакомый охотник сообщил, что два дня назад его товарищ нашел много дупелей в левобережной пойме Волхова. Вечером, пройдя километров двенадцать от станции Волхов вверх по реке, я добрался до деревни, где жил егерь. Довольно угрюмый мужчина, обладатель большущей черной бороды, сразу меня огорошил, сказав, что дупелей в этом году не выдывал. Есть куропатка, но немного и далеко — около часа ходьбы. Тетеревов порядочно, только они уже сильно взматерели, строги.

Очень было досадно: приехал за семь верст киселя хлебать! Тетерева меня не соблазнили, их хватало и под Любанью. Однако далее выяснилось, что в августе приезжали два охотоведа, оба с собаками, охотились по тетереву, но и в полях ходили три дня. «Ну и записали мне к отстрелу шестьдесят куропаток, а откуда взяли — неизвестно, — рассказывал егерь. — Да ведь можно и больше записать, проверить некому. Как открылась осенняя охота, так кроме охотоведов никого и не было, вы первый». Посмотрев регистрационную книгу, я убедился, что в ней не значится ни одного посещения, есть только запись старшего охотоведа с указанием нормы отстрела — шестьдесят куропаток. Это меня ободрило. Видимо, информации, полученной от егеря, доверять не следовало. Сомнение вызывало и большое расстояние до выводков куропаток; подходя к возвышенности, на которой стояла деревня, я отметил, что она окружена полями, словно созданными для серой куропатки. Между участками убранных уже овса, ячменя и гороха тянулись узкие полосы картофеля и все это пересекали канавы, заросшие лозняком. «Ну, что же, — подумал я. — Пусть покажет мне дальние выводки, а потом вернусь к деревне. Бородач либо не в курсе дела, либо лукавит. Нужно только выйти пораньше».

Мы поднялись затемно и больше часа шагали дорогой среди озимого жнивья, огромного, однообразного. Когда рассвело, слева открылся длинный скат в низину к разбро-

санным среди возделанных участков рошицам невысоких ольх. Дальше был виден широкий луг, а за ним — полоса клубившегося над Волховом тумана.

— Вон там внизу будет выводок, — сказал мой проводник, сворачивая с дороги.

Я последовал за ним; почти сейчас же Ирма потянула и стала. Куропатки, штук десять-двенадцать, врассыпную вскочили на порядочном расстоянии. При еще тусклом, неверном освещении я смог попасть только в одну. Мы спустились в низину, вслед за сразу разбившимся выводком. Вскоре на узком картофельном поле Ирма прихватила, долго вела вдоль полосы и стала в конце ее. Взлетели две куропатки, я сбил обеих. Егерь только крикнул, а потом сказал:

— Так стрелять, то и дичи не останется.

Я же заверил его, что норму не превышу — шестьдесят куропаток мне вполне хватит. Опять стойка в опушке рошицы. Птица взлетела, поднялась свечой за деревом, замелькала между макушками и после выстрела упала. Это оказался вальдшнеп. Как его угораздило забраться сюда, километра за четыре от ближайшего леса? Двинулись дальше. Куропатки расселись поодиночке в самых густых гривках ольхи. Я стрелял наугад и мазал, только одну удалось убить. Больше возиться с этим выводком не стоило. Я отпустил «бороду» домой, сказав, что вернусь лугами, может быть, все же найду дупелей, а нет — так обследую поля вокруг деревни. Егерь покинул меня, порекомендовав обратить особое внимание на «ручей», разливающийся в мочажину, растоптанную «у коров», а от поисков куропаток возле деревни отговаривал — толку, мол, не будет, «лучше приходите скорей завтракать!»

Тем временем солнце поднялось, туман над рекою рассеялся, заблестела роса, поднявшийся ветерок приятно охлаждал разгоряченное лицо. С легким сердцем я вышел на пойму — такое хорошее начало вселило надежду: может быть, дупеля все-таки есть? Но в лугах оказалась форменная пустыня; только на растоптанной «у коров» мочажине вскочил шалый, не подпустивший собаку бекас да стая чибисов перелетела по сухому лугу. Поравнявшись с деревней, я повернул к полям. Едва вышел на полосу гороха, скошенного и набросанного для просушки на вешалы, как Ирма причуяла. Стойка, взлет многочисленного, не менее двух десятков, выводка, дублет, и пара упала. Остальные, не разбившись, отлетели за полкилометра и сели в картошку. Собака их сразу нашла, они долго бежали, поднялись далеко, по одной я промахнулся, дру-

гую убил и с радостью увидел, что выводок совершенно разбился. Теперь началась охота самая интересная, позволяющая вдоволь насладиться работой собаки то по убегающей, то по запавшей птице, пострелять весело и спокойно, с уверенностью, что впереди еще много стоек, много взлетов и выстрелов.

В поисках рассыпавшихся куропаток я постепенно обходил деревню кругом; все шло отлично. Стало довольно жарко, нужно было дать запыхавшейся Ирме остыть. Мы уселись на краю канавы. Тут со стороны деревни появились летящие куропатки — их, видимо, спугнули работавшие в поле женщины. Этот второй выводок был, пожалуй, еще многочисленнее первого. Он опустился на полосу, которую мы уже обследовали. Я превозмог искушение: лучше целиком взять один выводок, а другой оставить нетронутым, чем выбить по нескольку штук из того и из другого. Сообщество куропаток тем легче переносит трудности зимовки, чем оно многочисленнее: проще и до корма докопаться и согреть друг друга морозной ночью. А остатки нескольких, наполовину истребленных выводков то ли сумеют объединиться в стаю, то ли нет.

Мы продолжали разыскивать куропаток из разбившегося выводка и вскоре добавили еще четырех. Последняя пара была убита дублетом — третьим за этот исключительно счастливый день, тот самый «десятый день, который радует охотника». Я полностью насытился охотой, и когда почти у околицы Ирма сработала по третьему выводку, стрелять не стал.

Егерь, увидев меня, обвешанного дичью, охал и ахал, качал головой... Он вынужден был признаться, что хитрил со мною — хотел приберечь ближние выводки для охотоведов: обещали 1 сентября открыть здесь охоту по куропаткам в компании какого-то большого начальства, но так до сих пор и не приехали. Я утешил «бороду»: ведь у него под самой деревней минимум два многочисленных, необстрелянных выводка, а поискать подальше — так и еще найдутся. Да и норма отстрела далеко не исчерпана: осталось сорок пять штук — хватит любому начальству.

По каменной куропатке, кеклику, я охотился только в 1953 году в Киргизии, где с женой и товарищем провел отпуск в поселке Тамга на берегу озера Иссык-Куль. С 15 августа по 4 сентября я был на охоте всего десять раз, возвращался с добычей, не большей, чем требовалось нам троим для пропитания. И все же поездка на Иссык-Куль запомнилась как сплошной охотничий праздник. День поохотишься, на следующий — переживаешь минув-

шую охоту, потом предвкушаешь завтрашнюю. Уж очень привлекала необычная, прекрасная дичь, а местность, в которой приходилось охотиться, поражала и новизной, и красотой.

Выходишь из ворот — слева, за неширокой полосой полей, открывается необъятный простор озера; по ближайшему берегу — кайма темно-зеленых тугайных зарослей, дальний — едва угадывается. Там, на самом горизонте, словно гряда облаков, белеет гребень хребта Кунгей-Алатау. Справа — высоко вздыбленные в небо снеговые вершины Терской-Алатау, как будто совсем близкие; трудно поверить, что до подножия хребта около двенадцати километров предгорья — глинистых рыжих увалов, разделенных идущими к приозерным полям оврагами и лощинами. Истинное расстояние до гор позволяют оценить только темные, почти черные гряды могучих Тянь-шаньских елей по извилинам впадающей в озеро речки Тамгинки. Белоснежные вершины часто заволакивают тучи, там сверкают молнии, доносятся глухие раскаты грома, а над озером небо всегда чистое, светло-голубое: за все время ни разу не было дождя.

Сведения, полученные от местных жителей, обнадеживали. На полях и в приозерных зарослях — фазан, серая куропатка (по-киргизски — чили), в предгорьях много кеклика, в горах — улары (горные индейки), архары (каменные бараны) и киики (козлы), а на лесистых склонах косули. Охотиться по зверю я не предполагал, но, впрочем, поехал с «Тэатом» и имел десяток патронов с пулями. А вот улары меня очень манили, но я представлял себе, насколько они труднодоступны, и рассчитывал больше всего на каменных куропаток. Так оно и вышло. Фазанов оказалось порядочно, но охотиться по ним было почти невозможно. Они держались в полосе тугаев вдоль берега, кормились на полях, не удаляясь от зарослей, и заблаговременно убегали в совершенно непроходимую чащу джарганака (облепихи), синего барбариса, шиповника и еще каких-то столь же колючих кустарников. Два раза ходил я за фазанами, но только однажды удалось убить пару молодых, на чем и кончились мои попытки.

Первая встреча с кекликами вышла неудачной. Больше двух часов мы с Рексом лазили в предгорьях с увала на увал, забирались в глубину оврагов и не видели ничего, кроме толаев — мелких зайчишек, окраской похожих на русака, но без черной каймы на кончиках ушей. Они, еще запретные для отстрела, нередко выскакивали совсем близко, изумляя быстротой бега. Ходьба «с горки на горку» по

твердой гладкой глине, между всюду торчащими из нее камнями, по россыпям щебенки начала утомлять. Лощины между увалами по мере удаления от озера превращались в овраги, а овраги — в небольшие ущелья, на скаты которых было так трудно взобраться, что приходилось поворачивать обратно.

Прискучило это царство глины и камня, чахлые сухие травы, кое-где, на северных склонах, островки арчи — местного можжевельника, похожего на ползучую тую, да у дна лощин одинокие кусты барбариса и краснотала. Хорошо еще, что не было жарко и дышалось легко — с гор тянул прохладный ветерок. Я уже хотел прекратить поиски, когда на дне одной из лощин Рекс взял след и быстро повел по склону вверх. Подъем был ровный, не слишком крутой, но все-таки требовалось немало усилий, чтобы не отставать от собаки.

Впереди, совсем недалеко, послышалась тревожная перекличка птиц, они словно сами себя называли: «кэк-лик! кэк-лик!» Когда осталось метров тридцать до верха увала, на нем с треском взлетел широко разбежавшийся выводок — десятка полтора птиц. Они полетели не от меня, а ко мне и тотчас оказались над головой. Не ожидая этого да еще стреляя против солнца, я промахнулся. Даже рассмотреть кекликов не удалось как следует — освещенные сверху, все они показались черными. Выводок, перелетев лощину и возвышенность за ней, скрылся из глаз. Ноги гудели от непривычной ходьбы, но все же мы вернулись на другую сторону и взобрались на увал. За ним обнаружилась очень широкая лощина — скорее долина со склонами, поросшими негустой травой. На дне тянулась полоса чистого песка — ложе высохшего ручья. И по дну, и по склонам лежали большие, до метра высотой, округлые камни, кое-где росли отдельные кустики.

Спустившись в лощину, Рекс после короткой потяжки уперся на стойке перед небольшим, совсем редким кустом. Я подошел, послал пса вперед, он чуть подвинулся, снова замер. И тут, у края куста, словно вынырнув из гладкого песка, возникла птица. Значительно крупнее серой куропатки она была так броско окрашена, что показалась чудом. Как же я не видел ее до сих пор?! Дымчато-голубая, с розовым и оливково-зеленым отливом, с красным, как стручок перца, клювом, с ярко-черной каймой ниже зоба и черными же косыми полосами по рыжеватым бокам, на малиновых ножках...

Старый самец-кеклик! Ожидая взлета, я приготовился стрелять, но он так помчался по песку, что скрылся в

нагромождении камней раньше, чем до сознания дошло: на крыло кеклик не поднимется. От Рекса его заслонял большой валун, и собака, не видя убегающей птицы, осталась на стойке. Я не успел еще выругать себя за оплошность, как из куста выскочили и побежали еще три таких же птицы. Но я уже знал их повадку и, не допустив до укрытия, выстрелил по переднему кеклику. Только теперь оставшаяся пара взлетела, от второго выстрела один свалился в камни. Я точно заметил место падения, но если бы не собака, пожалуй, потерял бы кеклика — настолько оперение, как будто очень приметное, маскировало лежавшую между камнями птицу. Оба убитых — также старые петушки со шпорами на ножках — показались мне красивее любой пернатой дичи, красивее весеннего селезня любой породы.

Удивительное дело! Куда исчез унылый характер местности! Как весело заблестели на солнце отполированные ледниками и снеговыми водами камни! Оживилась казавшаяся мрачной зелень арчи, заиграли под солнцем синие ягоды барбариса. А безоблачное голубое небо, а сияющие снеговые вершины гор! Больше желать было нечего. До предела счастливый я присел на гладкий теплый камень, налюбовался добычей и повернул к дому.

Прекрасны были и остальные охоты на Иссык-Куле, хотя Рексу после каждого выхода требовался отдых — на камнях он сбивал не привычные к такому грунту лапы. Но найти кекликов нетрудно было и без собаки. Завидев человека, они поднимали гвалт, да и на кормежке постоянно перекликались, а их голос слышен издалека. Только стрелять пришлось с особой выдержкой, лишь при удобных близких взлетах, и бить птицу наповал: гоняться за подстреленным кекликом — дело безнадежное. А при возможности дублета лучше было воздержаться от второго выстрела, чтобы не отводить глаз от точки падения первой птицы. Иначе можно девять раз перешагнуть через убитого кеклика и только на десятый заметить его между камнями — и то, если повезет. Ну, а найти каменную куропатку, свалившуюся на другой стороне оврага, нечего и думать. Пока переберешься, конечно, потеряешь место.

Все это я сообразил заранее, но на охотах без Рекса из семи упавших не отыскал двух, а третью нашел необычайным образом. Идя на голос кекликов, я поднимался по довольно широкой лощине. Дно ее было песчаное, плоское; песок, у входа в лощину сухой, сыпучий, делался все плотнее и влажнее, стал хлюпать под ногами, потом покрылся тонким слоем воды. Порядочный ручей журча

выбегал из тесного русла, прорытого в глинистом грунте, широко растекался, образуя большую мелкую лужу. За ней вода впитывалась в песок, и ручей уходил куда-то под землю.

Как раз у выхода воды на песок и поднялся выводок. Птицы полетели в сторону над открытым местом, глинистый гладкий склон был так хорошо виден, что я рискнул на дублет. Два кеклика ударились о землю и лежали на виду, остальные полетели к увалу. Одна птица отделилась, повернула, пошла вверх по ручью, пролетела метров двести и вдруг крутой спиралью взвилась на большую высоту и оттуда, сложив крылья, упала у хорошо приметного одиночного куста. Подняв убитых, я направился к ней. Куст рос в излучине ручья. Я тщательно осмотрел все вокруг, по веточкам перебрал куст, обыскал и берега ручья, но кеклика не нашел.

В досаде хотел уже бросить поиски и идти за выводком, однако подумал: к этому ли кусту упала птица? Когда возникают подобные сомнения, нужно вернуться точно туда, откуда стрелял; если произошла ошибка, ее обычно сразу заметишь. Вот мои наполнившиеся водою следы, вот отсюда я повернул к убитым кекликам. Все правильно, куст тот самый. И тут я вдруг увидел, что прямо передо мной в мелкой воде брюхом вверх лежит каменная куропатка. Значит, она свалилась в ручей и течение принесло ее сюда по всем извилам русла. Я не стал преследовать перекликавшийся вдаль выводок, возблагодарил «горных духов» за подарок и закончил охоту.

Все-таки без Рекса недоставало удовольствия, доставляемого работой собаки, беспокоило постоянное опасение не найти упавшую птицу, загубить ее понапрасну. А кроме того, меня сильно тянуло к настоящим высоким горам, где по верхней границе альпийских лугов держатся улары: «...ютиться мечта моей жизни», — писал о них Валериан Правдухин. Как и этот, глубоко мною почитаемый писатель-охотник, я всегда ставил охоту по перу выше зверовой, без колебаний предпочел бы улара горному козлу или барану. И вот, отдохнув день, я снова перевел Рекса на «временную нетрудоспособность» и, расспросив жителей о дороге, вышел из дома задолго до рассвета. Луна, еще почти полная, ярко освещала каждый камушек под ногами и скат долины Тамгинки, но за ним неразличимо сливалось все до серебряного блеска горных снегов. В тишине слышался говор воды на каменных уступах реки. По ровной твердой дороге идти было легко, вскоре остался позади Священный камень — колоссальный валун с высечен-

ными на одной грубо обтесанной стороне знаками древней письменности, каждый почти в половину моего роста.

На склоне слева обозначились первые величавые ели. Чем дальше, тем больше их было, потом они слились в сплошной черный массив, и туда, наискось в гору, шла моя дорога. Ветви деревьев смыкались над ней. Часа два шагал я в полном мраке, поднимаясь все выше, все круче, давно уже не слыша шума речки. Наконец, впереди стало светлее — близилась опушка. Пройдя еще сотню шагов, я вышел на нее и остановился, очарованный. На самых высоких пиках гор, отделяя их белизну от пронизанного лунным светом воздуха, лежала тонкая, как нить, розовая кайма — утренняя заря уже осветила вершины. Не в силах оторваться, я следил, как румянец все разливался, словно стекая по снегам, все ярче окрашивая их, вытесняя серебряные отблески. А кругом меня в лунном свете по-прежнему четко ложились на землю густые тени.

Но вот они стали расплываться, бледнеть, исчезать — ночь уходила с быстротой, неожиданной для меня, привыкшего встречать рассветы неторопливые. Розовая окраска снегов сменялась позолотой, потом озарились макушки елей, в лесу закричала кедровка, начал свою работу дятел — время было двигаться. Тут обнаружилось, что под ногами у меня тропа, по которой ездили только верхом: кончилась колесная дорога. Тропа вела вдоль опушки до оврага, идущего в долину, также поросшего старыми елями, и краем его поворачивала к горам. Деревьев по оврагу становилось меньше, их сменила невысокая поросль — главным образом кусты черной смородины. А это что? В траве — тетеревиные перья, подальше, на песчаном участке, несколько копок. Поднять тетеревов без собаки удалось бы только случайно; все-таки я вобрался в кусты, больше часа ходил по ним, но ничего не нашел и повернул назад к тропе.

Здесь, над оврагом, росли одиночные ели, низкие и корявые. Между ними была видна другая сторона оврага и там, в кустах, несколько крупных, красновато-рыжих животных. Пригнувшись к земле, я заложил в ружье патроны с пулями, подкрался к обрыву и разглядел, что передо мной косули. Они — четыре взрослые и две молодые — кормились в кустах за оврагом, не спеша передвигались, останавливались, то опускали голову к земле, то тянулись к веткам кустов — может быть, обирали ягоды. Ближе всех ходил козел с такими мощными рогами, каких я у европейских косуль не видывал. Туловище его загораживали кусты, иногда обозначалась лишь линия хребта.

Стрелять можно было только в голову, но попасть пулей в такую небольшую подвижную цель с расстояния пятидесяти-шестидесяти метров я не надеялся. Только выстрел мелкой картечью по голове и шее мог бы свалить зверя. Такой патрон у меня был, но пока я его достал и перезарядил один ствол, козел исчез и вновь появился уже в сотне метров. Теперь он стоял весь на виду, но слишком далеко для выстрела картечью, а на попадание пулей шансов было очень мало, да и попасть требовалось не куда-нибудь, а в убойное место, чтобы не повредить животное зря. Остальные косули отошли еще дальше. О попытке перейти на другую сторону оврага не приходилось и думать. Звери все удалялись, время шло, мне предстоял еще немалый путь. Потихоньку отполз я обратно на тропу и встал — косули тотчас метнулись по кустам и мигом скрылись.

Неудача меня не слишком огорчила; в самом деле, на что мне такая крупная добыча? Пришлось бы вернуться, не добравшись до уларов.

Кустарники окончились. Тропа вела теперь от оврага по каменистым увалам, местами поросшим арчей, затем повернула вправо, огибая конец высокого скалистого отрога, протянувшегося от гор. И тут с его гребня донеслись звуки, похожие на куриное кудахтанье. Кто это — улары? Они перекликаются тонким свистом... Впрочем, свистят самцы, о самке же Правдухин писал так: «...из навала камней с шумом и характерным сухим хлопаньем поднялась индейка, а за ней выводок». Наверное, и я слышу, как матка скликает молодых... Было не так-то легко взбираться на отрог — то увлекали вниз россыпи щебня, то расщелины в больших камнях грозили защемить ногу. А когда готовый стрелять я обогнул большую каменную глыбу, то увидел нескольких сидящих на камнях птиц. Сложением и ростом они походили на кедровок, но были черные, с блеском, с ярко-красными носами. Да это же клушицы! Вот тебе и улары! С досады я чуть не стукнул одну краснотку.

С гребня отрога открылся вид на покато идущую от гор почти плоскую травянистую равнину. Кое-где по ее зеленому ковру блестели лужи и ручейки, местами поднимались голые бугры, торчали отдельные невысокие нагромождения скал. Значит, я добрался до горных лугов, но здесь пасся скот, главным образом овцы, а в стороне стояло несколько киргизских юрт.

Я спустился со скал на ту же огибавшую острог тропу, и тут ко мне подъехали два всадника-киргиза. Остановив

коней, они поздоровались, справились о моем здоровье, о здоровье жены, детей, спросили кто я, откуда и куда иду, а потом сообщили, что дело мое плохо. Здесь у них летнее пастбище — джайляу. Скот, собаки, люди разогнали дичь, нужно искать ее выше, у снеговой линии, но туда мне сегодня не добраться. «Сейчас ходи, пожайлуста, к нам, чай пей, кумыс пей, барашка кушай, ночуй. Завтра ишака дадим, проводим — будешь стрелять. Ай, много улар! Архар тоже есть, киик есты!» Но остаться на ночь я не мог — дома меня ожидали к вечеру. Так и не оправдались мои надежды на горную индейку. Но воспоминания эта безрезультативная охота оставила самые светлые и радостные.

Я еще несколько раз ходил за кекликами, а затем мой охотничий формуляр пополнился: удалось убить двух зайцев — толаев (охота на них открылась накануне). При желании можно было бы стрелять еще по трем, но что с ними делать? До возвращения в Москву оставались два дня.

ФАЗАНЫ

Впервые я убил фазана под Ленинградом. В январе 1939 года Окружной совет военно-охотничьего общества выделил нашему коллективу путевку на одного человека с правом отстрела двух фазанов-самцов в Тайцах, где Общество имело фазанарий. Часть птиц-производителей круглый год содержалась в вольерах, а часть ранней весной выпускали, и птицы размножались на воле. Затем к их приплоду добавляли молодых петушков из вольер, так что в угодьях оказывалось достаточное для осенне-зимних охот поголовье фазанов. Охотились исключительно загонном, на английский манер.

В Ленинградском госпитале нас, охотников, работало около двух десятков. Мы устроили жеребьевку, и счастливый билетик достался мне. Я отправился с сыном; уже два сезона он владел моим стареньким «Клеманом» и охотился со мною, как я когда-то с отцом, но взять его в Тайцы с ружьем не позволяла путевка.

Охотники — одиннадцать человек — были люди солидные, все старше меня и по возрасту, и по воинскому званию. Приехав, долго завтракали, пили чай. Выслушали наставление охотоведа — повторение стандартного «катехизиса» облавных охот и особо — запрещение стрелять самок и по сидячим. Наконец, стали собираться. Тут моя «тулка» вызвала интерес компаньонов («что это за ружье у вас?»), сменившийся затем некоторым пренебрежением — их ружья были гораздо ценнее.

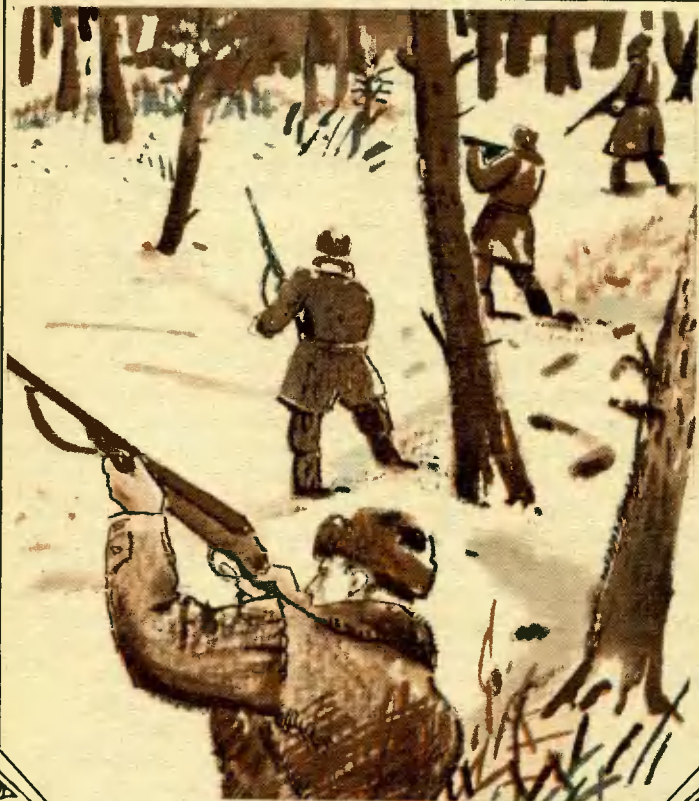
Путь не занял много времени. Вскоре стрелков расставили по просеке с интервалом метров в сто. Я оказался крайним справа почти у самой опушки невысокого чернолесья. Скоро началась загонка. Голоса и рокот трещоток становились все отчетливее; зима была малоснежная, загонщики двигались быстро. У опушки появилась длиннохвостая на высоких ногах птица. Фазан! Он отбежал немного от кустов и остановился, озираясь. С расстояния около тридцати метров даже в тусклом свете пасмурного дня нетрудно было распознать петуха. А стрелять по сидячему не положено. «Ну лети же! Лети сюда!» — мысленно умолял я, едва переводя дыхание. И он, высоко подпрыгнув, взлетел. Но пошел не к нам, а в чистое поле с такой неожиданной скоростью, что я, растерявшись, дважды промахнулся.

До чего же горько было упустить редкостную добычу! Конечно, другой такой возможности сегодня не представится. Однако едва я зарядил ружье, как на левом фланге стукнули два выстрела, за ними второй дублет, третий, четвертый, все ближе, торопливее. Показался фазан. Он летел вдоль стрелковой линии и над ней, выстрелы продолжали греметь, а птица только забирала все выше. Вот отдублетил мой сосед; петух чуть отклонился вправо и налетел наиболее выгодно не точно на меня, а немного боком. В памяти всплыло любимое выражение отца: «выцелил так, как родная мать не выцеливает ребенка», и я выстрелил. Фазан сложил крылья, повалился вниз головою и как будто расцвел — точно вдруг распустился на снегу невиданно-яркий, многокрасочный цветок.

Хотелось получше рассмотреть драгоценный трофей, но загонка не кончилась, зевать не приходилось — я имел право еще на одного фазана. А вот и он — летит низко вдоль опушки чуть стороною от нас. Я уже вскинул ружье, когда петух забочил сильнее и стало видно, что хвоста у него нет совсем. На черта мне куций фазан? Впереди еще несколько загонов, приберегу выстрел для полноценной птицы. Я так и пропустил петуха к негодованию сына. Он сказал мне:

— Ну и пусть куций! А может, это последний, больше не налетит ни один!

Так и получилось. В следующих загонах не было ничего, и мы вернулись на базу с одним фазаном на двенадцать ружей. Тут началась общая подначка: «Хитер у нас доктор. Ружье загримировал под «тулку», клейма-то подделаны. Пусть, мол, не считают опасным конкурентом», — и прочее, в том же роде.



Показался фазан. Он летел вдоль
стрелковой линии, выстрелы продол-
жали греметь, а птица забирала все выше.

В Ленинград мы попали засветло. Чтобы не измывать фазанов в ягдташе, я подвесил его на петельку; встречные оглядывались, а ребяташки бежали следом, переговариваясь: «Вот так птица! И в зоопарк ходить не надо!»

Дома фазан тоже произвел сильное впечатление. Съеден он был в торжественной обстановке и имел такой успех, что пришлось горько жалеть о его упущенном куцем собрате.

Только через девять лет, в Силезии, я снова встретил фазанов. Заросли кустарника, рощицы с густым подлеском, камыши по обсохшим болотам, высокие бурьяны на давно непаханных участках полей — в таких местах они держались. Начав охотиться с собакой, я узнал их повадки, а до того, в полях, где мы ходили, стреляя зайцев, фазаны были и редки, и строги. Изредка случалось убить зазевавшегося петуха, близко взлетевшего из бурьяна на меже или с полосы, ощетинившейся стеблями убранной уже кукурузы. Первая правильная и особо памятная охота прошла с участием Рекса. В этот день он дебютировал по фазану.

Рано утром мы поехали в район Шинавы, где в пойме Одры якобы можно было найти много фазанов. Ночью выпал первый снег, без мороза, тянул ровный, несильный ветер. Мой компаньон и водитель машины отправились вытапывать зайцев по полям, а я добрался до высокой дамбы, ограждающей заливные луга, и спустился в пойму с разбросанными по ней перелесками и кочкарниками. Мы ходили там довольно долго, не нашли ничего, кроме пары зайцев, по которым я при Рексе еще не стрелял, и вышли к Одре. Ветерок дул с реки; Рекс потянул к прибрежным кустам и стал. На посыл вперед собака не реагировала и тихонько тронулась с места только рядом со мною. Фазан с треском и характерным криком — «тордоканьем» — ракетой взвился из заросшего камышами лозняка, перешел в горизонтальный полет уже над рекой и после выстрела упал в нее. Почти уверенный, что достать его не удастся, я все же скатал снежок и швырнул его через кусты, скомандовав: «Дай сюда!» Рекс пробрался через чащу, почуял битую птицу или увидел, как она трепыхается, поплыл и вынес фазана. Потом выкатался в снегу и, видимо, ничуть не озябший, проявил полную готовность продолжать охоту. Вскоре совершенно так же был убит второй фазан, но собака видела, как птица свалилась в воду, и сама пошла за ней. Затем последовал конфуз с утками — Рекс решительно отказывался к ним прикоснуться. Выручили длинный шест и насыпные косы,

далеко вдавшиеся от берега к середине реки — средство защиты фарватера от ила.

Третьего фазана мы нашли не скоро — встречались только самки. Уже возвращаясь к дамбе, я увидел, что от неглубокой, заросшей камышами канавы по талому снегу идет след птицы, пересекающий луговину. Он поразил меня шириной шага: от одного отпечатка до другого было не менее метра. Рекс тоже вышел на след, быстро повел по нему, но петух, не подпустив собаку, поднялся из куста и полетел поперек, по чистому.

Расстояние было очень большое, однако выстрел дробью № 4 достал фазана, и он, убитый наповал, ткнулся в снег. Рекс рванулся было к нему, но, остановленный окриком, плавно потянул, приостановился над птицей, взял ее и без приказа подал мне. Это было великолепно! Три выстрела, три красавца-фазана, а главное — три прекрасные работы собаки, притом с апортами, которым я тогда неразумно радовался. Ну, и, кроме того, три здоровенных кряквы — две утки и селезень в полном пере. В общем, очень богатая добыча.

Потом мне редко случалось взять за день более двух фазанов. Лишь одна, самая счастливая в моей жизни охота по ним, заслуживает упоминания.

13 ноября 1949 года я забрался далеко от Легницы — больше двух часов проехал на автомобиле, а потом ушел от машины пешком километров за шесть. Только к полудню удалось найти фазанов. Их было много, вероятно, более двух десятков, но все они забились в труднодоступное место. Довольно обширная — гектаров в двести — роща состояла из редких, высоких дубов, между которыми разрослись густейшие кусты старой бузины, перевитые длинными плетями невыносимо колючей ежевики. Рекс работал хорошо, а мне в очень трудных условиях стрельбы удалось взять семь фазанов и сделать только два досадных промаха.

ПЕРЕПЕЛА

В годы моего детства и юности Воронежская губерния почти повсеместно изобиловала перепелами, но в окрестностях Сосновки их попадалось очень мало. На песчаных почвах культивировали главным образом озимые хлеба и, особенно, картофель, а просяных полей почти не было. Вот и получилось, что первых своих перепелок я убил уже имея на счету и все виды красной дичи, и уток, и зайцев.

Но ловить перепелов сетью, а вернее участвовать в этой

интереснейшей охоте, мне посчастливилось еще в то время, когда я только что начал ходить с отцом без ружья. В Ерофеевке было два страстных любителя такой ловли: один увлекался ею как спортом, а для другого она служила источником дохода. Первый, В. Курсаков, был мелким помещиком, ближайшим нашим соседом, второй, дед Проняка — крестьянином, некогда крепостным Курсакова. Уже из этого можно судить об их возрасте — каждому перевалило за девяносто, но оба еще сохранили достаточную бодрость. В молодости они служили в одном и том же полку — мушкетерском. Проняка упорно говорил «мушкатеры», а Курсаков так же неизменно его поправлял: «Эх, ты, серость, кислая шерсть! Сколько лет тебя учу — не мушкатеры, а мушкетеры! Мало тебе палок на службе досталось! Происходит от французского слова: мускетэр; оружие-то было мушкет, а не мушкат. Это орех бывает мушкатный». Кстати, в то время, да и много лет спустя, никто не говорил «мушкетёры», как повелось теперь, видно, по созвучию с «полотёрами».

Стариков связывала тесная дружба. Часами, повторяя уже неоднократно рассказанное, они беседовали: говорили либо о перепелах, либо о пережитом в армии Горчакова во время Крымской войны, особенно о неудачной боевой операции под Силистрией. Я очень любил их слушать: сидят на лавочке в Курсаковском саду отставной поручик, чисто выбритый, и отставной солдат, заросший зеленоватым волосом, покуривают, один — папиросы-самокрутки, другой — махорку в трубочке, и ведут примерно такую беседу: «Ну, Пров, ты соврал — дело было вовсе не так. Турок сперва бил из пушек, а уже потом пустил кавалерию. Вот тут-то...» и т. д. «Нет уж, ваше благородие! У тебя, Володя, видно, от старости мозга с соплей смешалась! Ты меня послушай...» и т. п.

Перепелов они ловили не всяких, а с выбором. Выходили к вечеру в поле и слушали голоса, обсуждая: этот частохват, никуда не годится, а вот этот «бьет с расстановкой, словно рубает, да и вакает хриловато, чувствительно, за душу берет». Я часто за ними увязывался, с радостью слушал бой перепелов; видя мой интерес, старики стали брать меня и на ловлю. О самом процессе ее не стоит говорить — он описан Аксаковым в «Детских годах Багрова-внука», но сколько сладкого волнения доставлял подход перепела под сеть и как радостно было вынимать запутавшуюся в ней теплую, мягкую птичку! К сожалению, мне не позволяли поучиться самому вабить — звать перепела манком с крошечным кожаным мехом, складчатым,

будто гармошка. «Это тебе не ружье, из него-то всякий дурак бабахнет, а тут понять нужно», — сказал мне тогда дед Проняка.

Стараясь изловить «расстановистого» перепела, иногда ошибались. Когда птица, освоившись в клетке, начинала кричать, нередко выяснялось, что она «не та», и ее отпускали на волю. Вся добыча поступала деду Проняке. Тогда немало было любителей перепела (особенно среди купечества). Не знаю, какими путями распространялась информация, но голосистые певцы у Прова не задерживались — покупатели приезжали не только из ближнего Землянска, но и из Воронежа, Задонска и даже Ельца.

Пострелять перепелок мне впервые удалось только в 1916 году на хуторе у бабани. Путь от Сосновки до хутора — более тридцати километров — отец решил проделать пешком. То был тогда самый длинный переход в моей жизни. Мне случалось и прежде ходить весь день, но ходить охотясь. А это совсем другое дело, и под конец я едва плелся. Чтобы избежать жары, мы вышли вечером и прибыли на место перед рассветом. Было тихо, ясно, ярко светила полная луна. Крестьяне, преимущественно женщины (время было военное), пользовались светлой ночью, чтобы свезти сжатый хлеб: нам то и дело встречались огромные возы со снопами.

Дойдя до хутора, мы, чтобы не беспокоить хозяев, забрались в сенной сарай, я снял ружье и амуницию, повалился на сено и уже не слышал, как отец стаскивал с меня сапоги.

Охота, на которой я убил пять перепелок, изрядно помазавши, не заслуживает описания. Мы охотились с Зорькой. Стреляли по очереди, и отец все корил меня за то, что я плохо веду свою молодую собаку, недостаточно управляю ею и в конце концов обозвал растопшой. Я ужасно обиделся и в следующую свою очередь сказал:

— Стреляй ты, мне что-то не хочется! — а в ответ услышал:

— Подумаешь, какой Чайльд Гарольд в пятнадцать лет!

Сравнение с байроновским героем, образцом разочарованности в жизни, обидело меня еще сильнее, однако заставило взять себя в руки и думать больше о собаке, чем о добыче.

Вдоволь я стрелял перепелов только в 1923 году из-под Мордана. Тогда мы с женой, молодые бездетные супруги, провели август в деревне недалеко от Воронежа. С питанием было еще трудновато, и мы кормились в основном пере-

пелками и арбузами. Перепелов было множество. Эконом боеприпасы, я стрелял полужарядами, ежедневно принося домой шесть-восемь жирненьких, чрезвычайно вкусных птиц. Больше и не требовалось. Охота, хоть и не азартная, доставляла чувство спокойной радости, тем более, что ходили мы обычно вдвоем с женой. Немного досаждало только пренебрежительное отношение Мордана к убитому перепелу, о чем я уже упоминал. Иногда приходилось долго шарить в траве, разыскивая птицу, в то время как пес спокойно полеживал.

БОРОВАЯ ДИЧЬ

На глухарей я охотился мало, хотя и в Ленинградской области и, особенно, в Карелии их было достаточно. Но стремление к самостоятельности всегда побуждало меня всемерно уклоняться от услуг егеря. А самосильно освоить наиболее прославленную охоту на току, не зная глухариной песни, невозможно: руководитель требуется непременно, хотя бы для первого раза. Лишь в 1953 году в Весьегонском хозяйстве пришлось услышать песню, подойти и убить токующего глухаря, но подводил меня все же егерь. В следующий раз, когда я попал на ток через десять лет, уже стариком, потребовалась помощь сына. Тока в Беловежской Пуще, где Ярослав тогда работал, были чудесные, а я оскандалился — за четыре утра убил одного, второго промазал самым постыдным образом, а третьего подранил и в густом багульнике не смог ни догнать, ни дострелить его.

Таким образом, в охоте на току у меня нет опыта. С десятков молодых я взял из-под Ирмы, от которой на этих охотах требовалось все ее мастерство — уж очень старается глухариный выводок убежать в непролазную гущину, где, наконец, слышишь грохот взлетов, а выстрелить редко когда удается. Да и мазал я по глухарям просто безобразно, имею на совести несколько упущенных верных птиц. А ведь в те годы стрелял очень неплохо, в иные дни даже отлично. На Полубянке по поводу таких промахов шутили: «Дробь не воткнулась». А недавно пришлось слышать и другое, уже не столь шуточное объяснение: «Дробь пошла бубликом», хотя и не более веское, чем старинное: «Порох крупен!»

Один промах угнетает меня до сих пор. Поздней осенью 1952 года я поехал в деревню Дорожив (Весьегонское хозяйство) охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Попал на место вечером, а к рассвету началась

такая метель, что утренняя заря на водоеме пропала. Часам к одиннадцати снегопад прекратился, и я отправился с собакой на указанное егерем моховое болото, где ходил часа четыре. Выпавший снег растаял, небо очистилось, солнце весело озарило лес. Весело было и на душе — конец октября, охота с легавой вроде бы закончилась, а мне удалось еще раз пострелять из-под прекрасно работавшей собаки и весьма успешно — пять белых куропаток на шесть выстрелов. А завтра, надо думать, состоится и охота на воде с чучелами.

Почти у околицы деревни поднялся рябчик, пролетел метров сто и сел в негустую елку. Я свернул с дороги и очутился под огромной рябиной, с которой согнал большую стаю свиристелей. Дерево стояло у края порядочной полянки. Ярко-зеленая короткая трава была густо усыпана красными ягодами. Тут собака, шедшая у ноги, упала, как подкошенная, и застыла на лежачей стойке носом к середине поляны. «Вот болван! — подумал я. — Это же рябчик набегал или свиристели нагадили сверху. Все же приготовился к выстрелу, внимательно осмотрел полянку... Пусто! Хотел шагнуть вперед, но перед собакой тяжело поднялся глухарь. Ярко освещенный, он летел через поляну. А я, только что почти без промаха бивший куропаток в довольно густом соснячке, промазал по нему и раз, и два. Так и не знаю, чему больше удивляться: своим промахам или способности огромной птицы в двух метрах от меня остаться незамеченной в траве, которая не укрыла бы даже воробья.

О своеобразном способе охоты с подхода на глухарей, кормящихся на высоких осинах, мне говорил еще В. Ф. Левашкин. Осиновые листья глухарь поедает, когда они еще только начинают менять свою летнюю окраску, как говорят, закисают. Одетые «в багрец и золото» деревья глухарей уже не привлекают. Мне всего раз довелось поохотиться «на осинах». Как мне советовал егерь, следовало искать глухарей в старых, самых высокорослых осинниках, ходить очень медленно, бесшумно, тщательно осматривать крону каждого дерева.

Собаку можно пускать в поиск, так как сидящие высоко на деревьях глухари ее не боятся.

На рассвете мы со знакомым охотником отправились в осинник, с края которого я за пару дней до того согнал глухаря. Мне не везло. Я хотя и подошел к четверем, но все, как на грех, взлетели с квохтаньем — оказались самками. А мой напарник выпалил уже по трем петухам, двух промазал, третьего, сидячего, подстрелил и, если бы не

Ирма, упустил бы. Промахи свои он объяснил тем, что не привык стрелять по птице, бросающейся с дерева вниз, а потом уже выравнивающей полет. Преследуя подранка, мы на шумели, в этом осиннике ничего больше не подняли, но невдалеке нашли другой, такой же. Едва разошлись, как надо мной с высоченной осины сорвался глухарь; он также ринулся вниз, словно падая на меня. Я, конечно, промахнулся, а второй раз выстрелить не успел — спикировавшая птица тут же взмыла и скрылась за ближайшей кроной. Потом выстрелил мой немного отставший спутник; я только успел подумать: вот счастье человеку, как на фоне голубого неба увидел глухаря. Он летел над осинами, хотя и не на меня, а все же приближался и вскоре оказался на достижимой дистанции. Когда я выстрелил крупной (№ 2) дробью, птица шла планирующим полетом, после выстрела продолжала планировать, постепенно снижаясь, и исчезла в деревьях, так и не взмахнув крыльями. Несколько перьев быстро унес ветер. Еще не смея надеяться, я пошел за глухарем и вскоре увидел Ирму на стойке. Глухарь протянул метров пятьдесят и лежал, безжизненно распластав крылья, поразив меня своим большим, почти орлиной формы фисташково-зеленым клювом, но особенно размерами. А ведь когда я в него стрелял, он казался не крупнее тетерева-косача.

Рябчики никогда меня не привлекали. Охота с легавой по ним не получается — рябчик обычно заранее, до стойки, взлетает на дерево и оттуда наблюдает за собакой, работающей по его набродам. Еще когда Левашкин демонстрировал мне успехи, достигнутые Ирмой, она начала водить взад-вперед, бесплодно кружить в поисках выходного следа. Виктор Федорович тотчас ее отозвал, сказавши:

— А! Это рябчики насмордили.

Действительно, в елках над нами послышался фыркающий звук взлета, за ним второй.

Стрелять рябчиков мне приходилось нередко, но все случайно замеченных на деревьях во время охоты по тетереву. Таким образом, я имею солидный опыт лишь в отношении тетерева и белой куропатки.

Первого тетерева я убил ранней весной 1930 года. Вальдшнепа еще не было, но при попытке постоять на тяге удалось послушать бормотание токующих где-то тетеревов. Компаньон заверил, что правильных токов в округе нет, поют вразбивку, больше поодиночке, главным образом на лесных полянках. Иногда удается подманить косача, но шансы очень малы — дело того не стоит. Все же он научил меня подманке «чуфыканьем», я как-то сразу ее

освоил, решил попробовать и до рассвета ушел в лес. Из глубины его доносился голос токующего тетерева, но скоро умолк. Долго я бродил невысокими осинниками и березняками, пересекая лужайки, огибая участки старого ельника. Солнце давно взошло, но ничего не было слышно, кроме песенок зябликов да унылого завывания клинтуха в елках. Пришла пора возвращаться.

Я остановился закурить и тут где-то слева забулькал тетерев! Попробуем! Чуфыкнул раз, другой. Птица, к моему изумлению и радости, прервав песню, откликнулась и забормотала горячее. А ну еще: «Чуфшши! Чуф-шши!» Опять отозвалась...

Несколько минут мы перекликались, петух все больше ярился, начал шумно подлетывать на месте, потом издал странный курлыкающий звук и смолк, как оборвал. Я еще раза два-три чуфыкнул, не получив ответа, решил, что птица поняла подвох, но все же, молча, не шевелясь, выжидал довольно долго. Еще минута — и сдвинулся бы с места, но явственно услышал в осиннике шелест палого листа, тихое, отрывистое урканье. Едва успел приготовиться, как метрах в пятнадцати появился тетерев. Черное оперение под солнцем отливало синевой, пышные брови краснели словно кораллы. Весь напыжившись, распутив лиру хвоста, чертя крыльями по земле, он спешил на бой с воображаемым соперником. Укрытый молодой елочкой, я не спеша тщательно прицелился. После выстрела петух даже не трепыхнулся. Как же он был красив, как радостно было любоваться им, сидя на пеньке!

Той же весной я в совершенстве овладел подманкой и в дальнейшем всегда предпочитал ее охоте из шалаша. Правда, очень скоро я понял, что для успеха недостаточно хорошего подражания чуфыканью, нужно умение, не встревожив поющего тетерева, подойти к нему метров на двести. При большем расстоянии он слабее реагирует на подманку — откликается, а не подходит. Нужно, чтобы тетерев токовал в одиночку; подозвать одного из пары очень трудно. Выманить же косача из компании с установившегося тока вообще невозможно, так что охотиться с подманкой имеет смысл лишь там, где тетеревов немного и тока разбиты. Способ малодобычлив — редко убьешь больше одного косача за утро, но охота эта мне всегда казалась чрезвычайно увлекательной. Сумею ли подойти достаточно близко? Удастся ли подозвать петуха, и если да, то как скоро? Иного долго дразнить не приходится, он подбежит через несколько минут, иному будешь чуфыкать целый час, озябнешь не меньше, чем сидя в шалаше

на току, на этом, как шутят охотники, «самом холодном месте на земном шаре». Зато какое удовольствие — все же «охмурить» упрянца, а особенно — заставить его подойти издалека.

Под Беломорском я как-то охотился по гусям на приморской тундре и взял за вечерний прилив двух гуменников. Вода ушла, лет гусей прекратился, темнело. Тут в лесу далеко запел тетерев; от нечего делать я стал ему чуфыкать — было тепло, ночлег под елкой подготовлен, спешить некуда, а вечер такой красивый... Косач долго не реагировал, потом начал отвечать, в конце концов подбежал ко мне и был убит. Не менее пятисот метров промчался он от опушки по мокрому лугу, брызги от него так и летели. А потом — пламя костра, кружка горячего, крепкого чая и сон до утреннего прилива.

Приходилось мне охотиться и из шалаша, но очень немного, и на токах, где не удавалось убить больше одного петуха за утро. Богатейший тетеревиный ток я видел лишь однажды в Усть-Кубинском районе Вологодской области. На нем, в Патрышевском болоте, сын бывал прежде, сразу нашел свой шалаш, конечно, уже негодный, но быстро нами восстановленный. Мы сильно припоздали — очень тяжелой оказалась дальняя дорога. При лунном свете убедились, что травка на моховых кочках вся вытоптана, что всюду видны тетеревиные перья и помет. К рассвету на ток слеталось множество косачей — наверное, более сотни. В темноте они так и кишели перед шалашом, лес гудел от их песен и чуфыканья. Мы запаслись терпением и только когда совсем рассвело, по команде ударили залпом — каждый убил петуха. Ток продолжался с прежним пылом, но стрелять нам больше не пришлось — тетерева к шалашу не приближались. Но сама картина этого огромного тока стоила и морозной ночи, проведенной без костра, и долгого перехода через страшно глухой, большей частью затопленный лес.

Больше всего тетеревов я взял из-под собаки. В охоте с ней различаются два периода: ранний — по выводкам и поздний — по уже взматеревшим тетеревам. Ранняя охота проще и добычливее, особенно если выводки разведаны заранее, до открытия сезона. Нужно при этом помнить, что найденный выводок не следует тревожить вторично, а тем более многократно. Численность тетеревят с каждым подъемом уменьшается. Разлетевшись порознь, выйдя из-под бдительного надзора и защиты матки, одни из птенцов теряются и, оставшись без ухода, гибнут, а другие становятся легкой добычей хищников.

До сентября пол молодых птиц при взлете определить не удастся, и можно стрелять любую. Взрослая же тетера настолько отличается от молодняка, что на ее жизнь посягнет либо вовсе неопытный охотник, либо бессовестный. Позже молодых тетерочек можно безошибочно отличить от петушков, но легко спутать со старой тетеркой. В ленинградских охотничьих обществах существовало правило: с 1 сентября все самки считаются старыми, и отстрел их запрещается. Уже одно это делало позднюю охоту более трудной, а главное — сама дичь становилась все осторожнее.

Работа по выводкам для полноценной подружейной собаки не сложна, да и стрелять по ним обычно легко. Впрочем, есть в ранней охоте одна особая приманка — старый косач, которого осенью взять из-под легавой почти невозможно. В августе же взрослые петухи, еще не закончив линьку, неохотно поднимаются на крыло. Выстрелить удастся не по каждому; хорошо, если тетерев задержался и позволил прижать себя в небольшом укрытии среди ягодной поляны. Тут ему приходится туго, и он будет таиться под стойкой до последней возможности. Но, вовремя заметив приближающуюся опасность, черныш норовит убежать с открытого места в ближайшую чащу. Собака долгой и быстрой потяжкой ведет туда же, но петух уже забрался в крепь и там взлетает, иногда так и не показавшись на глаза.

Однако в последние годы моей охоты с Ирмой старым хитрецам редко удавались эти штучки. Едва почуяв запах птицы, опытная собака прежде всего старалась отрезать ей путь в гущину, вынуждая спрятаться где придется на открытом месте.

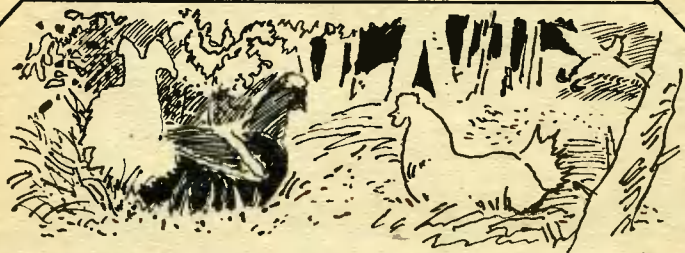
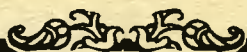
Позднюю охоту по тетереву я любил больше охоты по выводкам, особенно когда у меня была Ирма, не раз дававшая пример высокого мастерства подружейной собаки. В течение осени молодые самцы все в большем числе отделяются от выводков, а в стаи еще не собираются. Они уже приобрели повадки старого косача, но не имеют его сноровки и хитрости. Вот Ирма причуяла и повела, тянет и тянет, а тетерев бежит, хочет добраться до места погуще, чтобы там взлететь. И тут собака, бросив след, идет галопом в сторону и забегает навстречу удирающей птице. Старый петух, заметив этот маневр, сразу улетел бы, а молодой либо бежит назад, прямо на охотника, либо, еще чаще — затаивается на месте, выдерживает до последнего и поднимается близко. Два-три черныша, добытых столь эффектно, к тому же «спелых», полновесных, радуют мно-

го больше, чем десяток тетеревят, чуть крупнее куропатки каждый...

Но осень набирает силу, все чаще заморозки, лес оголился, тетерева собрались в стаи и настолько осторожны, что охоте с подружейной собакой пришел конец. Охотиться с чучелами мне не доводилось, а вот охоту подходом без собаки на клюковых болотах я испытал. Она возможна в теплую погоду или днем, когда воздух прогрелся, мох оттаял и не хрустит под ногами. Если двигаться бесшумно, очень медленно, с остановками (неподвижный предмет не так заметен), то часть тетеревов и даже глухарей может подпустить охотника. В конце октября, уже после войны, мы с сыном и его товарищем, охотясь по утке на Кубинском озере, забрались в моховое, с мелким сосняком болото между речками Возимой и Еткой. Тетеревов там оказалось порядочно, стайки их были недоступны, но отбившиеся одиночки подпускали довольно близко. За пару часов я взял четырех чернышей, спутники мои, помнится, по два, а сын, кроме того, убил трех белых куропаток.

Моя рекордная охота по тетереву примечательна лишь тем, что ходил я со спаниелем и что в тот день охотничье счастье с первых шагов повернулось ко мне лицом и уже меня не покидало. В 1934 году, когда у меня не было собаки, я в конце августа поехал на станцию Ижора. Там, в лесничестве, остался Чомми — спаниель моего покойного товарища Володи Устинова. Походить с ним представлялось все же веселее, чем топтаться без собаки. Мы отправились в примыкавшую к лесничеству пустошь размером примерно три на четыре километра, поросшую отчасти молодым, уже довольно высоким осинником, а главным образом — густейшими кустарниками. Места были бы совершенно непроходимы, если бы не прогалины: то узкие сырые лощинки, то довольно обширные полянки с брусничником.

Ничего хорошего от охоты я не ждал, тем более что становилось жарко, тетерева, как мне казалось, конечно же ушли с жировки и забились в чащу. Если спаниель и поднимет их в чепыге, то и выстрелить едва ли удастся. А обернулось все по-другому: мы отыскиали целых три выводка, притом многочисленных; они разбились, и потом на каждом подъеме птица вылетала от невидимой в чаще собаки прямо ко мне, и я взял за эту охоту двенадцать молодых тетеревов и старого косача. С каким же наслаждением Чомик разыскивал и апортировал добычу, как визжал от нетерпения, когда я, подозревая его, присел покурить! Но в следующее воскресенье получилось наобо-



...В ТОТ ДЕНЬ ОХОТНИЧЬЕ СЧАСТЬЕ С ПЕР-
ВЫХ ШАГОВ ПОВЕРНУЛОСЬ КО МНЕ ЛИ-
ЦОМ И УЖЕ МЕНЯ НЕ ПОКИДАЛО.

рот. Мы опять нашли в пустоши много тетеревов, только вся поднятая Чомиком дичь летела прочь от меня и уходила без выстрела. Лишь к вечеру удалось убить пару петушков, забравшихся в отдельные кусты у опушки.

Одна охота ознаменовалась особо важным для меня событием — в ней впервые и с успехом участвовал мой тринадцатилетний сын.

«Историческая» охота состоялась в самом конце августа 1937 года на Веретинском мху — огромном моховом болоте, лежащем в лесу километрах в десяти-двенадцати от Киркова, ближайшего к нему населенного пункта. Место это глухое, обширное. В. Ф. Левоскин уверял, что за полный день охоты не пройти и десятой его части. Болото не топкое, местами совсем почти сухое, поросшее редкими сосенками, с багульником и голубикой, есть на нем и широчайшие клюквенные глади, и отдельные возвышенности с брусникой, и узкие гривы высокого ельника. Глади с клюквой, с хилым сосняком по краям — типичная станция белой куропатки. Заросли ивовых кустов в приболотках могли обеспечить ей обильное зимнее питание, однако находил я ее там изредка — возможно, просто не встречал выводков, широко рассредоточенных на неоглядном просторе Веретья. Зато мох славился почти постоянным обилием тетеревов. В иные годы они оставались нетронутыми — ленинградские охотники не часто забирались так далеко от базы.

Я там трижды охотился «обыденкой», тратя на переход в оба конца слишком много времени. Теперь, взяв с собою сына, вышел вечером, чтобы ночевать в Веретье. К заходу солнца дошли до места, правда, с небольшим приключением. По заросшей травой дороге мы выходили к узкой, длинной пожне, когда над головами у нас с дерева сорвался старый глухарище размерами с целого индюка. Он боком к нам перелетел через поляну, а у нас ружья, конечно, за плечами... Случившееся нельзя было расценивать как неудачу — мы ведь не охотились, а только шли на охоту, — но сын очень переживал, уверяя, что глухарь ехидно посмотрел на него одним глазом и даже подмигнул.

Утром нас разбудил предрассветный холод и дальний крик самца белой куропатки. Восходящее солнце еще не осветило болото, когда Ирма нашла первый выводок тетеревов, уже очень крупных. Они широко разбрелись в сосенках по голубике, однако поднялись все сразу, не близко. Тут произошел единственный в моей охотничьей практике случай: две птицы взлетели навстречу друг другу, я ударил

по ближней, а дальняя оказалась в створе с ней, и упали обе — почин многообещающий. Ирма, найдя убитых, вскоре опять потянула. Теперь стрелять должен был Ярослав: он шел за собакой, я следовал за ним и переживал заранее его более чем возможный промах. Собака вывела на почти открытое место и стала. В нескольких шагах взлетела тетерка, настолько крупная, что я хотел крикнуть: «Не стреляй, мать!», — но не успел. После выстрела в воздухе повисло такое облако пуха и перьев, словно вспороли подушку. Птица оказалась гибридом — помесью глухаря и тетерева: молодая, а ростом побольше старой тетерки и оперение тетеревиное, но со множеством крупных светло-желтых пестрин. Вот была радость!

В заключение — о зимней охоте «по лункам». Тетерева не только ночуют в снегу, но зарываются в него и днем, между утренней и вечерней кормежкой. Обнаружить место дневки довольно легко, если удастся издали заметить стаю, рассеяную на высоких березах. Запасешься терпением и увидишь, как тетерева, наевшись березовой почки, один за другим слетают с деревьев и падают в снег. Нужно выждать еще минут двадцать, чтобы дать им обсесться, затем идти и высматривать лунки — наглухо засыпанные снегом ямки на местах посадки птиц. При подходе, где-нибудь возле лунки, шумно взрывается тетерев. Укрывшись в снегу, он сидит крепко, подпускает вплотную и даже выстрел по нему не заставляет всех остальных покинуть свои уютные «кабинки». Поэтому, двигаясь к убитому косачу, нужно быть настороже — тут же рядом, чуть не из-под лыжи, может подняться еще тетерев, а то и не один. Если лунки уже пусты, то около каждой из них имеется вторая ямка, с разбросанным по краям снегом и штриховыми следами, которые оставили крылья взлетающей птицы. Я ходил «по лункам» не часто, только раз убил пару за охоту, обычно же в лучшем случае одного, но удовольствие получал огромное. Уж очень эффектно стремительное появление блестящей черной птицы в облаке сверкающей на солнце снежной пыли.

Белую куропатку и даже примерную численность ее легче всего определить весной по голосу токующих самцов. Их крик — один из самых ранних вестников наступающего рассвета. Он раздается вслед за трубными сигналами пробуждающихся журавлей, когда кроны сосен и елей едва обрисовались на фоне светлеющего неба, а легкая дымка повисшего над землею тумана оседает утренним инеем на пожухлые травы, на кочки мохового

болота. Раскатистый, очень громкий крик — «эpp-ре-ке-ке-ке!» — называют гоготом лешего; раздавшись внезапно и невдалеке, он заставляет вздрогнуть даже охотника, знающего чей это голос. Если петушок токует близко, то за гоготом можно услышать басистое «ваваканье» — словно подает голос огромный перепел. Доносящийся издали гогот сливается в трескучий, стрекочущий звук; если куропачей много, этот стрекот слышен со всех сторон.

Однажды в Карелии мне удалось долго наблюдать за токующим петушком. Перед моим шалашом на тетеревином току лежал во мху большой, выше метра, круглый валун. С него, гогоча, и взлетал куропач, поднимался вертикально в воздух, потом садился на мох, с криком «ва-ва» бегал вокруг камня, вскакивал на него и начинал сначала. Освещенный восходящим солнцем он был отчетливо виден и очень красив в своем брачном оперении — белоснежный, в крупных ярко-рыжих пятнах и с рыжей головой, на которой так и горели красные брови. Я долго им любовался. Потом возле камня появилась самка, одетая уже почти по-летнему. Она тихо, гнусаво похныкивала; самец соскочил к ней на мох, но тут один из нескольких токовавших вокруг шалаша тетеревов подбежал поближе, и выстрелом по нему пришлось прервать любовную сцену — обе куропатки улетели, разлетелись и остальные тетерева.

Голос самца можно услышать и осенью, на утренней заре; так и кажется, что он своим криком будит опекаемый им выводок.

Охоту по белым куропаткам с легавой я всегда особенно ценил за то, что при хорошей работе собаки она возможна до самой поздней осени, когда давно уже и пролет вальдшнепа кончился, и тетерев стал недоступен. Пестрое ржавое оперение птиц настолько сливается с осенними красками мохового болота, что куропатки, вполне взматеревшие, близко подпускают собаку или бегут перед ней, оставаясь невидимыми, хорошо выдерживают стойку. Очень сильное, радостное впечатление производит взлет выводка, дружный и шумный, часто сопровождаемый гоготом самца; белизна крыльев резко контрастирует с охристой окраской птиц. Поднимаются они не так кучно, как серые куропатки, и лишь однажды от двух моих выстрелов по взлетевшему выводку упали три штуки. Я никогда не убивал больше двенадцати-пятнадцати за год — отстрел белой куропатки по сравнению с серой и с тетеревом лимитировался в Ленинградских охотхозяй-

ствах более жестко. Но от этого ценность каждой добытой птицы только увеличивалась.

Очень много белой куропатки было в районе Беломорска. Как-то весной, когда уже полностью сошел снег, я ехал поездом в Мурманск. Где-то за Кемью полотно шло по бесконечному пространству моховых гладей с разбросанными кое-где мочажинами, заросшими тальниками. На желтой поверхности мха вдоль кювета нередко видны были белые пятна — кучки ощипанных перьев. На протяжении двух километров я насчитал их тринадцать — это было все, что осталось от куропаток, налетевших зимою на провода. А сколько их сломало крылья?

В 1954 году я осуществил, наконец, свое давнее желание — приехал под Беломорск с Рексом. Но года три тому назад сильнейшие ветры с моря свалили лес вдоль побережья на десятки километров. Образовалась широкая — до километра — полоса бурелома, непроходимая даже для собаки. Сперва Рекс находил выводки белой куропатки, кормившиеся на взморье у края чепыги, но с первого же подъема дичь улетала в бурелом, а затем выходы ее на открытые места совсем прекратились. Пришлось переключиться на охоту по бекасам. Так и не исполнилась моя мечта — вдоволь настреляться в Карелии по белой куропатке. А именно там эта птица окончательно завоевала мое особое уважение.

В течение трех довольно-таки тоскливых зим только она обеспечивала мне возможность охоты, хотя и мало-добычливой, но захватывающе интересной — я тропил белых куропаток по снегу, конечно, на лыжах. До места охоты шел с палками, затем оставлял их и начинал поиск набродов. Куропатки, кормясь ивовой почкой, часто перелетают с места на место, но направление взлета можно примерно определить по штрихам на снегу, оставленным крыльями птиц. Наконец, застанешь стаю на кормежке; поднимается она не близко, но обычно в пределах выстрела крупной (№ 4) дробью. Это единственная охота, при которой выгоднее не убить птицу наповал, а только подстрелить. Чтобы найти мертво битую куропатку, которая ткнулась в глубокий снег где-то далеко за кустами, требуется много времени и терпения. Подранок же пускается бежать, и ничего не стоит его вытропить по следу, оканчивающемуся лункой — куропатка зарылась в снег. Теперь она подпустит вплотную, с криком выскочит на поверхность и помчится; ее придется дострелить, что не хитро, а поиск подранка по следу сам по себе интересен.

Несмотря на скромные результаты — редко две куропатки за день, чаще одна, и то не всегда — я чрезвычайно увлекался этой своеобразной охотой, ходил подолгу, пока хватало сил. Потом, найдя свой входной след, повернешь по нему и кажется, что тебя ждет автомобиль, а не лыжные палки; стоит до них добраться — и исчезает усталость, лыжи несут легко и быстро, не хуже любого механического транспорта.

ЗВЕРИ

В охоте на копытных, кроме кабана, у меня нет опыта, которым стоило бы поделиться. Взяв за всю свою жизнь одного лося, одного оленя, пару косуль, я счел себя удовлетворенным, и эта дичь перестала меня привлекать. Возможно, дело в том, что я не владею техникой охоты на них подходами и с подманкой («на рев», «на стон»), охот же облавой не люблю вообще — на них лишаешься самостоятельности, а она всегда была мне очень дорога. Кроме того, на облавах меня преследовало упорное невезение, начиная с детства, с того дня, когда я уступил другому свое место, а с ним и выстрел по стоящему в двадцати шагах волку. С тех пор нигде и никогда зверь на мой номер не шел. Не раз случалось, что ближайший сосед справа или слева, а то и оба, стреляют чуть не в упор, а я стою, словно под заклатьем. Другое дело — охота по кабану с собаками. Тут представляется возможность подставиться, угадав переход кабана, или раньше других подбежать к зверю, остановленному собаками. Конечно, при свободном передвижении охотников в лесу был риск получить предназначенную кабану пулю, но оба мои постоянные компаньона зарекомендовали себя как люди опытные и выдержанные, а охота доставляла особо острые переживания. Больше всего волнует момент подхода к кабану. Иногда он буквально облеплен вцепившимися псами, и именно тут нужно полное самообладание, обеспечивающее точность выстрела и его безопасность для собак.

Только в старости, на шестьдесят восьмом году жизни, мне представился случай стрелять на облаве; к счастью, я не осрамился — убил своего последнего кабана. Но и этим успехом я обязан егерю Нерусского хозяйства С. И. Гуторову. Достоверно зная, что в окладе есть кабан, слегка зараненный накануне, Сергей Иванович тесно разместил многочисленных стрелков по перемычке густого леса между редочами, а меня поставил далеко за правым флангом, метров на полтора впереди от стрелковой линии у ло-

щинки, тянувшейся вдоль нее из оклада. Сплошная стена старого дубняка надежно изолировала меня от остальных охотников. По лощинке и выкатил на меня кабан, пройдя вдоль цепи стрелков, сделавших по нему три бесплодных дублета. Зверь шел не так уж близко, но по месту почти открытому. Мой «Аткин» положил в бок секача восемь семимиллиметровых картечин из двенадцати. Кабан пробежал еще сотни три метров и свалился. Трудно сказать, кто получил большее удовольствие — я или Гуторов, точно рассчитавший, куда повернет зверь, если не выйдет на стрелковую линию или не будет на ней убит.

Из многолюдных облав по кабану одну, пришедшуюся на день моего рождения, но, как обычно, для меня неудачную, всегда вспоминаю особо — на нее пригласил меня Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Им и была организована эта охота, проходившая примерно там же, где я убил своего первого кабана. Участвовало в ней не менее тридцати человек. Зверя было немного, в загонах кто-то из генералов взял небольшого поросенка, один из офицеров — крупного подсвинка. Потом пустили собак, двое охотников убили по зайцу, а остальным стрелять не пришлось. Но удовольствие, доставленное присутствием Константина Константиновича, с лихвой искупило огорчение от безрезультативной охоты.

В тот день, 27 января 1949 года, я мог полностью оценить обаятельность этого выдающегося человека. С какой любезностью и простотой он усадил на привале вокруг себя всех вперемешку — и генералов, и водителей машин, — как заботливо угощал участников застолья. С неподдельным интересом маршал слушал бесчисленные рассказы сотрапезников, иногда весело провоцируя их на явно «охотничьи» повествования, которые выслушивал серьезно, с едва заметной усмешкой.

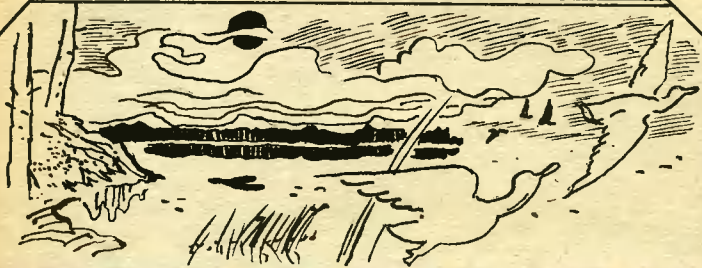
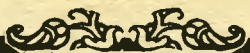
Всех рассмешил такой разговор: Константин Константинович похвалил одну из собак, действительно неплохо гонявшую зайца. Владелец тотчас предложил взять одного, даже пару, из ее двухмесячных щенков. «А какой же они породы?» — не без лукавства спросил Рокоссовский (сука была несомненно ублюдком). «На всякий вкус, товарищ Маршал Советского Союза! Два костромича, один англо-русский, одна — польская, а пятую я долго не мог определить: потом уже понял, что это чешская горная!» Кто-то из охотников так и прыснул, я едва удерживался от смеха, а Константин Константинович с неизменной своей тактичностью сказал, что давно мечтает о чешской горной и весьма благодарен, только вот заехать сегодня за ней ни-

как не может, но на днях пришлет кого-нибудь за щенком. Видно «кого-нибудь» не нашлось: и «чешская» и «польская» и все остальные так и остались при матери. Хозяину же их маршал назавтра не забыл сообщить, что очень сожалеет, но по семейным обстоятельствам не может сейчас завести себе собаку.

Жаловался Рокоссовский на свой новенький «Зауэр» — богато отделанное, с прекрасным боем ружье имело только один спусковой крючок, работающий на оба замка. К этому маршал никак не мог привыкнуть — забывал перевести защелку спуска на тот ствол, из которого хотел выстрелить. Ему очень приглянулся мой «Франкотт». Каюсь — из желания пофасонить я в этот раз поехал с ним, а не с «Таэтом», много лучше бившим пулей, но несравненно низшим по разбору. Ложа «Франкотта» для высокого, на голову выше меня, Рокоссовского, была слишком короткой. «Если бы не это, — сказал он, — предложил бы поменяться, а вы, конечно, отказались бы». Я и в самом деле ни за что не расстался бы с любимым ружьем и очень радовался, что отказываться не пришлось.

На волчьих облавах, при охоте загоном на лису, на рысь я был так же несчастлив, как и при облавах на копытных, — за всю жизнь не сделал ни одного выстрела. Единственный волк был мною убит чисто случайно, летом на охоте по уткам. Да и он, смертельно раненный с небольшого расстояния дробью № 5, скрылся от меня в густых ольхах. Его труп я обнаружил через три дня по стае слетевшихся к падали ворон. Из лисиц мною добыто всего три, причем только одну, последнюю, я стрелял по всем правилам, из-под гона. Другая вздумала полакомиться моей подсадной уткой, когда я охотился поздней осенью с берега и вовремя заметил подкрадывающуюся разбойницу. О лисе, убитой во время охоты с Ирмой на Волхове, уже рассказано.

При единственной моей встрече с медведем «тесный контакт» между нами не состоялся. Поздней осенью 1939 года я охотился на Веретинском мху, решил отдохнуть, закусить и присел в крайних сосенках на кочку. Ирма лежала рядом, подхватывала на лету куски хлеба и колбасы. Передо мною раскинулось обширное чистое болото; лес на другой стороне его едва обозначался в клочьях тумана, которые гнал сильный ветер, дувший мне в лицо. Покончив с едой, я собирался закурить и тут увидел что-то темное, двигавшееся к нам по глади. Человек? Нет, явно зверь, но какой? Для лося слишком низок, для волка слишком черен, для собаки велик, да и откуда здесь взялась бы со-



ДРУГАЯ ВЗДУМАЛА ПОДАКОМИТЬСЯ МОЕЙ ПОДСАД-
НОЙ УТКОЙ; Я ОХОТИЛСЯ С БЕРЕГА И ВОВРЕМЯ
ЗАМЕТИЛ ПОДКРАДЫВАЮЩУЮСЯ РАЗБОЙНИЦУ.

бака без охотника? Животное постепенно приближалось, и, наконец, я разглядел, что это медведь. Он шел по ветру прямо на меня, надежно укрытого от него двумя низкими, но густыми сосенками. Я шепотом приказал собаке лежать, перезарядил ружье пулями и спрятался получше. Медведь подошел уже метров на двести. Он был невелик, двигался не спеша, с остановками, шарил мордой по мху, наверное, подбирая клюкву.

Я ждал очень спокойно, уверенный, что зверь за ветром не почует нас, подойдет вплотную, и я убью его. Осталось шесть или семь десятков метров, когда с медведем что-то случилось. Он замер на месте, подобрался, насторожил уши, поднял обращенную ко мне голову, пригнувшись. Подвинулся вправо, подвинулся влево, потом встал на задние лапы и все нюхал; сильный ветер дул от него, и все же он что-то чуял. Велико было искушение выстрелить, но попасть пулей из моей «тулки» на таком расстоянии я не очень рассчитывал и надеялся, что зверь все-таки подойдет ближе. До сих пор не понимаю, как медведь обнаружил опасность; он разом круто повернулся и неуклюжим, но стремительным скоком помчался обратно. Оставалось утешаться тем, что не поддался соблазну — не выстрелил, рискуя понапрасну испортить зверя.

Таким образом, в отношении четвероногих, могу похвалиться только зайцами, которых стрелял очень много, но удивительно неровно. В последние годы охоты на Полубянке я, еще мальчик, почти не промахивался по гонному зайцу и высоко о себе возомнил. Но вот зимой 1916/17 года мне довелось провести рождественские каникулы на хуторе у бабани. Лежали глубокие снега, я к тому времени свободно ходил на присланных дедом из Москвы лыжах, каждый день тропил русаков, ежедневно стрелял по двум-трем и мазал, мазал... Заяц вырвется из лежки в нескольких шагах, не успеет еще осесть поднятая им снежная пыль — а я уже выпущу оба заряда «в белый свет, как в копеечку». За две недели у меня ушло таким образом не менее пятнадцати зайцев, а убит был лишь один.

Особенно обидно было то, что тропить зайца я умел хорошо; никто меня не учил, я просто помнил рассказ писателя М. Н. Богданова «На косых», действовал соответственно, легко распутывал след, а попасть в зайца не мог. Выдержать и отпустить русака хотя бы шагов на двадцать мне никак не удавалось. Для пятнадцатилетнего мальчишки это было в порядке вещей, но столь же плохо я стрелял по зайцам «из-под себя» и в начале двадцатых годов. Тогда множество русаков развелось в окрестностях Воронежа:

даже по чернотропу можно было «вытоптать» за день трех-четырех, но я торопился и мазал. Заяц, неожиданно выскакивавший рядом, совершенно лишал меня самообладания. Не лучше получалась и охота по пороше — стрелял я все так же мерзко, хотя найденный по следу заяц появлялся вовсе не внезапно.

Промахи особенно огорчали, потому что питались мы тогда очень плохо, и ценность охотничьей добычи чрезвычайно возросла. За эти тяжелые годы мне посчастливилось только раз. В конце ноября 1921 года я охотился по первой, выпавшей с вечера пороше. Заяц, как водится, после нее почти не ходил; только близко к полудню попался следок, я нашел русака на лежке и убил его, не дав подняться. «Вот повезло! Ведь вскочи он — наверное пропуделял бы», — думал я, пока, опустившись на колено, привязывал зайца. Не успел встать, как за бугром раздались два выстрела и оттуда прямо ко мне примчался еще один заяц. Взял я и этого, заранее увидев его и приготовившись. Спустился на луг и там соследил третьего зайца. Он лежал в кочкарнике, поскакал через болотце, с треском ломая тонкий ледок, а у меня горячку как рукой сняло. После выстрела русак кувыркнулся через голову.

Охотиться, таская на себе трех зайцев, было мне не по силам — пора домой. Через километр — свеженькая скидка с дороги. Тропить, или нет? Заяц, скорее всего перемещенный, не подпустит, плечо совсем оттянула грузная ноша, а до дома десять километров. След вел к полосе высоких сорняков метрах в четырехстах. «Ладно, — решил я. — Дойду туда, а дальше следить не буду». Но повезет, так повезет. Русак лежал именно в этом бурьяне, вскочил не близко, и все же был убит. Он оказался крупнее всех, я совершенно измучился, пока доволок свой груз; зато какие два обеда приготовила мама!

Памятен последний заяц из убитых мною под Воронежем. В середине двадцатых годов число охотников у нас стало больше довоенного, количество зайцев вокруг города резко уменьшилось и к половине ноября в местах, куда я мог прийти пешком, оставались лишь отдельные русаки и все, как говорят, «стреляные воробьи». В 1927 году на полях между Песковаткой и Масловкой было два-три таких, хорошо мне знакомых «специалиста». Вели они себя стандартно: ложились обязательно в очень высоких травянистых кочках у края какого-нибудь круглого полевого болота, причем даже не старались запутать свой след. Заяц подпускал довольно близко, но уходил с лежки либо вовсе незамеченным, либо, мелькнув на мгновение, исчезал в

кочкарнике. Через него он пробирался ползком, и, появившись на другом берегу, присаживался и не спеша шел в поле. Я не стрелял через болото с расстояния около ста метров, но подумал, не попробовать ли мелкую картечь (28 штук в патроне 16-го калибра).

На очередной охоте все вышло «как в аптеке» — заяц, едва мелькнув, исчез в кочках, выполз из них на другой стороне и сел, озираясь. Болото было метров восемьдесят в диаметре. Ну, что-то получится? Тщательно прицелившись, я выстрелил — и не получилось ничего. Русак помчался, проскакал как ни в чем не бывало добрый километр и скрылся за холмом. Я пошел смотреть. Вот след, оставленный присевшим зайцем, вот борозды от картечи. Не так-то кучно она легла — между любыми двумя штрихами вполне мог бы поместиться заяц, а на месте, где он сидел, даже два. Промежуток как раз в середине осыпи был, пожалуй, великоват — словно бы не хватало одной картечины. Стал считать борозды, но нижняя часть снаряда легла по кочкам и траве, где разглядеть ничего не удавалось.

Но в центре-то одной картечины все же нет — не унес ли ее заяц с собой? Я долго шел по следу, хотел уже бросить никчемное занятие, но тут заметил на снегу крошечную красную точку. Шагов через двадцать — вторая капля, за ней две рядом, еще и еще, больше и больше... А вот уже не отпечатки лап, а полоса примятого, окровавленного снега... Я чуть не наехал лыжами на зайца. Он лежал на боку, мордою в большом пятне крови. Ну и громадный же был русак — самый крупный, какого мне доводилось видеть! Картечина попала ему под лопатку.

Уже смеркалось, когда я шел домой, довольный настолько, что даже сочинил стихи:

Заметая в поле заячьи следы,
Курится дымок сухой поземки.
В гаснущем закате — огонек звезды,
Над снегами — синие потемки.

За холмами поднялась луна,
Вышла из застывшей дымки пара,
И зажглася снеговая пелена
Искрами холодного пожара.

Воздухом морозным дышит грудь.
А охотничьему сердцу горячо —
Веселит прямой и гладкий путь,
Тяжесть зайца радует плечо.

Ветер к ночи стих, кругом покой,
На земле и в ясном небе тишь,
Бесконечною двойною полосой
В мягкий снег ложится след от лыж.

Но если все это продумать здраво, то выйдет, что стрелять не следовало. Удачное попадание одной картечиной — чистая случайность; будь ранение менее тяжким, заяц ушел бы, оставшись калекой или погибнув через несколько дней.

За четыре года жизни в Мещерском я ни разу не видел зайца. Ни русаков, ни беляков в окрестностях практически не было; местный гончатник Авдеев, имея трех неплохих собак, брал одного-двух за сезон. В начале зимы 1932 года он предложил поехать к Серпухову на станцию Шульгино, где рассчитывал найти порядочно русаков. Ничего путного из этой поездки не получилось, и запомнилась она только своим веселым окончанием. Ехали на три дня, но уже в первый вечер убедились, что нужно возвращаться домой. Начав с рассвета, за весь день гоняли и убили одного зайца, следов других даже не видели, к тому же оттепель сменилась похолоданием, образовалась корка, гончие окровавили ноги.

У Авдеева в рюкзаке был двухдневный запас конины для собак, и он решил разом избавиться от этой ноши. Две молодые выжловки так устали, что поели немного и отошли, а старый Заливай слопал все без остатка, раздувшись, словно клещ, — насилу доплелся до станции. Пришел поезд, мы сели на ближайшую к тамбуру скамейку и уложили под нее собак. Видно, Заливаю там показалось тесно, он стащил с себя просторный ошейник и, незаметно пробравшись вдоль всего вагона, устроился под самой дальней лавкой.

Тут и началось: чудовищная порция сырой конины вскоре дала о себе знать. В дальнем конце вагона поднялась буря ругани — хор женских голосов всячески поносил какого-то старичка, обвиняя его в отравлении атмосферы. Напрасно несчастный, чуть не плача, кричал: «Бабоньки, миленькие! Ей-богу не я — вот вам крест святой». «Бабоньки» не унимались. Нам пришлось выходить. Обнаружив отсутствие Заливая, Авдеев громко его окликнул, и пес вылез из-под своей лавки. Тут все и прояснилось. Хорошо, что на предыдущей остановке в вагон набилось много народа и мы сошли с поезда раньше, чем разъярившийся дед успел к нам прорваться. А нам хватило смеха на всю дорогу от Столбовой до Мещерского.

В Ленинграде охотиться по зайцу почти не пришлось. Под Любанью у егеря И. А. Березина была общественная гончая собака, пегий выжлец Будило, огромный и феноменально ленивый. Его интересовал лишь раненый заяц, которого можно было легко поймать и тут же мгновенно

слопать. Невредимого зайца он с ревом провожал метров двести и на этом успокаивался. Я его и за собаку не считал, сын же мой ненавидел Будило острой ненавистью. При первой нашей попытке с ним поохотиться Ярослав впервые убил рябчика и страшно довольный стоял над птицей, заряжая ружье. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Будило и проглотил рябца, как пилюлю. Понятно, что, кроме досады и скуки, нечего было ожидать от этого сокровища.

Впрочем, однажды мы не плохо поохотились в Любанском хозяйстве. На Октябрьские праздники собралось на базе шесть или семь охотников. Первый день ходили с Будилой и еще двумя гончими — их где-то достал Берзин. Все три собаки стоили друг друга; беляков было много, но по каждому гон продолжался от силы пять минут, затем вся пресвятая троица возвращалась к егерю. То же продолжалось и на следующий день, и к середине его наше терпение истощилось — все собрались на дороге, чтобы идти к дому. Собаки снова, чуть не в десятый раз, помкнули, но никто не приостановился — шли и разговаривали. А гон, к общему удивлению, не смолкал. Заяц сделал круг, пошел на второй — собаки гнали. Что за чудеса? Мы разбежались, расставились: гоняют, да так дружно, даже Будило громыхает залиvistым басом. На третьем круге беляк вышел к моему Ярославу, и он убил его — своего первого зайца. Оказалось, что по следу вывалили не три, а четыре собаки; откуда-то взялся чепрачный выжлец местного лесника, он гнал передом, ведя за собою остальных. Дело пошло. Вскоре я убил гонного беляка, затем еще двум товарищам досталось по зайцу. Так одна дельная собака может повлиять на компанию бесполезных лодырей.

Охота по зайцу лучше всего была в Силезии. Начав охотиться с Рексом, я при нем долгое время отпускал зайцев без выстрела и так к ним привык, настолько перестал горячиться, что, начав стрелять их, почти совсем не делал промахов. За два сезона мне удалось взять более девяноста русаков. Наверное, возникнет вопрос: на что охотнику-любителю такая большая добыча? Отвечу. В те годы польские торговые организации проводили массовые заготовки зайцев на экспорт, и нам, советским офицерам, командование разрешило сдавать убитых зайцев на приемные пункты, специально для нас открывавшиеся по понедельникам.

Таким образом, можно было и настреляться и помочь дружественной стране. Доход от этой, по сути дела, про-

мысловой охоты позволял нам приобретать высококачественные импортные патроны.

Участия в многолюдных коллективных охотах я избегал — они лишали меня возможности стрелять из-под Рекса куропаток и фазанов; заяц же для меня являлся не основным объектом охоты, а ее, так сказать, промысловым элементом. Поэтому ездили мы вдвоем-втроем, расходясь от машины в разные стороны и не мешая друг другу. Убить за день охоты трех-четырех зайцев было делом обычным, случалось привозить домой шесть, восемь, а то и десять русаков.

Наиболее добычлива была охота 11 декабря 1949 года у местечка Рудня-Гвизданов; впрочем, она примечательна не только рекордной цифрой убитых за день зайцев. Их набралось одиннадцать штук, хотелось добить до дюжины, округлить цифру. Вот вскочил двенадцатый, но далековато. После выстрела завертелся, я добавил вторым, он упал и забарахтался. Три мальчика, проходившие стороной по дороге, завопили: «Дóстал! Дóстал!» (попал). Рекс, как обычно, попрыгал вокруг зайца и вернулся ко мне, а русак вдруг исчез. Оказалось, что он свалился в старый окоп и лежал на дне.

Стоя над окопом, я зарядил ружье, глянул — зайца нет. Что за диво? Тут подбежали польские мальчишки, мы спустились в окоп и в стенке его обнаружили широкую нору — то ли собака вырыла, то ли лисица. Туда заяц и забрался: мы нащупали его палкой, имевшейся у одного парнишки, но рука моя не дотягивалась. Ребята тотчас предложили: пусть пан офицер почekaет (подождет), а они прентко-прентко (быстро-быстро) сбегают в деревню, принесут лопаты и откопают зайончика. Я прикинул: ждать нужно с час, лучше найти и убить еще одного зайца, а этот пусть достанется ребятишкам. Они обрадовались несказанно: один взялся караулить нору, двое помчались за лопатами, а я пошел охотиться. Но до вечера ни один заяц не подпустил меня на выстрел — круглое число так и не пришлось набрать.

Однако мальчуганы были такие симпатичные, такие дружелюбные, что я не жалел об оставленном им «зайонце», которого они, без сомнения, добыли из неглубокой норы.

Не стану описывать свои охоты с Забавкой. Эта непревзойденная гончая собака принадлежала моему сыну, который охотился с ней гораздо больше, чем я. Сохраняю за ним возможность со временем написать о ней подробно. Но об одном случае все-таки расскажу.

В ноябре 1964 года мы приехали на базу Переславского охотхозяйства, припоздали и до вечера успели лишь немного походить правым берегом Кубри и погонять одного беляка, которого я убил. Директор хозяйства попросил взять на завтрашнюю охоту его очень почтенного гостя Павла Петровича М. Утром Забавка вскоре погнала, и началось что-то непонятное. Заяц пошел напрямую, увел собаку со слуха и дальше ходил так: сделает круг в непролазной гущине, потом километра два прямоком, снова круг — и опять уйдет бог знает куда, словно лиса, хотя по голосу Забавки ясно было, что гоняет она зайца. Гон без перерывов продолжался целых четыре часа по черной подмерзшей тропе, но зайца никто из нас так и не перевидал. Кончилось тем, что собака, очень партая, обила ноги, измучилась и легла. Сын взял ее на сворку, и мы потащились к дому, всячески понося шалого зайца. Только Павел Петрович не соглашался:

— Вовсе он не шалый, а как раз наоборот. Это беляк премудрый, истинный профессор. По всей справедливости заслужил долгую жизнь. Мне такого и стрелять было бы жа... — Тут оратор на полуслове оборвал свой панегирик, сдернул ружье с плеча и выпалил под ближайший куст. Тоже умучившийся и запавший метрах в двухстах от собаки заяц успел только раз брыкнуть ногами...

Ну и «помкнули» же мы с Ярославом по заячьему заступнику! «Это профессора-то? Заслуженного? Премудрого? Которого и стрелять жалко? — и т. д. Вволю подразнив добродушно огрызавшегося Павла Петровича, мы направились к базе и, когда стало уже смеркаться, пересекли наконец шоссе. Вдруг Забавка, едва переступавшая сбитыми ногами, что есть силы потянула с тропинки. Она так рвалась, так скулила от нетерпения, что сын пустил ее в полаз, и через пару минут собака уже залилась «по зрячему». На первом круге заяц чуть ее не обхитрил, прыгнув с шестиметрового обрыва на бережок Кубри, но она провозилась недолго — снова погнала и в конце второго круга выставила беляка на Ярослава. Так все мы повезли в Москву по зайцу.

Диких кроликов я стрелял в Силезии нечасто, хотя было их там очень порядочно. Встречались они даже в ближайших к городу рощах, преимущественно там, где были старые канавы, небольшие промоины, крутые бугорки, словом, места, удобные для копания норок. Но ими в зимнее время кролики, очевидно, пользовались мало, днем устраивались на лежку где-нибудь у опушки, в густой высокой траве, обязательно среди кустов. Стрельба по

ним оказалась исключительно трудной — много труднее, чем по бекасу. Маленький — с кошку — серый зверек, внезапно шмыгнув прямо из-под ног, стремительно шнырял в траве от куста к кусту и мигом исчезал. Далеко не всегда успеешь выстрелить, а если и успеешь, то с расстояния не более десяти-пятнадцати метров, часто даже не в кролика, а в «струю» волнующейся травы, наугад. Понятно, что попасть удавалось редко. Только раз кролик вскочил в редколесье из невысокой травки — этого я убил просто. Специально за кроликами я не ходил, они попадались мне, главным образом, на охотах по фазанам. Убить «трусика» доводилось изредка, случайно, но добыча приносила удовлетворение: доставалась нелегко. К тому же мясо диких кроликов такое же белое, как у домашних, но много вкуснее.



ОХОТЫ С ОПАСНОСТЯМИ И ОХОТЫ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Опасными для охотника могут быть огнестрельное оружие и силы природы — «факторы внешней среды». Я пережил опасности и того и другого рода.

Мой отец, сам педантично осторожный в обращении с ружьем и так жестко прививавший осторожность мне, однажды, забыв разрядить ружье, чуть не убил меня нечаянным выстрелом. Мы охотились осенью на Усманке и присели отдохнуть у ольховых кустов. Подошел пастух, попросил у отца закурить и уселся рядом, тоже спиной к ольхе. Немного погодя я встал, на минуту отошел за куст и, подходя обратно, услышал, что отец объясняет пастуху действие бескурковки. «Вот это — предохранитель, сейчас он заперт; чтобы выстрелить, нужно его сдвинуть вперед, вот так»... А ружье лежит у отца на сгибе левого локтя, направленное стволами прямо в мой живот. И я вижу: его большой палец в тонкой кожаной перчатке скользит по пластинке предохранителя, а остальные пальцы, непроизвольно ища опоры, легли на скобу и спусковые крючки. Я успел метнуться в сторону. Меня тут же оглушил гром двух, слившихся в один, выстрелов и окутало облако дыма. Ружье отлетело в траву, отец и пастух замерли, не реша-

ясь глянуть назад. Отец не скоро опомнился от испуга и долго ругал себя старым дураком, досталось заодно и безвинному пастуху. В тот день мы больше не охотились.

Второй опасный для меня выстрел сделала мадам П. — «полубьянская Диана». Ко мне на перекресток дорог близко вышел гонный заяц. Я выстрелил и уже нагнулся к убитому, как вдруг меня словно бы сильно ударили палкой по голени. Я вскрикнул и сел. Это мадам пальнула по моему зайцу из-за поворота дороги с расстояния примерно пятидесяти метров. В ногу попало две дробины «зайчатника», одна только ушибла, другая пробила кожу. Из круглой дырочки сочилась кровь. Папа, ощупав голень, сказал:

— Пустяки, вот она, сидит в подкожной клетчатке. Можешь ходить, если вытерпишь...

Ранку обмыли водкой, завязали чистым платком, и я, хотя и прихрамывая, охотился до вечера и взял еще одного зайца. Виновница оправдывалась тем, что не видела меня за кустом, а в зайца выстрелила, «чтобы он не убежал». Не знаю, что ей в сторонке говорили отец и Янушевский. Этой дамы давным-давно нет на свете, а дробина и сейчас катается у меня под кожей.

Третий случай был связан с нарушением одного из основных правил обращения с оружием. Мы — Ф. И. Веневитинов, я и один мало нам знакомый охотник, человек уже пожилой — вернулись с утренней зари на кордон к Петру Трущинскому. Позавтракав, оба мои компаньона улеглись спать. Я сел на лавку в красный угол (под иконами) и сам не заметил, как тоже уснул. Разбудил меня грохот и что-то, посыпавшееся мне на голову. Комната была наполнена дымом, в нем едва виднелась фигура мальчика, державшего в руках ружье. Наш пожилой компаньон повесил его на стенку, не разрядив; пастушонок, войдя со двора, снял ружье с гвоздя, взвел курок да и бахнул, нацелив в главный образ «Спаса нерукотворного». Меня засыпало стеклом и облило маслом из разбитой лампы. Мальчишку, конечно, ругали на чем свет стоит, а Петр, по-видимому, где-то «за сценой» даже поучил его ремнем. По чистой же совести, следовало отстегать хозяина ружья.

Помимо этих случаев, угрожавших моей собственной жизни, мне известен ряд неосмотрительных выстрелов, приведших к тяжелому ранению или гибели человека. Не буду их перечислять и описывать — они связаны, в основном, с грубыми нарушениями регламента облавной охоты. Виновником (или жертвой) рокового выстрела обычно оказывался тот, кто обязательный инструктаж перед началом облавы воспринял как скучную формальность, не по-

нимая, что за каждым нарушением правил таится смерть.

Опасные положения часто возникают на обширных водоемах. Чтобы упасть с лодки или опрокинуть ее, достаточно забыть об осторожности. Хорошо, если дело ограничится холодной ванной. Я знал одного охотника, который утонул в мелкой (по колену) воде; но он еще на базе крепко выпил, а затем добавил. Другой мой знакомый также погиб, вывалившись из лодки, но при исключительных обстоятельствах. Бедняга, очевидно, «проверял» чей-то вентерь и, втыкая хвостовую пичку, сильно налег на нее, переломил, выпал из лодки и напоролся животом на косо отломившийся конец. Тело так и осталось под водою, наколотое на пичку.

Главная же опасность, подстерегающая на большой воде, — буря. Старые астраханские охотники до сих пор вспоминают гибель группы своих товарищей, которые утонули в свирепую моряну в середине шестидесятых годов. Они охотились в дельте Волги, оставив грузовую машину у конца длинной, в несколько километров, узкой косы. Поднялся сильный ветер с моря, вода быстро прибывала, дичь пошла тучами. Охотники, надо думать, увлеклись стрельбой и спохватились поздно. А мотор старенького грузовика, видимо, уже не завелся. Небывало высоко поднятая бурей вода скрыла машину полностью.

В ноябре 1968 года в опасное положение однажды попали и мы — примерно там же. Уже начались сильные утренние заморозки, из-за образовавшегося льда не везде можно было проехать на лодке, но охота шла неплохо, только ездить приходилось далеко — на глубокие плесы километров за семь от базы, вниз по течению. В последний день поехали втроем. Погода ночью изменилась, потеплело, пал туман, потом при полном безветрии полил мелкий дождь. На заре, понятно, птица не летела. Когда полностью рассвело, дождик унялся, развеялся туман, а я так и не видел ничего, кроме стайки усатых синиц — одной из местных достопримечательностей. Чудесные птички бесстрашно порхали и лазили по тростникам у самого куласа, добывая пищу. В десятом часу вдруг послышался сильный, быстро приближающийся шум, и через пару минут с востока налетел шторм, да такой, что тростники разом пригнуло к самой воде.

И почти тут же пошла дичь — много дичи. К одиннадцати часам я взял восемь разных уток; птица летела все чаще, явно началась большая охота — хватило бы патронов! Но неожиданно подъехавший сын решительно потребовал: немедленно домой, ветер начинает поворачивать к

северу, усиливается. Задержимся — не доберемся до базы: задует встречный ветер, погонит в море, укрытия вблизи нет, да и ночевать страшно — возможен мороз, по льду не пробьемся, а назавтра утром придет катер забирать охотников с базы...

Опомнившись от горячки охоты, я не стал возражать. Мы насилу сняли мои чучела, подъехали к брату и пустились в обратный путь. Сын предсказал точно; к счастью, ветер повернул навстречу, когда до базы оставался всего километр. Но каких усилий он потребовал от меня в мои шестьдесят шесть лет! Стоять в кулase приходилось согнувшись в три погибели, чтобы меньше парусить, а пластмассовая посуда с ее ничтожной инерцией выходила из повиновения, едва шест отрывался от дна. Закрутилась непроглядная метель, сразу настолько похолодало, что алюминиевый шест покрылся ледяной коркой и примерзал к рукавицам. Несладко было и дичи — она так запряталась, что одного матерого я едва не подмял под кулас, ткнувшийся в кустик кундрака.

Больше часа понадобилось нам на этот последний километр. Приехав к брандвахте, я и брат еле-еле выбрались из куласов. Тяжело пришлось и остальным охотникам, но они не очень удалялись от базы и все, кроме двоих, вернулись раньше нас. Но двое забрались далеко в одноместных куласах, и хотя возвращались почти по ветру, но один человек моего возраста прибыл только ночью. А у его молодого спутника лодка опрокинулась, и он в мокрой одежде остался сидеть на узкой и топкой бровке банка в километре с лишним от базы. Хорошо, что у него не подмок карманный фонарик, по огоньку и нашел его егерь, поехавший на розыски на моторной лодке. К утру мороз усилился, и катер из Астрахани едва пробился к базе сквозь льды.

Случалось мне и прежде попадать в бурю, притом такую, что гнать лодку против ветра было немыслимо, а ехать поперек волны значило идти на верную смерть. Но происходило это на водоемах не столь обширных, где, в отличие от Волжской дельты, человек мог без особого риска отдаться на волю ветра. Одну такую бурю я вспоминаю даже с удовольствием и не без гордости. В 1923 году на разливе Дона мы охотились километрах в шести ниже Жировского леса вдвоем с местным старым рыбаком и охотником, которому было уже за семьдесят. Два куреня стояли у нас почти посреди разлива между Погоновым озером и Доном. Поехали с ночевкой, на вечерней заре взяли по селезню и, не съезжаясь, легли спать в лодках.

К рассвету поднялся низовый (южный) ветер, настолько сильный, что не позволял высадить уток. Взошло солнце, ветер крепчал, дул против течения, создавая толчею высоких волн. Шалаш совсем растрепало, валило на бок, он уже плохо удерживал лодку. Оставалось бросить давно опрокинувшиеся чучела и уплыть по ветру к двум большим кустам, довольно высоко поднимавшимся из воды. Иван Петрович уже перебрался к ним, привязал лодку к ветке; то же сделал и я. Решили ждать — может быть, к полудню притихнет. Куда там! Буря ревела все сильнее. Стало ясно: ветер если и «убьется», то не раньше вечерней зари, а волны начали захлестывать через борта привязанных лодок, да и вода, подпираемая ветром, быстро прибывала. Старик мой совсем пал духом.

— Эх, Андреич! — сказал он, когда в лодки особенно сильно захлестнуло. — Прости ты меня, старого дурака! Загубил я твою молодую жизнь! Нам бы сразу, по темному, сняться — успели бы поперек ветра переехать Погоново.

Мне положение не казалось безнадежным; я предложил отвязаться и гнать лодки в Жировский лес, а там, в затишье, повернем вдоль берега к хуторам.

— Оно бы верно, да силенка у меня не прежняя, не управлю; развернет боком — и аминь.

Действительно, в такую бурю, чтобы удерживать лодку точно по курсу, требовались и сила, и ловкость, но я на себя крепко надеялся:

— Так переходите ко мне, доедем. А лодка ваша привязана надежно, никуда не денется.

Я тщательно вычерпал воду, дед перебрался в мой челн со всем своим скарбом, уселся на днище, и мы помчались — да как! У меня и тревога прошла, даже весело стало удерживать боковые рывки лодки, во весь рост стоя на корме, то высоко взлетающей на кипучей, сверкающей под солнцем волне, то падающей с нее. А слушая старика, трудно было не рассмеяться: все особо острые моменты он отмечал популярным российским трехсловием, не забывая тут же покаяться. Звучало это так: «Ах, трам-тара-рам, прости меня, господи, согрешил я перед тобою!» Через полчаса лодка влетела в лес и спокойно поплыла между деревьями к берегу и вдоль него к дому.

В опасных ситуациях необходимость бороться за жизнь избавляет от чувства страха. Зато очень страшно становится, когда сознаешь свое полное бессилие перед грозной опасностью. В 1955 году поздней осенью на Большой Волге егерь в моторной лодке привез меня к засид-

ке — железной бочке, укрепленной среди огромного плеса на вбитых в дно столбах. Сам он уехал к острову под ветер за километр с лишним, предупредив, что убитую дичь пригонит к нему. Край бочки возвышался над водой сантиметров на тридцать и был замаскирован привязанными к нему ветками, а в бочке стояла скамеечка. Ветер развел на плесе порядочную волну, дичи летело немного — только нырковые утки. Я взял лишь чернеть и лутка, подсевших к чучелам, больше и стрелять не пришлось.

А ветер, постепенно усиливаясь, перешел в бурю, волны, ударяя о бочку у меня за спиной, перехлестывали через борт. Не успел я оглянуться, как под ногами набралось ведра два воды. А вскоре началось кое-что пострашнее — бочка начала качаться, с каждым ударом волны наклоняясь больше и больше. Стало невесело: глубина здесь достигала двух метров. Я принялся кричать, стрелять частыми дублетами, но моторка не показывалась. А потом у меня, как говорят, «гайка отдалась» — вот-вот все сооружение ляжет на бок и затонет, набухшее дерево не удержит его на плаву. Я уже потерял надежду на спасение, когда меня окликнули сзади. Егерь давно сообразил, что дело плохо, но у него отказал мотор, пришлось на веслах по камышам объехать весь плес до его подветренной кромки и оттуда уже спуститься ко мне по ветру. Покачав бочку рукой, парень только свистнул. Выгребать против бури не было никакой возможности, мы уехали к острову и сидели там до вечера, пока не стихло.

Однажды я, забыв дома компас, единственный раз в жизни заблудился в лесу. Произошло это в Беломорске в ноябре 1946 года. По мокрому, тонкому еще снегу я весь день ходил за белыми куропатками, забрел в места незнакомые и потерял ориентировку — густая наволочь на небе не позволяла разглядеть даже вечернюю зарю. Оставалось вернуться своим следом, но поднялась метель непродолжительная, но полностью скрывшая следы. Через четверть часа я вышел на свой же проложенный после метели след — начал кружить. До рассвета еще очень долго, отдохнуть нельзя, одет я легко, белье мокрое от пота, а начинает подмораживать. Развести костер не удастся — в зажигалке кончился бензин. Нужно двигаться и, чтобы не забрести еще дальше от дома, ходить кругами вот по этой полянке, пока хватит сил. Плохо бы все это кончилось, если бы не поднявшийся ветер. Тучи стали расходиться, блеснула звезда, другая, третья. Было десять часов вечера, когда удалось разглядеть Большую Медве-

дицу и Полярную звезду. Через три часа я добрался до дома.

Происшествия и положения, неприятные, но не грозящие трагическим финалом, как и серьезные опасности, наиболее возможны при охотах на воде. Таких приключений на мою долю выпало столько, что всех их и не перечесть.

Под Октябрьские праздники 1923 года мы с отцом пришли в пансионат на Песковатке, уже закрытый на зиму. У сторожа, дяди Семена, предполагали остановиться и оба выходных дня посвятить вальдшнепам — они могли еще остаться в пойменных ольшаниках. С вечера заходило, ночью поднялась метель, снегу навалило по щиколотку, а к рассвету вывездило и ударил крепкий мороз. О вальдшнепах нечего было и думать. Мы решили отстоять утренний утиный перелет на реке Воронеж и вернуться в город.

Когда дошли до места, Мордан уже начал поджимать мерзнувшие лапы. Зарю стрелять нам не пришлось. Встало солнце, мы уже уходили от воды, когда увидели одинокого чирка, низко летевшего над Стрелкой — нешироким, мелким, но очень быстрым протоком, отходящим от основного русла реки и снова соединяющимся с ним километра на два ниже. Чирок как будто опустил на Стрелку за кусты, и отец — он был в сапогах — пошел искать его. Я же, обутый в солдатские башмаки с длинными шерстяными чулками, мог подойти только к началу Стрелки. Из кустов под берегом взлетел кряковый селезень и после выстрела свалился в воду. Мордан, бросившись в проток прямо с мороза, взвыл, но доплыл до матерого, схватил его и выскочил на другой берег — туда было ближе. Там собака бегала с птицей в зубах, не решаясь снова лезть в воду, потом вместе с селезнем забила под стог.

Перейти Стрелку вброд? Мелко, но все же по колено, так что и отец залил бы свои короткие сапоги. Он тем временем вернулся, не найдя чирка. Посовещались и решили: мне одеть ботинки на босу ногу, чтобы не пораниться о камни и раковины, а брюки подсушить повыше. Мокрые башмаки — не беда, если обуты на толстый сухой чулок. Оставив отцу ружье и чулки, я уже почти перешел Стрелку — осталось чуть больше метра. Тут обнаружилось, что под самым берегом течение прорыло канаву глубиною мне по пояс. Немного в стороне из берегового обрывчика торчали над водою корни лозового куста; удалось ухватиться за его ветви, прыгнуть на толстый

корень, а с корня на землю. Я швырнул селезня через проток и пустился с Морданом в обратный путь.

Но едва утвердился на том же корне, как он сломался, и я обрушился почти вниз головой. Пока вскочил на ноги — промок насквозь. Потоки воды текли с меня, размывая снег до земли, а растерявшийся папа кричал:

— Одевай скорее сухие чулки!

Эту же Стрелку я через два года форсировал вплавь уже сознательно. Была ранняя весна, на реке еще стоял лед, оставалось много снега, но дичь уже появилась. Я пришел к тому же дяде Семену, от него — на Стрелку. Она очистилась от льда, вода стояла выше берегов, но нигде не разлилась широко, и мелких плесов не было. Пришлось городить шалаш у самого протока, где помельче. Да и здесь я в высоких сапогах не мог дойти даже до середины Стрелки. Но лучшего места не нашлось. Солнце еще не село, а я уже забрался в шалаш, высадив одну криковую — для второй места не было. Едва устроился, как утка закричала в осадку, другая из кошелки подхватила, и селезень, не раздумывая, сел перед шалашом. Убит он был наповал, но пока я вылез, пока схватил приготовленный шест, течение поволокло птицу и отнесло далеко. Потом встречная струя подхватила селезня и вынесла его к противоположному берегу; там, на песочке, он и остановился. Не бросать же первого и, надо думать, единственного матерого?

Я разделся. Ну, господи, благослови! Водичка была, мягко сказать, освежающая. Плыть потребовалось лишь несколько метров, все купанье длилось не более трех минут, но когда я ступил на свой берег с селезнем в руках, мне показалось, что иду не по камешкам, а по вате — настолько онемели ноги. Быстро одевшись, я стал обуваться и тут меня бросило в жар, даже пот прошиб. Правда, воздух за день сильно согрелся, над берегом «затолкли» рой комариков, дул слабый, совсем теплый ветерок. Закат пылал еще ярко, можно бы продолжать охоту. Но убить еще одного и опять изображать моржа — нет, слуга покорный! Окунуться неожиданно в ледяную воду много неприятнее, чем влезть в нее сознательно, зато совсем обидно решиться на купанье, изготавиться к нему, а оно не состоится. И совсем уже скверно, если это произойдет на глазах восхищенных зрителей.

К окончанию летне-осеннего сезона 1926 года моя Шкода с уткой была еще недостаточно знакома, хотя не раз апортировала ее из воды. В самом конце осени я охотился в ольхах под Придачей, убил пару вальдшнепов

и пошел лугами к Чернавскому мосту. Из-под берега озера взлетела стайка чирков, я сбил двух, оба упали на чистую воду, один слабо трепыхался. Его собака увидела и достала, а другого не заметила, не почуяла за ветром, чирка унесло к другому берегу и он застрял в листьях кувшинок. Обойдя озеро, я шагнул в воду и сразу погрузился почти до верха высоких сапог. Ветер свистит, крупа хлещет в лицо. Шкода жмет, идти за мною в озеро не хочет... Делать нечего, разделся догола, обул сапоги на босу ногу, уложил собаку возле своих вещей и пошел. Сделал несколько шагов — стало мельче, чуть выше колена, иду дальше — мелко, подхожу к чирку — в сапоги не заливает, беру птицу — не заливает. Только еще дальше темнеет большая глубина. Так, с сухими ногами я повернул назад и тут заметил двух рыболовов. Они стояли с удочками на плечах и корчились от смеха. Да и было чему смеяться: собака лежит на берегу, а охотник, совершенно голый, но в высоких сапогах шагает по мелкой воде под летящей с неба крупой.

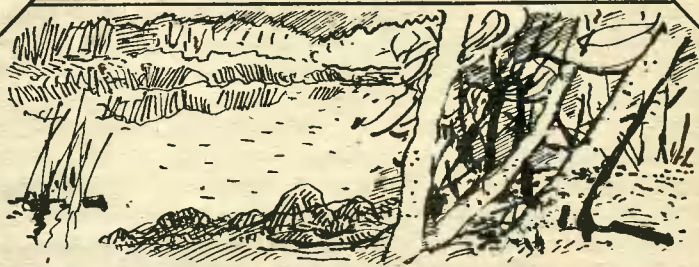
Ну, пожалуй, хватит о приключениях на воде; расскажу о том, как я пострадал от огня. Весной 1940 года, получив четыре дня отгулов, я уехал на Пчевжу. Прилежно и с успехом отохотившись шесть зорь — все с ночевками, — я ждал вечернего парохода. Но тут прибыл из Ленинграда хороший мой знакомый, тоже военный хирург П. Н. Острогорский. Он стал меня уговаривать еще раз поехать на ночь вместе с ним:

— Ничего, выпишься. Заночуем у костра, ты спи, я буду подтапливать. А у меня фляжка есть, селедочка в горчичном соусе, колбаса, сыр — организуем отличный пикнет! (такой он придумал гибрид из слов «пикник» и «банкет»).

Я уступил. Вечерняя заря была слабая, к ночи загудел сильный ветер, но от своей идеи мой товарищ не желал отказываться, и хотя до базы было рукой подать, мы расположились на Солонице — высокой узкой полосе суши между озером Выездой и протоком, ведущим в глухое лесное озеро Карашу. «Пикнет» под старыми дубами удался на славу. Из его жидкой части я принял граммов сто, но мне и этого хватило; плотно закусив, начал засыпать сидя.

— Ложись, ложись, спи! Я буду кочегарить.

Я снял сапоги, подстелил сенца и улегся. Костер грел спину, спереди защищал от холода накинутый полушубок. Спал сладко, проснулся же от жгучей боли. Сено подой горело, горел и задник ватных брюк. Я вскочил, руками погасил огонь на одежде, но дунул ветер, брюки сно-



КОСТЕР ГРЕЛ СПИНУ, СПЕРЕДИ ЗАЩИЩАЛ
ОТ ХОЛОДА НАКИНУТЫЙ ПОЛУШУБОК. СПАЛ
СЛАДКО, ПРОСНУЛСЯ ЖЕ ОТ ЖГУЧЕЙ БОЛИ.

ва вспыхнули, и так несколько раз. Вода была рядом, я забежал в нее по колено, присел, только тогда проклятая вата перестала гореть. Брюки и кальсоны сзади прогорели насквозь — в дыру пролезла бы голова. Спинка суконной куртки пожелтела и расползлась, полы полушубка покорибило. Не пострадали лишь сапоги, фуражка и патронташ — все это висело на дереве.

Организатор «пикнета», он же истопник, спокойно похрапывал, а огонь по сухой траве и палым листьям подбирался к нему. Я так разозлился, что хотел и ему дать возможность «погреться», но вовремя одумался и разбудил кочегара. Он не выказал ни малейшего раскаяния.

— Не беда! Не плачь, сейчас пожертвую тебе на погоревший храм! — В рюкзаке у него оказались старенькие лыжные брюки и портянки. — На, погорелец, меняй штаны и обувайся!

Ох, и промерз же я в этих брюках на утренней заре! Зато поджигателя судьба наказала — он так ничего и не убил, а мне удалось добыть пару чирков и двух гоголей (гоглов — говорят на Волхове). Весь день Острогорский не звал меня иначе, как погорельцем, но, вернувшись в Ленинград, тотчас прислал мне своего каптера, заменившего мои прогоревшие брюки на новенькие.



ПРАВО НА ОХОТУ

Стремление к добыче, унаследованное от наших далеких предков, живших только за счет охоты и собирательства, свойственно людям и сейчас, хотя не всем, не в одинаковой степени и в разных формах. Добывание зверя и птицы, ловля рыбы, сбор грибов, дикорастущих ягод и т. п. — все это может быть промыслом, отраслью народного хозяйства. Нас же, охотников-спортсменов, а в широком смысле — охотников-любителей, охотничья страсть влечет к добыче, которая не является материально необходимой. Одних она побуждает к охоте с ружьем, других — к ужению рыбы, третьи с увлечением ходят по грибы и по ягоды. Любая из этих охот веселит успехом и огорчает неудачей. Любая проходит в тесном общении с природой,

связана с физической нагрузкой, закаливает и делает выносливее. Наконец, плоды всякой любительской охоты тоже ведь вклад в увеличение продуктов питания, причем наиболее ценная по вкусовым качествам красная дичь добывается исключительно на любительской охоте.

Но это еще не все. Не помню, кто из писателей назвал переживания охотника «сильными и простыми волнениями»; именно они, эти волнения, служат мощным средством психической разрядки, помогают отключиться от забот повседневной жизни. Охота приносит свои специфические заботы, обеспечивая полный интеллектуальный отдых. Имея в виду охотника, Н. А. Некрасов писал, что «черная дума к нему не зайдет» и что «до седин молодые порывы в нем сохраняются, прекрасны и живы». В этом и только в этом смысле слово «отдых» следует применять к охоте. Кто отправляется на нее, чтобы отдохнуть «вообще» — побыть на природе, в приятной компании, ну и, не обременяя себя, пострелять по дичи, а то и по бутылкам, не получит и малой доли того рекреационного (восстановительного) эффекта, какой оказал бы интеллектуальный отдых при настоящей охоте. Хорошая, здоровая усталость после насыщенной событиями охоты только усилит благотворное действие разрядки на нервную систему.

Очень многие преданы нескольким видам охоты. Так, собирать грибы любят многие страстные охотники и рыболовы. Ягодами увлекаются главным образом женщины, причем могут отдаваться этой охоте настолько, что в спортивном азарте забывают о времени, о расстоянии.

Любая охота — от добывания дичи до сбора клюквы или черники — оказывает влияние на фауну и флору, может наносить существенный ущерб той или другой, либо даже и той и другой. Последнее особенно относится как раз к собирательству. Где оно ведется интенсивно, там возникает угроза не только растительному миру. Само присутствие в лесу множества людей отрицательно воздействует на фауну. Однако внимание общественности привлекает, в основном, охота по дичи с ружьем. Газеты и журналы, радио и телевидение нередко резко осуждают спортивную охоту. Промысловая добыча дичи не вызывает протеста, она — составная часть народного хозяйства; упреки же в адрес охотников-любителей поступают по двум направлениям. Одно из них характеризует охоту с позиций морали, как «жестокую забаву», сводя переживания охотника к наслаждению убийством. Печально, что эта тенденция находит отражение даже в охотничьей литературе.

Сколько не получающих отпора лицемерно-доброде-

тельных рассуждений можно встретить в современных рассказах и повестях об охоте! Иные авторы, подробно описав обстановку охоты, самих охотников и т. п., стыдливо обходят молчанием важнейший момент охоты, тот, в который достигается ее главная цель — добыча, или же упоминают о нем вскользь. Некоторые идут еще дальше. Кто-то, например, повествует о том, как всю зиму мечтал об охоте на глухаринном току, ждал весны, готовился, как, наконец, уехал за сотни километров, преодолел долгий тяжелый путь пешком, как ночевал на току... А утром, подойдя к поющему глухарю, не выстрелил — «пожалел». На том и закончилась охота. Какой истинный охотник не посмеется над этим приторно-сентиментальным рассказом? Автор либо все это придумал, либо просто солгал по конъюнктурным соображениям, на самом же деле — убил глухаря. Ведь чтобы «бескорыстно» наслаждаться глухариной песней, достаточно пойти без ружья на ближний ток, где охота по глухарю запрещена.

Спора нет: встречи с дичью, отстрел которой запрещен вообще, или в данное время года, или в определенном месте, все равно приятно волнуют охотника. Разве не радостно смотреть на диких уток, прижившихся в черте города? Люди подолгу стоят на берегу водоема, разглядывая птиц, умиляясь их доверчивости; среди зрителей есть и охотники, но я не знаю ни одного, в ком пробудилась бы жажда добычи, — для этого нужно быть хищником. Приятно по окончании срока весенней охоты пойти без ружья на тягу, лишний раз услышать голос вальдшнепа, проследить его полет! Да мало ли прекрасных сцен наблюдаешь, встречаясь с дичью, которая не станет твоей добычей? Все так, но ведь это — не охота. Любой толковый словарь определяет ее, как добывание вольноживущих зверей и птиц. Если в перспективе нет добычи, значит, нет и охоты.

Кто же вправе претендовать на добычу, то есть охотиться? Будем говорить о праве не юридическом — оно регулируется существующими на этот предмет положениями, — а о праве этическом, моральном. С этой точки зрения, охотник, прежде всего, не смеет видеть в охоте забаву — она более чем любой вид спорта требует серьезного отношения. Игроку, например, в шахматы можно забавляться, не стараясь в должной мере овладеть мастерством. Никакой беды от этого не будет, игрок просто не станет хорошим шахматистом — и только. Человек же, забавляющийся (в старину говорили — балующийся) охотой, — вреден. Он не считает нужным приобрести знания и навы-

ки, без которых неизбежно нанесет ущерб охотничьему хозяйству.

Именно такие «баловники» весною шатаются по угодьям, тревожа птицу, и стреляют по уткам влет, рискуя убить самку. Осенью же они ради развлечения палят крупной дробью в большие стаи водоплавающей дичи на безнадежных дистанциях, вовсе не думая о том, что пораженная шальной дробиной утка зачастую улетит далеко и где-то упадет мертвой либо останется искалеченной. Они не дают себе труда ознакомиться с внешним видом различных птиц, не умеют отличить самца от самки, хищную, но полезную птицу — от пернатого вредителя охотничьего хозяйства (например, осоеда или канюка от ястреба-тетеревятника), могут хвалиться убитой совою (как же, хищник!). «Баловник» способен застрелить «просто так» дятла, сорокопута, чайку.

Орнитологическая невежественность особенно опасна весною, когда может привести к непреднамеренному браконьерству. На одной подмосковной станции ко мне подошел молодой охотник и показал пару убитых чирят: «Будьте добры, помогите разобраться. Вот это, я знаю, чирок-трескунок, а второй, наверное, свистунок? У него зеленые зеркальца в крыльях». Это в самом деле был свистунок, но уточка. Я показал висевших на моем поясе свистунков-селезней и услышал: «А я думал, это у вас свйязи» (так, с ударением на первом слоге, почему-то называют в Москве свйязей). Видя непритворное огорчение юноши, я ограничился советом спрятать уточку подальше и по литературным источникам изучить различия в весеннем оперении селезней и уток всех пород.

Истинному охотнику чуждо хищничество. Речь идет не о наказуемом браконьерстве, а о выстрелах по дичи, формально разрешенной к отстрелу, но находящейся под защитой охотничьей этики. Пример: летне-осенняя охота на уток открыта, норму отстрела охотник еще не исчерпал; по воде перед ним разбегаются утята, матка запоздалого выводка с тревожным криком то взлетает, то садится к птенцам, принимая опасность на себя. Убить ее юридически допустимо, но кто на это способен, тот — хищник и не заслуживает права на охоту. Есть и другой, еще более отвратительный вид хищничества, порождаемый не жадностью к добыче, а равнодушием к ней. На одну из Каспийских баз как-то приехал охотник, стендовый стрелок. Он вел себя как хорь, который, забравшись в курятник, убивает всех кур поголовно, хотя даже одну не может съесть или утащить. Сбив на вечернем перелете не менее

десятка уток (тому были свидетели), он привез с охоты только пару, трех не нашел, остальных, убитых в темноте, даже не пробовал искать. И остался очень доволен — пострелял вдоволь, попадал метко. Подобному любителю стрельбы «как таковой» на охоте не место, дичь не «тарелочки» на стенде.

Здесь своевременно перейти к вопросу о пресловутом «наслаждении убийством». Все негодующие высказывания на эту тему — плод недоразумения. Один из непримиримых противников охоты, выступая по телевидению, очень красочно рассказал, как будучи еще мальчиком-подростком застрелил белку-летягу. Жертва первого сделанного им выстрела навсегда внушила ему отвращение к убийству, а значит, и к охоте. Но летяга не пригодна в пищу, а ее мех, тем более летний, не представляет никакой ценности. Бессмысленное умерщвление безобидной, изящной и такой оригинальной зверушки вполне естественно произвело на юного стрелка тяжелое впечатление, но считать это охотой никак нельзя. Я противопоставил бы рассказу о летяге афоризм моего отца: «Убивать — еще не значит охотиться», а затем перефразировал бы его, сказав: «Охотиться — еще не значит убивать».

Есть немало таких охот, объект которых добывают непременно живым, причем охотник получает от добычи не меньшее наслаждение, чем при охоте с ружьем. Сколько охотничьего волнения доставляла мне в детстве ловля певчих птичек, хотя я и не думал их убивать, даже в клетку не сажал: поддержишь пташку в руке, порадуешься успеху и тут же отпустишь на волю. А как увлекательно крыть перепелов сетью! Поимку крупных зверей для переселения я видывал только на экране телевизора, но остро переживал все моменты этой безубойной охоты. А работа дальневосточных тигролов — И. П. Богачева, взявшего живьем тридцать шесть тигров, И. Т. Трофимова и других! Разве одна материальная выгода заставила бы их посвящать себя трудной и опасной охоте?

Чтобы добыть зверя или птицу с помощью ружья, надо убить, но наслаждается охотник именно добычей, а не актом убийства. Глядя на сраженную выстрелом дичь, он любит ее, гордится своим спортивным мастерством, радуется успеху, а совсем не умерщвлению живого существа. Точно так же, срезая большой белый гриб, вовсе не думаешь, что «убил» сотни тысяч спор, зародышей жизни, а лишь восхищаешься красавцем-боровиком. Только доставляемая найденным грибом радость меньше, поскольку успех в грибной охоте дается несравненно легче, чем в

охоте по дичи, — ведь гриб достаточно увидеть, чтобы завладеть им.

Разве спрашивают рыболова-любителя, осилившего крупную рыбу, что для него важно: ощущение удачи, сознание своей опытности и сноровки или агония пойманной рыбы? Нет, «наслаждение убийством» приписывают только ружейным охотникам. Любители мучить и убивать животных встречаются, конечно, но они — постыдное и, к счастью, очень редкое исключение. Среди же охотников мне лично пришлось видеть лишь одного такого; он привез на базу двух тяжело зараненных крикух, объяснив, что ему «любопытно было посмотреть, как они трепыхаются в лодке, и гадать, которая раньше кончится». Поднялась буря общего негодования, и его заставили немедленно добить птиц. О другом подобном субъекте я только слышал. Один молодой товарищ жаловался старому охотнику на своего младшего брата. Одиннадцатилетний мальчик рвался сопровождать старшего на охоту, но особенно стремился приканчивать подстреленных птиц, к тому же с истязанием, приговаривая: «Глазки вон! Глазки вон!» Меня так и замутило, старик же изрек: «А ты бы его за уха прутом по заднице». Но еще бы лучше — вовсе не допускать к охоте мальчишку с такими наклонностями.

Если самый страстный охотник с годами утратит вкус к добыче, то закономерно бросит охоту. Для него она станет даже не «жестоккой забавой», а «незабавной жестокостью», противоречащей его нравственному чувству. Но к отказу от охоты человек должен прийти сам; при неугасшем стремлении к добыче «идеология», внушенная извне, не заставит всерьез порвать с охотой. Мой отец, перестав было охотиться студентом, возобновил охоту молодым врачом, а когда состарился и почти ослеп на правый глаз, стал мечтать о ружье с резким изгибом шейки ложи влево, для зрячего глаза (такая форма ложи применяется). Тяжкая неизлечимая болезнь помешала ему осуществить задуманное.

Другое возражение против охоты идет по линии охраны природы — оскудение фауны относят за счет истребления дичи охотниками. Обвинение в определенной мере справедливо в отношении прошлого — и не только времен С. Т. Аксакова, но и вовсе не столь отдаленного, когда уже были введены законы, регламентирующие охоту. На моей памяти браконьерство в разных его формах процветало не только в глухой деревне. Охотники культурные, как мой отец, решительно не позволяя себе браконьерства, вместе с тем не упускали случая взять как можно

большие дичи в разрешенное время — ведь ни о каком нормировании отстрела не было еще и речи. Ограничения ввели значительно позже.

С тех пор многое изменилось: количество дичи резко уменьшилось — отчасти, действительно, в связи с возросшей популярностью любительской охоты, ставшей массовым видом спорта, с появлением бесчисленного множества охотников в кавычках, но главным образом — под влиянием непрерывно расширяющейся хозяйственной деятельности. У нас в стране еще полвека назад остро встал вопрос о необходимости нормировать добычу дичи и принять другие меры, чтобы сберечь охотничью фауну и со временем смягчить ряд нормативов, ограничивающих охоту, в том числе любительскую.

В молодые годы мне казалось, что преимущества в праве на охоту заслуживает тот, кто не согласится сменить охоту ни на что, откажется ради нее от поездки на самый привлекательный курорт, от самого интересного заграничного путешествия, пожертвует ей все свободное от работы и общественных обязанностей время, зачастую в ущерб собственной семье. Я сам такой одержимый: никогда не бывал ни в Крыму, ни на Кавказе, своими отлучками на охоту, заботами о собаках до крайности отягощал семейное бремя моей жены, героически все это переносившей.

Несколько слов об охотничьей собаке.

Дрессировка легавой собаки — школа дисциплины, а натаска — школа правильной работы по дичи. Нельзя приступать к натаске, прежде чем дрессировкой не достигнута дисциплинированность собаки — ее позывистость, четкое выполнение команд, особенно запретительных: «нельзя», «фу» и т. п., смотря по вкусу хозяина. Сожаление и насмешку всегда вызывал у меня способ натаски собаки на корде — длинном шнуре с парфорсным ошейником, позволяющим призвать ученика к порядку сильным рывком. В старину (впрочем, и на моей памяти) это называли «осажэ с обертасом» (от слова «осадить», но почему «с обертасом» и что это значило?). Корда удерживает собаку близко от хозяина, парфорс абсолютно и жестко пресекает ее попытку погнаться за птицей и тем якобы должен предупредить развитие тяжелого порока — привычку гонять, а затем и срывать со стойки.

Если собака хорошо дрессирована, то достаточно окрика, чтобы остановить ее и очень скоро она без всяких «осажэ» поймет, что бежать за улетающей дичью не полагается. Порочное стремление к погоне, как и срывы со

стойки, возникает, как правило, не при натаске собаки, а позже, когда из-под нее уже начали стрелять. Винават всегда сам охотник. Своими неразумными действиями он может привести неопытную и без того возбужденную запахом дичи собаку в такой азарт, что она забудет все усвоенное при дрессировке и натаске, а этого допускать нельзя. Особенно горячит и наиболее вредно действует зрелище погони охотника за подстреленной, убегающей, пытающейся взлететь птицей.

Редчайшим исключением была бы молодая собака, не соблазнившаяся ловлей подранка и не принявшая в ней участие. Два-три таких случая, и она начнет бросаться вперед после выстрела. От этого один шаг до преследования улетающей птицы, а затем и до срыва со стойки. Подранку следует позволить скрыться и запасть и только потом пустить собаку в поиск, чтобы она нашла дичь и стала по ней. Раненую птицу, затаившуюся под стойкой, обычно удастся схватить одним быстрым движением руки. Какая-то часть подстрелов (подранков) не будет найдена малоопытной собакой, но приходится думать не о наполнении ягдташа, а о самой собаке. Настанет пора, и она сторицей возместит потери, понесенные охотником из педагогических соображений. Опытная, квалифицированно работающая собака почти не нуждается в руководстве и не требует контроля. Она, например, не двинется со стойки к упавшей птице, если чует другую, еще не поднявшуюся на крыло. Мне случалось из-под одной стойки делать по выводку тетерева два удачных дублета. И вместе с тем без приказа, по собственной инициативе собака кинется за подранком, если знает, что в данном случае нельзя медлить: например, за уткой, упавшей в воду. Все это будет наградой хозяину за проявленную в прошлом выдержку.

Сознательная, мастерская работа чутливой, хорошо натасканной легавой собаки, красота ее поиска, потяжки, стойки делают (по крайней мере, для меня) охоту с ней наиболее увлекательной из всех возможных.

Неразумное поведение охотника может губительно повлиять и на опытную собаку. На базе одного из ленинградских охотохозяйств была сука-пойнтер Стрега, уже немолодая, хорошо работавшая. Но вот в хозяйство зачастил некий товарищ А., одержимый странным предрассудком — он брезговал убитой дичью, которую собака подержала во рту или даже только обнюхала. К каждой упавшей дичи А. мчался бегом, чтобы схватить ее раньше, чем подойдет Стрега. Она сперва недоумевала, но постепенно раззадорилась, вошла во вкус и стала участвовать в соревнованиях

на скорость. Егерь, руководивший собакой, не смог пресечь это безобразие — не достало характера. После трех-четырех охот с брезгливым охотником сука начала сры-вать со стойки и гнать, мешая выстрелу. Избавить собаку от порочной привычки так и не удалось.

Говорят: «Собака — друг человека». Это звучит краси-во, а на деле и ошибочно, и вредно. Понятие «дружба» не включает, правда, представления о полном равенстве меж-ду двумя друзьями. Один из них нередко в какой-то мере первенствует; достаточно вспомнить классические приме-ры: Гомеровых Ахилла с Патроком, Эсхиловых Ореста с Пиладом, библейских Давида с Ионафаном. Но в отно-шениях между человеком и его собакой недопустима даже тень равенства. Слащавое обращение «на равных», отказ от принуждения, осуществляемого при необходи-мости весьма крутыми мерами, никогда не приводит к добру. Таким добрякам мы обязаны случаями агрессивного отношения собаки к владельцу. Я знаю ряд печальных примеров, когда пес встречает рычанием попытку согнать его с хозяйской постели, скалит зубы, огрызается. Иной способен не только пригрозить клыками, но и пустить их в дело, если ему в чем-нибудь не потрафят. Животное превращается в домашнего деспота, которому вынуждена угождать целая семья.

Все станет на место, если признать, что собака не друг, но слуга человека, а хозяин — ее бог, как сказал Джек Лондон, бог могущественный, грозный и вместе с тем милостивый и справедливый. Только его милость, его доброта выражаются отнюдь не в потворстве прихотям собаки и ее попыткам выйти из повиновения. Она еще щенком должна усвоить обязательность полного подчине-ния воле хозяина. Спросят: а любовь? Где же любовь хо-зяина к собаке и за что ей любить хозяина, грозного, спо-собного на принуждение, да еще крутыми мерами? В ответ спрошу: разве нельзя любить подчиненного за верность, за преданность, наконец, за саму службу и вместе с тем быть к нему требовательным? Разве ласка, справедливость, забота хозяина недостаточны, чтобы заслужить ответную любовь собаки? Можно только удивляться, как она запо-минает даже отдельное, но важное для нее проявление заботы.

Как-то, работая за границей, я утром выходного дня зашел к сослуживцу. В квартире слышался жалобный писк — скулил месячный щенок, немецкая овчарка. Его взяли в дом только вчера; всю ночь он никому не давал спать, плакал самым жалким образом. Я объяснил, что

малышу просто было холодно, и взял песика на колени. Он угрелся, свернулся и мирно спал во все время нашей беседы — около трех часов.

Прошло почти два года, прежде чем мне довелось снова посетить этот дом. Хозяева работали в саду, я открыл калитку, вошел, услышал крики: «Сергей Андреевич! Берегитесь! Барс, ко мне!» и т. д. Большой пес молча мчался на меня с самым злобным видом: уши прижаты, клыки оскалены. Отступать было поздно. Тяжело набитой полевой сумкой я приготовился ударить собаку по морде. Но в двух шагах от меня Барс застыл, принялся, завилял хвостом и начал тереться о мои колени, на которых он так сладко спал в детстве.

Это благодарность за заботу. Теперь — о любви. Охотник-спортсмен, не любящий свою собаку, по-моему, просто не имеет права держать ее. Пища, тепло, прогулка и т. д. удовлетворяют физические потребности собаки; нужно помнить и о ее потребностях духовных, о том, что она должна чувствовать себя не просто слугой, а слугой любимым. Всякое проявление любовного внимания к ней хозяина — огромное удовольствие для собаки. Совсем не обязательна щедрость на ласки; они важны и необходимы на первых порах для щенка, но должны непременно сопровождаться обращенной к собаке речью, ласковой или шуточной. Эти оттенки она очень скоро начнет безошибочно различать от повелительных, строгих интонаций и соответственно, то есть радостно, на них реагировать, так что «беседа» принимает характер диалога — собака «отвечает» на вопросы, предложения и даже подначивания, конечно, не словами, а телодвижениями, мимикой, повизгиванием, радостным или нетерпеливым лаем, чиханием, притом настолько выразительно, что не остается сомнений — ей все понятно. А разрешение самой приласкаться усиливает наслаждение общением.

Поиграть, повозиться со щенком, с молодой собакой можно и нужно. Хозяину приятно, а собаке и приятно, и полезно, и способствует физическому развитию щенка. Вместе с тем собака с раннего возраста обязана знать меру, помнить, что и ласки, и шуточная борьба с хозяином должны прекращаться по первому приказу, не переходя в назойливое приставание. Здесь очень рано появляется возможность отработать основной элемент дрессировки — понятие о запрещении и запретительной команде. Поэтому возня щенка с детьми допустима только под контролем хозяина — он вовремя призовет к порядку чрезмерно увлекшихся участников игры.

Но есть особый, самый мощный стимулятор любовной преданности охотничьей собаки хозяину — сама охота. Развита натаской, возрастающая под влиянием опыта наследственная страсть собаки к работе по дичи становится всепоглощающей.

Я говорю не о тех собаках, чьи владельцы готовят и используют их главным образом для получения высокой оценки на полевых испытаниях. Речь идет о собаках, работающих не напоказ, а на хозяина, стремящихся, как и он, не только найти птицу, но и добыть ее. Такую собаку вопрос: «На охоту хочешь?» — приводит в состояние восторженного возбуждения, для нее охота — смысл существования, высшее наслаждение, высшая форма служения своему богу.

Наслаждение охотой, доставляемое хозяином, в наибольшей степени привязывает к нему собаку, притом тем крепче, чем чаще и успешнее он с ней охотится. Особенно горяча ее любовь к хозяину, если он сам ее натаскал, научил в полной мере использовать заложенные в ней способности.

Наконец — о справедливости. Если собака твердо уверена, что бог не может прогневаться на нее без основания, то она воспринимает любое наказание не как обиду, тем более не как повод для обозления, но как урок на будущее время. Необходимо, конечно, чтобы собака понимала, в чем же ее вина. Поэтому, во-первых, наказание должно следовать немедленно за проступком, во-вторых, до полного завершения дрессировки наказывать следует только за недозволенные действия, то есть за неподчинение запретительным командам. Наказание же за бездействие, за то, что собака чего-нибудь не сделала, для нее непонятно, значит, бессмысленно и приводит к дурным последствиям. Один охотник жаловался на своего щенка: «Подзываю его — он не послушался. Я его ударил плеткой, сильно. Опять зову — не подходит. Отстегал как следует — все равно не слушается. Так и пошло; уж сколько раз я его лупил — не помогает. Только крикну: «Ко мне!» — а он под кровать. Посоветуйте — что делать?»

Как говорится — комментарии излишни.

Чтобы собака поняла значение команд незапретительного характера, нужны мягкая настойчивость и поощрение, а не принуждение. Подзывать щенка следовало ласково, с пригласительным жестом (похлопывать себя по колену), даже подманивая лакомым кусочком, а когда подойдет — приласкать, угостить. Со временем призыв, на первых порах суливший удовольствие, будет восприни-

маться как приказ, которому нужно повиноваться; тогда отпадет нужда в поощрении, а невыполнение станет нарушением дисциплины.

Большой ошибкой было бы считать, что наказание — это непременно побои, так как они являются крайней, высшей мерой. «Наложить взыскание» на собаку в доме можно, отослав ее на место, посадив на привязь. Такое принудительное выключение из общей семейной жизни, запрет контакта с хозяином весьма чувствительны для виновного. В полевой обстановке неповиновение молодой собаки во время дрессировки проистекает главным образом от возбуждения свободой и желания побегать, а после знакомства с дичью в период натаски — от увлечения поиском. В том и другом случае очень действенное наказание — заставить собаку идти у ноги, взять ее на поводок, наконец, сесть самому и уложить возле себя. Эти меры имеют не только карательное значение — они дают нарушителю время, чтобы успокоиться.

Перевалив на восьмой десяток лет, я перестал мечтать о собственной собаке, с каждым годом все реже выезжаю на охоту, но причиной тому не охлаждение охотничьей страсти, а возраст, ограничивающий самостоятельность на охоте, всегда мне дорогую. И я понял, что можно и на курорте побывать, и выходной день провести с домашними и все же быть подлинным охотником, если охотишься квалифицированно, строго соблюдаешь правила, болеешь за наше общее дело — за разумное использование дичи, увеличение ее численности, правильное воспитание подрастающей охотничьей смены, если во все это вносишь свой посильный вклад.

Сейчас, когда я заканчиваю работу над своими воспоминаниями, вплотную подошла к концу и моя охотничья биография. Но отрадно думать, что будущее советской спортивной охоты в хороших руках. Есть у нас мудрые законы по охране природы, есть многочисленные кадры охотоведов, ученых и практиков, коллективы охотников-любителей постепенно очищаются от случайных элементов. В наших рядах растет число тех, кто по справедливости заслуживает право на охоту.

Обращением к ним я и заканчиваю: ни пуха, ни пера, собравшись по увлечению.

Москва, 1984—1986 гг.



СЛОВАРЬ ОХОТНИЧЬИХ ТЕРМИНОВ

Ано́нс, доклад легавой собаки о найденной ею дичи.

Анта́бка, металлические петли на стволе или ложе ружья, в которые пропускают концы погона для ношения ружья на ремне.

Апо́рт, 1) команда собаке принести какой-то предмет; 2) предмет или приспособление для обучения собаки поноске.

Апорти́рование, подача собакой поноски, убитой птицы или небольшого зверька.

Банк, не широкий, но глубокий и быстрый проток среди мелководья волжской дельты.

Бокфли́нт, *е*, старонемецкое название двустволки с гладкими, вертикально расположенными стволами.

Буда́ра, местное название большой парусной или моторной рыбачьей лодки.

Ва́бить, подманивать птицу или зверя с помощью голоса, дудочки, свистка или манка.

Вавáканье, вторая часть боя токующего перепела, похожая на звуки «ва-ва, ва-ва».

Ве́жливость, бережное отношение лайки или легавой к взятой выстрелом птице или зверю.

Вы́ставить зве́ря, выгнать его из острова в поле (о гончих).

Высы́пка (*вывалка*), кратковременное скопление на небольшом участке местных и перелетных птиц.

Гоня́ть дичь, говорится о легавой, которая до или после выстрела бросается за птицей и гонит ее до тех пор, пока та не скроется из глаз.

Дичь, 1) добываемые охотой птицы и звери, мясо которых употребляется в пищу; 2) только птицы, добываемые охотой.

Дичь болотная, птицы, придерживающиеся болот: бекас, дупель, гаршнеп, турухтан и др. кулики, болотная курочка, или погоныш, коростель.

Дичь боровáя (*лесная*), преимущественно пернатая дичь, тяготеющая к хвойным борам, лесу, в том числе рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп, вяхирь, клинтух; фазан и турач скорее кустарниковые, нежели лесные птицы.

Жи́вить, давать много подранков и сильно кровянить битую дичь при недостаточной резкости боя ружья, попадании в дичь боковых или концевых дроби́н и при увлечении охотника стрельбой на дальние расстояния слишком крупной дробью.

Запа́сть (*увалиться*), залечь, притаиться, чтобы пропустить преследующих гончих (о зайце).

Зря́чий (*по зрячему, на глазок*), гнать зверя, не выпуская его из поля зрения (о гончей).

Картéчь, изготавливаемые штамповкой дробины крупнее 5 мм.

Кра́сная дичь, сохранившееся до наших дней собирательное обозначение благородной дичи: дупеля, бекаса, гаршнепа, вальдшнепа.

Кула́с, местное название плоскодонного челна для 1—2 охотников, с палубой в носу и в корме.

Култу́к, узкий залив.

Кундра́к, местное название травянистой поросли в дельте Волги.

Кучность боя, показатель качества боя ружья, непосредственно влияющий на успех стрельбы.

Ли́ра, хвост тетерева-косача с лирообразно загнутыми в стороны крайними рулевыми перьями.

Ма́терый (матерой, материк), крупный немолодой зверь или птица. Отсюда — матерый волк, матерая волчица, матерка (матка — в выводке птиц) и т. п.

Набро́д, набро́ды, следы бродившего по росе (кормившегося) тетеревиного, глухариного и др. выводка; следы глухаря или куропатки на снегу.

Нестомчивость, выносливость гончей.

Обтюра́ция, предупреждение прорыва пороховых газов в огнестрельном оружии при выстреле.

Оса́дка, азартный (в осадку) призывный крик подсадной утки.

Остров (охотн.), 1) отдельно стоящие, окруженные полями лес или болото, предоставляющие хорошие условия для псовой охоты с гончими; 2) участок, чем-либо выделяющийся на местности (грива среди болот, хвойный бор среди лиственного леса и т. п.); 3) иногда всякое угодье (болото, кустарник, лес), куда наброшены или куда предположено набросить гончих.

Осы́пь дробова́я, распределение дроби на мишени, определяющееся как кучностью боя, так и ее равномерностью.

Пара́тость, быстрота, с которой гончая гоняет зверя.

Переви́деть, заметить промелькнувших зверя, собаку.

Погон, тесьмой или кожаный ремень, на котором носят ружье.

Пола́з, розыск гончей зверя до его подъема.

По́ле, год охоты с легавой или другой собакой (для гончей и борзой типичнее *осени*).

Помкну́ть, наткнувшись на горячий след зверя или подняв его, рьяно погнать с лаем (о гончих).

Потя́жка, настороженное приближение легавой к причуянной птице, ее следу или сидке.

Пу́дель (охотн.), промах при стрельбе. Пуделять — промахиваться.

Пыж, obturator из войлока, пластмассы, картона и другого материала, предназначенный для возможно более полной утилизации энергии пороховых газов при выстреле, предотвращающий смешивание пороха и дроби и высыпание дроби из патрона.

Пыж порохово́й, или основно́й, obturator из войлока, полиэтилена, сфагнума и другого материала, отделяющий в патроне (гильзе) заряд пороха от снаряда и предотвращающий прорыв пороховых газов в снаряд дроби или картечи. См. *Обтюрация*.

Ра́ковины, небольшие углубления в стенках канала ствола.

Рёзкость бо́я, способность снаряда (дробь, пули) проникать в поражаемую среду.

Ружьё штучное, ружье, изготовленное по индивидуальному заказу

или мелкими сериями, отличающееся от рядового тщательной подгонкой частей и деталей, улучшенной гравировкой и т. п.

Скол, потеря гончей следа зверя.

Сколб́ться, потерять след гонного зверя (о гончей).

Спорб́ть, неосторожно спугнуть птицу (о легавой), согнать ее без стойки.

Стб́йка легавой, остановка собаки перед затаившейся птицей, типичный признак и неотъемлемое полевое качество легавой.

Стрельба́ «на штык», выстрел по зверю или птице, выходящим прямо на охотника.

Упрежде́ние при стрельбе́, вынос точки прицеливания вперед по отношению к движущейся цели.

Цили́ндр, гладкий ружейный ствол со строго цилиндрическим каналом (дает широкую дробовую осыпь).

Чакáн, см. *Кундрак*.

Чок (*чок-бор*), международное обозначение дульного сужения; тип сверловки, при которой гладкий канал ружейного ствола снабжается в дульной части сужением различной величины и конфигурации (повышает кучность боя ружья дробью).

Чуфы́канье, звуки, издаваемые токующим тетеревом, предшествующие бормотанью.

Шумово́й за́яц, или другой зверь, появившийся без гона (из-за поднятого шума).

Экстра́ктор, 1) механизм, выдвигающий из патронника патроны и стреляные гильзы при открывании (переламывании) охотничьего ружья, после чего их вынимают пальцами.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Раннее детство и охота без ружья	8
Полубянка	30
Первые выстрелы, первые охоты	40
Петр Трущинский	58
Собаки	71
Ружья	102
Удачи и неудачи на охоте	112
Памятные охоты	127
Охоты с опасностями и охоты с приключениями	199
Право на охоту	209
Словарь охотничьих терминов	221

Литературно-художественное издание

Серия «Человек и природа»

Сергей Андреевич Русанов

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ОХОТЫ

Редактор *Ю. Л. Китаев*. Художник *А. В. Семенов*. Художественный редактор
Ю. В. Архангельский. Технический редактор *Е. И. Блиндер*. Корректор
О. И. Поливанова.
 ИБ № 2288

Сдано в набор 10.10.86. Подписано к печати 3.03.87. А 05381. Формат 84 × 108¹/₃₂.
 Бумага офс. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. п. л. 11,76. Усл. кр.-отт.
 23,94. Уч.-изд. л. 13,51. Тираж 50 000 экз. Издат. № 8014. Зак. 1600. Цена 95 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного
 комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
 101421, ГСП, Москва, К-6, Каляевская ул., 27.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном
 комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

человек
и
природа

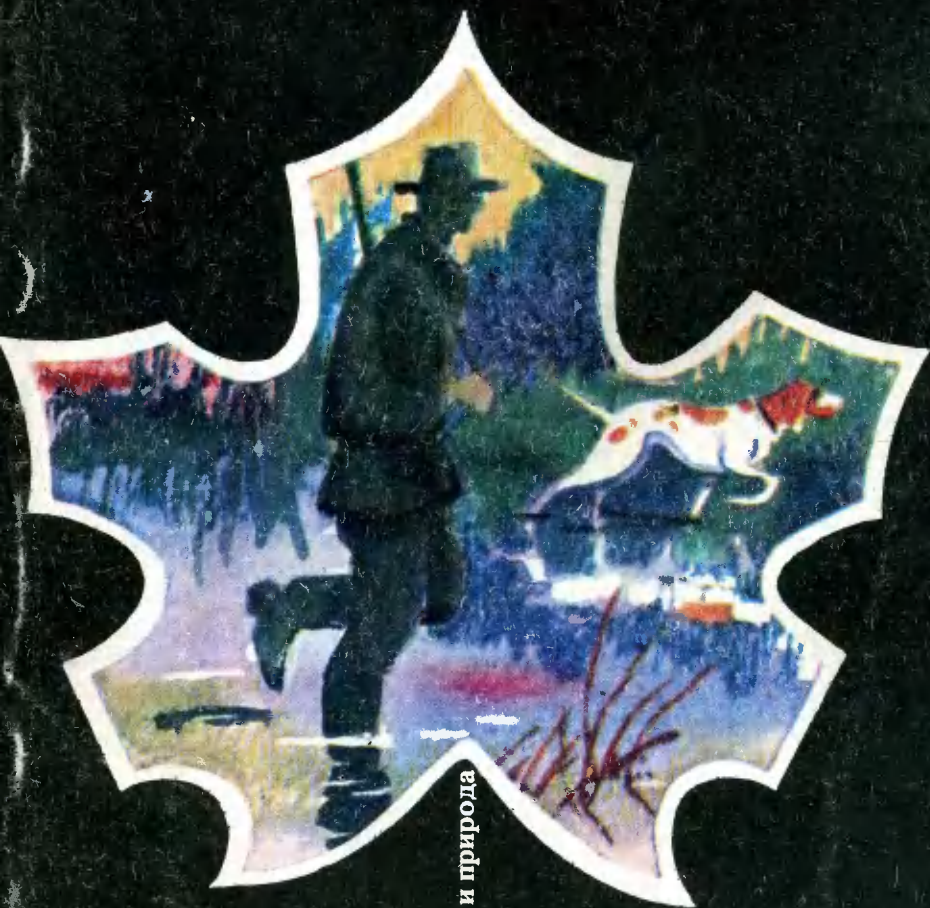


Сергей Андреевич Русанов
родился в 1902 году.
С восьми лет под
руководством отца
приобщился к охоте и
полюбил ее на всю жизнь.
С шестнадцати лет начал
охотиться самостоятельно,
в основном по птице и
зайцу. Профессор,
доктор медицинских наук.
Помимо многочисленных
статей и книг по
специальности, его перу
принадлежит детективная
повесть «Особая примета»
с охотничьим уклоном.



С. А. Русанов

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ОХОТЫ



человек и природа